











ABBAJJOHHA. albaddonna

сочинение

николая полеваго.

Toutes les pages de la vie humaine sout dignes d'être lues. Le sage nous instruit, le gai nous amuse, l'imprudent nous enseigne ce qu'il faut éviter, l'absurde nous guérit du spleen.

Каждая из страниц человыческой жизни достойна быть прочитанною. Умная научаеть нась; веселая забавляеть; безразсудная изъясняеть намь, чего надобно избыгать; нельпаявымечиваеть нась оть спмна.

издание второе.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ. 1840.

4·CD+4+8@++-CD

PG3337 .P6A68 1840 4.1-2

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тъмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Ценсурный Комитеть узаконенное число экземпляровъ. Москва. Іюня 9 дня 1839 года.

Ценсоръ и Кавалеръ И. Снегиревъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

часть первая.

Глава І. Поэть на чердакть. Жизнь, Любовь и Поэзія

II. Директоръ Театра.

III. Страсти и Жизнь.

IV. Сердце дъвушки.

часть вторая.

Глава І. Литераторы. Поэть въ передпей.

II. Вторая глава сердца дъвушки,

III. Театръ на изнанку. Поэзія страстей.

 Сцена, ложа и кулисы. Третья глава сердца дъвушки.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Глава І. Падшій Духъ.

II. Страсти и Поэзія.

ІІІ. Поэть и Человакъ.

IV. Люди и Искусство.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Глава І. Страсти и Женщина.

II. Добро и зло, Демонъ и Ангель.

ІІІ. Поэть и просто Люди.

IV. Цъпи жизни. Аббаддонна.

— Наша *Жизнь*, наши отношенія разлучають нась съ *Поэзіею*.

»Но можете ли вы отдълить совершенно Поэзію отъ Жизни?«

» Что такое Жизнь, если не Поэзія, только прозою выраженная? «

» Что такое Поэзія, если не та же самая Жизнь, разцевченная стихами воображенія и риомою мечты!«

 Нътъ! Съ тъхъ поръ, какъ человъкъ отдълилъ часть души своей, и создаль изъ нея Искусство, Поэзія перешла въ это созданіе человъческое, а душа человъческая, лишенная шеплоты поэтической, сдълалась холодна, подобно уму.

»Будто это возможно! — Какое Искусство придумаеть и выразить все то, что придумываеть и выражаеть Жизнь? Безъ повърки Жизнью, ваше Искусство блестящая игрушка, кукла, которую ломають умъ и опытъ.«

— И вы называете Жизнью нашъ ныньшній расчеть съ временемъ? И будто Жизнь, этотъ протестованный вексель на счастье, наша черствая радость, наше смъшное горе, колыбель, сдъланная изъ обломковъ гроба отцовскаго, крошечныя страсти, водевильная любовь . . . это Жизнь?

»Зачьмъ говорите вы о мелочной спо-

собности существовать, которую люди такъ дерзко называють Жизнью?«

— Зачъмъ говорите вы о привидъніи, которое люди, такъ безбожно, называютъ Искусствомъ?

»Согласитесь однакожъ, что ваше Искусство прекрасная статуя, для которой до сихъ поръ человъкъ дълаетъ форму, и едва ли когда нибудь додъластъ! То онъ ставитъ ее на ходули, и одъваетъ лоскутьями воображенія; то ломаетъ въ теоретическіе кусочки, и размъриваетъ эти кусочки умомъ. Вдругъ онъ броситъ ее на Востокъ; потомъ кинетъ въ Средніе въка; потомъ въ Грецію; потомъ сердится, и готовъ забросить ее на небо, или зашвырнуть въ адъ: это жалкій списокъ съ Жизни, пестрый, смъщной списокъ — грамата на Прекрасное, подписанная злымъ духомъ, и написанная на выворотъ, по-Арабски.«

— Нътъ! безъ Искусства Жизнь похожа на пустыню, на лъсъ, на вспаханное поле, а не на садъ цвътущій: только Искусство разводитъ на ней сады очаровательные.

»Оно худо чистить эти сады, и допускаеть ихъ заростать бъленою и чертополохомъ.«

— Которыя засываеть Жизнь наша. Не правда ли?

»Постарайтесь помирить ихъ.«

— Это не возможно. Огонь и вода никогда не примирятся: либо огонь потухнеть, либо вода изсохнеть.

»Прекрасно! Знаете ли что: не вражда ли ихъ, не это ли кипъніе воды, палимой огнемъ, есть истинное соединение Жизни съ Поэзією, бытія непроизвольнаго съ Искусствомъ произвольнымъ, неволи съ волею, ограниченнаго съ безграничнымъ?«

— Въ самомъ дълъ? Въ такомъ случать люди умно поступаютъ: пользуются этою враждою воды и огня; варятъ себъ пищу при ея посредствъ; съ ея помощью двигаются по морямъ, летаютъ подъ облака, врываются въ землю. Не такъ ли точно они любуются статуями, картинами, слушаютъ стихи и музыку, не думая о томъ, что передъ ними слъдствіе борьбы непримиримой, гибельной, распри между небомъ и землею, между Жизнью и Поэзіею?

»Но что же изображаетъ при этомъ воду, и что огонь?«

— Огонь — Поэзія; вода — Жизнь!

»Но Океанъ, это безмърное собраніе воды, развъ не Поэзіл?«

— Можете ли сравнивать эту огромную земляную лужу съ океаномъ огня, Солнцемъ, истиннымъ символомъ Поэзіи!

»И въ лужъ тонетъ однакожъ человъкъ, горделиво называющій себя царемъ Природы.«

— A подлетьть къ солнцу, онъ и подумать не смъеть!

»Онъ дожидается пока солнце притянетъ къ себъ землю поближе.«

- Тогда Жизнь и Поэзія помирятся.

 »Хорошъ будеть этотъ миръ
 Въдь это смерть!«
- Да, не уже ли до тъхъ поръ люди не узнаютъ, что совершенный миръ бываетъ только на кладбищъ?

АББАДДОННА.

часть І.

La Nature plus marârte, que mère, a jeté l'homme dans la vie avec un corps nu, frêle et débile, une âme que l'inquiétude agite, que la crainte abat, que la fatigue épuise, que les passions emportent, et où cependant reste, comme à demiétouffée une divine etincelle d'intelligence et de génie

S. Augustin, Lib. IV, contra Pelagium.

Природа, болье мачиха, пемели мать, бросила геловька въ жизнь съ тъломъ нагимъ, слабымъ, ни-тожнымъ, съ душею, которую тревожатъ заботы, сражаетъ робость, истощаетъ усталость, увлекають страсти, но въ которой между тъмъ, хотя полузадушения, всегда остается божественная искра разсудка и генія.

Блаж. Августинъ, протиет Пелагія, кн. ІУ.

авваддошна.

The second section is a second second

TAABA I.

Въ одномъ изъ большихъ городовъ Германіи, столицъ небольшаго княжества, въ отдаленной улицъ этого большаго города, на четвертомь этажъ огромнаго дома свътился въ окошкъ огонекъ. Ночь уже наступила, и была темная, осенияя. Дождь порывисто и сильно стучаль въ окна богатыхъ и бъдныхъ, безъ различія. Вътеръ свободно гуляль по улицамъ; задуваемый имъ, огонь уличныхъ фонарей дрожаль слабымъ отблескомъ въ грязи мостовой, а не свътилъ ярко для проходящихъ, которыхъ нужда, или прихоть, или то и другое вмъстъ, заставляли скитаться по улицамъ, подъ дождемъ, по грязи и сырости, дрожа отъ голода и вътра осенияго.

Но не осень и непогода, а нужда была однакожъ главною причиною, что проходящіе зябли и дрожали. Убъдительнымъ доказательствомъ могли послужить богачи, спокойно ъхавшіе въ то же время въ своихъ каретахъ, какъ будто совствы не было ни дождя, ни холода, и какъ будто отъ яркихъ фонарей на ихъ каретахъ исчезала для нихъ осенняя темнота. Бъдняки тащились пешкомъ, большая часть въ ветхихъ шинеляхъ и плащахъ, и отъ того жаловались они на холодъ и осень. Но самымъ лучшимъ убъжденіемъ, что они сами были въ этомъ виноваты, могла послужить комната на четвертомъ этажь, о которой мы упомянули выше. Въ ней находился въ это время какой-то одинокій жилецъ, и онъ зябъ и дрожалъ, хотя дождь не падаль на него сверху, а только стучаль въ его окошко, и вътеръ не ходилъ свободно у него въ комнать, но только выль и свисталь около стънъ его жилища, и по временамъ прокрадывался порывами въ ветхое окно. Бъдный жилецъ зябъ и дрожалъ, и не могъ согръться, хотя на немъ надъта была половина всего платья, какое только находилось въ его возвышенной подъ кровлю комнатъ.

Странно было видьть, что этотъ жилецъ, въ самомь дъль, накуталь на себя множество всякой всячины, вмъсто одного какого нибудь теплаго шлафрока. Шерстяной шарфъ опутывалъ его шею, шелъ крестъ на крестъ по груди, обвивался вокругъ тъла и завязанъ былъ на спинъ. Но шарфъ этотъ былъ изношенъ, истерть, и яркіе цвъта его потемньли оть долговременнаго употребленія. Онъ не составлялъ уже красиваго наряда, и не грълъ. Подъ шарфомъ видны были фуфайка, жилеть, фракъ; сверхъ шарфа, сюртукъ надътъ былъ на незнакомца, и шинель наброшена еще сверхъ сюртука. Увы! вся эта разнообразная уборка носила на себъ слъды опустошеній неумолимаго времени; сюртукъ и фракъ казались сщитыми не изъ сукна, но изъ какой-то особенной ткани, безъ ворсы. Рукава ихъ были починены на локтяхъ, а края рукавовъ висъли мелкими лоскутками. Ноги свои думалъ согръть незнакомецъ старою шубою, разостлавъ ее на полу, въ видъ ковра.

Все остальное въ комнать не составляло противоположности съ нарядомъ незнакомца. Въ углу находилось что-то похожее на каминъ; но,

по видимому, этоть ветхій каминь быль опредъленъ совсъмъ не для нагръванія комнаты: въ немъ стояло несколько старыхъ огромныхъ книгъ, и паукъ мирно заткалъ огромную съть отъ стънки камина до книгъ, бывшихъ на срединъ его. Обломокъ зеркала, дрянная бритва, стаканъ, фаянсовая тарелка, оловянная ложка, лежали и стояли на каминъ. Кромъ стола, за которымъ сидълъ незнакомецъ, въ комнатъ были еще кресла, съ изорванною подушкою и изломанною спинкою, и старинный стуль, у котораго недоставало одной ножки; ее замъняла стъна комнаты: къ стънъ этой обороченъ былъ стуль, какъ будто ему совъстно было передъ креслами, у которыхъ всъ четыре ножки оставались еще цълы. Впрочемъ, бъдный стулъ могъ гордиться тъмъ, что замънялъ хозяину своему шкафъ. Пространство между спинкою стула и стъною было обращено въ хранилище для наряднаго платья: туть лежали фракъ, жилеть, сюртукъ, довольно ветхіе, но тщательно вычищенные и сложенные. Дыроватый шелковый платокъ закрываль ихъ отъ пыли. Одинъ изъ четырехъ угловъ комнаты былъ загороженъ ширмами, съ грубой холстины которыхъ слетъла уже, отъ давняго употребленія, половина зеленой краски, какою были онъ вымазаны нъ-

Воть каково было тьсное жилище незнакомца, позднимь вечеромь, осенью сидъвшаго въ своей комнать подъ облаками, за письменнымъ столикомь. Желая познакомить съ нимъ нашихъ читателей, мы сдълали подробное топографическое описаніе его жилища. Теперь можете ли угадать, кто быль этотъ незнакомець, по старой пословиць: скажи мнв, какъ живешь ты, и я скажу кто ты? Но для подобной разгадки наше описаніе жилища незнакомца будеть не полно. Надобно докончить его еще иъсколькими отдъльными чертами.

По описанию, нами сдъланному, вы скажете только: это какой-то бидилкъ. Но если мы прибавимъ, что онъ сидълъ за столикомъ, и на этомъ столикъ безпорядочно набросаны были книги и книжонки, тетрадки, листы, лоскутья бумагъ, что на полу и по угламъ комнаты были также сброшены книги и бумаги, и все это было въ пыли и безпорядкъ — нътъ сомнънія въ вашемъ отвътъ: жилецъ подоблачной комнаты былъ какой нибудъ бъдный пач-

кунъ бумаги — *писатель*, какъ горделиво называеть себя всякій, пи<mark>ш</mark>ущій бумаги недъловыя.

Что значить наружность, внъшность! Если бы вы увидъли нашего незнакомца въ красивомъ, тепломъ кабинетъ, хотя не великолъпно, за то чисто прибранномъ, съ ковромъ на полу, диванами около стънъ, конторкою у одной стъны, столомъ краснаго дерева у другой; есбы увидъли вы на столь его необходимую принадлежность каждаго порядочнаго кабинета бронзоваго маленькаго Наполеона; и притомъ часы въ красивомъ футляръ, Амура съ мраморною плиткою надъ бумагами, множество галантерейныхъ бездълокъ на конторкъ, и цвъты на окнахъ, и эстампы на стънахъ; если бы, сверхъ того, самъ онъ былъ въ пестромъ какомъ нибудь халать, въ Вольтеровскихъ креслахъ, съ сигарою въ зубахъ, съ собакою у ногъ, и кругомъ его разбросано было множество томиковъ и брошюрокъ, вновь полученныхъ изъ Парижа, и альманаховъ Англійскихъ, и сърыхъ книженокъ Лейпцигскихъ - я увъренъ: вы не назвали бы его пачкуномъ бумаги. Нътъ! вы сказали бы: это литераторг какой-нибудь, писатель. Что значить наружность! И диво ли посль этого, что люди думають только объ ней, когда на каждомъ шагу видимъ доказательства, что только она и важна для людей!

Правда: людямъ нъкогда углубляться далье. Боже мой! когда имъ: у каждаго изъ нихъ столько своего дъла! И стоитъ ли труда разгадывать загадки людскихъ душъ, сердецъ и умовъ, послъ безпрерывныхъ опытовъ, что разгадка всего чаще не стоитъ труда, какой вы употребите на нее!

Но знаете ли однакожъ, что всего болье изъ великольпныхъ и красивыхъ кабинетовъ льются къ вамъ потоки чистой воды, въ стихахъ и прозъ, затопляющіе собою всякую литературу? Знаете ли, что всего болье изъ бъдныхъ, запачканныхъ чердаковъ выходятъ великія, чудныя созданія ума и воображенія, сверкаютъ эти искры, освъщающія собою въкъ и современниковъ? На чердакъ была написана Новая Элоиза; въ винномъ, замаранномъ погребкъ создавались фантазіи Гоффиана; на изломанныхъ клавикордахъ разыгрывались прежде всего симфоніи Бетховена, въ углу какой нибудь бъдной комнатки. Не презирай-

те же чердакомъ, гдъ въ пыли и лоскутьяхъ, воображеніемъ своимъ поэтъ насаждаетъ очаровательные сады Армидины; философъ рѣшаетъ задачу, можетъ быть, важную для всего Человъчества; прозаикъ раскрываетъ великія тайны души человъческой! Зачъмъ бояться чердака? Если бы вы знали, сколько зла придумываютъ въ великолъпныхъ кабинетахъ, и какъ темно бываетъ отъ дыханія пороковъ въ раззолоченныхъ гостиныхъ и будуарахъ — вы на чердаки убъгали бы отдыхатъ и любитъ людей, среди лоскутьевъ, изломанной мебели, пыли и паутины — необходимыхъ спутниковъ бъдности!

Бъденъ былъ незнакомецъ, о которомъ говоримъ мы, котораго видъли мы пишущаго за столикомъ, на чердакъ подъ кровлею. Бъденъ — объ этомъ нътъ спора; но познакомимся съ нимъ поближе. Можетъ быть, не найдемъ ли мы и въ немъ чего нибудь достойнаго замъчанія.

Странный нарядъ незнакомца не могъ однакожъ скрыть, что это былъ молодой человъкъ, и что онъ былъ не дуренъ собою, котя волосы его некрасиво острижены, худо причесаны, и борода не выбрита; но черты лица его были прекрасны, юны и благородны; взоръ восиламененъ чувствомъ. Онъ писалъ что-то поспъшно, останавливался, размахивалъ руками, билъ тактъ, опять начиналъ писать, переставалъ, и, казалось, онъ забывалъ и холодъ, и жилище свое. Сальная свъчка, въ желъзномъ подсвъчникъ, сильно нагорала у него, и онъ не замъчалъ этого, пока не становилось совсъмъ темно. Тогда, вдругъ опомнившисъ, онъ бралъ ножницы (щипцовъ у него не было), осторожно снималъ нагаръ со свъчки, бросалъ его на полъ, и топталъ ногою на полу.

Кто такой быль этоть человькь, и что онь писаль? Воть, кстати, на столикь его лежить счеть изь мелочной лавочки: »хлюбт — пива бутылка — сельдь — хлюбт — хлюбт — сельдь — клюбт — сельдь — клюбт — сельдь — комперброда Вильесльму Рейхенбаху — прослять объ уплать. И такъ: это Вильесльмъ Рейхенбахъ. Воть еще и письмо съ такимъ же адресомъ: »Въ N. N., въ Ней-Кирхенскомъ предмъсти, въ улицъ Черной Овцы, въ домъ т-на слъсаря Доминика Штуля, въ 4-мъ этажъ, въ комнать No 14-го. « Такъ: это самое то пред-

мъстіе, улица, домъ, этажъ, комната. Мы знаемъ уже имя незнакомца; остается узнать: кто онъ? Можетъ быть, онъ самъ все это разскажетъ.

Вильгельмъ Рейхенбахъ писалъ еще нъсколько минутъ. Но онъ бросилъ потомъ перо, схватилъ листъ бумати, имъ исписанный, изодралъ его съ сердцемъ въ мелкіе кусочки, и вскричалъ съ досадою; »Нътъ! я никогда этого не кончу! Проклятая сцена!« — Кусочки изодраннаго листа разлетълись во всъ стороны. »Однакожъ, тутъ было нъсколько стиховъ прекрасныхъ!« подумалъ Вильгельмъ, съ сожальніемъ смотря на лоскутки, разбросанные по полу. — »Какъ жаль, что я изодраль ихъ, не одумавшись!«

Онт наклонился головою на руку, устремиль глаза на бумаги, передъ нимъ лежавшія, и горестно промоленль: »Какъ недоволень я всъмъ тымь, что туть написано! Какъ все это кажется мнв слабо, глупо, несвязно! Моя послъдняя надежда, мой Арминій! не уже ли и ты мнв измѣнищь, какъ измѣнили мнв мой Аттила, мой Тамерланъ, мой Ріензи! Идея столькихъ льтъ, трудъ столькихъ мъслиовъ — я готовъ

уничтожить тебя, хотя.... что будеть со мною, когда я тебя уничтожу? Погибшіе годы юности, мечта обманувшая меня, увърившая, что я поэть, что Поэзія есть мое назначеніе въ мірь - и все это обманъ? Нътъ, нътъ! не обманъ эта мечта! Ей пожертвоваль я всею моею будущностью, а чему жертвуемъ мы столь много то не можеть быть обманомь, или - Провидьніе было бы несправедливо, влагая въ душу человъка пламень неугасимый ничъмъ, стремленіе, ничьмъ непобъдимое!« — Вильгельмъ взяль письмо, о которомъ мы упоминали, поцъловалъ его горячо, и съ жаромъ воскликнуль: »Добрая мать моя! и посль всего, что я дълаль, посль всехъ монхъ безразсудствъ — ни одного упрека! Только просьба — возвратиться къ тебъ, утъщить тебя моимъ присутствіемъ, посвятить тебъ жизнь мою.... Нътъ, я не возвращусь къ тебъ съ моею бъдностью, моимъ ничтожествомъ, не возвращусь быть предметомъ насмъщекъ сосъдей въ нашемъ городишкъ, предметомъ сплетней и сужденій этихъ пустоголовыхъ стариковъ, упрековъ тебъ, мать моя! Или увидишь ты меня поэтомъ, передъ которымъ преклоняется отечество, которому рукоплещуть современники, или....у меня достанеть еще денегь купить пистолеть! «...

Рука Вильгельма протинулась къ кощельку, лежавшему передъ нимъ на столикъ, ощупывала его, и ничего въ немъ не находила. »Ничего!« промолвилъ онъ печально. - »Ничего! Не на что даже купить пистолеть и двъ пули?... Ну! я продамъ моего Шиллера — вырву изъ него одинъ листочекъ, только одинъ, котораго не отдамъ ни за что въ мірѣ!« Онъ вскочилъ со стула, схватиль толстый томь, раскрыль его, и съ горестью смотръль на бълый листочекъ подлъ переплета, на которомъ было написано женскою рукою: Вильгельму, въ день сео рожденія, Генріэтта. — Этоть листочекь, этоть святой залогь любви «.... думалъ Вильгельмъ — »Я помню, какъ она скрывала отъ меня и отъ матери свою работу, копила деньги цълый годъ, и такъ нежданно подарила мнъ тебя, божественный Шиллеръ! Счастливый день! И я не исполню надежды нашей, Генріэтта? Нътъ, добрая мать моя - нътъ, моя милая Генріэтта! мы еще будемъ счастливы! Съ каждымъ днемъ надежда темнъетъ, мечты исчезаютъ; но она не исчезнеть, онъ не потемньють вовсе - я не унижусь, не паду передъ холоднымъ, гордымъ свътомъ; люди не будуть имъть наслажденія сказать мнъ: что, глупецъ? Наконецъ, ты приходишь къ намъ

просить работы изъ хльба? Ты бросаешь твою безумную мысль — жить въ поднебесномъ міръ Искусства? — Нъть! лучше плачьте надъ обезображеннымъ трупомъ, нежели надъ пристыженнымъ, безславнымъ Вильгельмомъ! — Однакожъ, поздно, а ни одна свътлая идея не мелькаеть въ моей головъ.... Арминій мой не конченъ — и еще день погибъ; и весь трудъ мой кажется мнъ теперь такъ ничтоженъ, такой вздоръ, такой наборъ словъ — я усталъ, утомился!...«

По видимому, въ эту минуту земныя потребности одольли Вильгельма, что ни говориль онъ. Вильгельмъ всталь, молчаливо подопиель къ камину, взяль въ руки бутылку, и уныло оборотиль се къ свету. »Ни одной капли! « промолвиль онъ, ставя бутылку на прежнее мъсто. »А мнъ казалось, что въ ней оставалось еще съ рюмку вина!... « Въ это время замътиль онъ мышь; хитрое животное тихонько пробиралось по краншку камина, къ тарелкъ. Вильгельмъ улыбнулся. »Ты ошибешься, бъдилжка, голодная подруга моего уединенія! « сказалъ онъ. — »Ни одного кусочка хлъба не найдешь ты! — А не худо бы теперь съъсть что нибудь. — Завтра,

прости мой Арминій! Завтра я не примусь за тебя: мнъ надобно докончить поутру мой переводь для книгопродавца, эту глупую бро-шпорку: Открытіе важеньйших секретов, по которому теловики легко можеть сдылаться богатыми. И я перевожу это открытіе, на чердакъ моемъ, когда мнъ нъчего ужинать!«...

Теперь мы знаемъ незнакомца, жителя Ней-Кирхенскаго предмъстія, улицы Черной Овцы, бъдной комнаты подъ № 14-мъ, въ 4-мъ этажь, въ домь г-на сльсаря Доминика Штуля. Онь, Вильгельмъ Рейхенбахъ, молодой человекъ, переводить изъ хльба брошюрки для книгопродавцевъ, и мечтаетъ о Поэзіи, создаетъ трагедію на своемъ чердакъ, уничтоживъ три или четыре трагедін, написанныя прежде. Добрая мать зоветь его изъ очарованныхъ садовъ Поэзін въ бъдное свое уединеніе, а Любовь указываеть ему на будущее, какъ на исполненіе прекрасной мечты его: быть великимъ поэтомъ. Между тымь онь должень по счету вы мелочную лавочку, хотя бутылка пива, сельдь и хльбъ неръдко составляють весь объдъ его; ему нечьмъ вытопиль камина въ осенній холодный вечеръ, и онъ принужденъ ложиться спать безъ

ужина. Надобна ли вамъ послъ сего болье подробная біографія Вильгельма Рейхенбаха? Вы уже знасте ее.

Мы познакомились съ Вильгельмомъ въ невеселую для него минуту жизни, когда рука его не находить ни одного гроша въ кошелькъ, а воображение отказывается докончить трагедію, на которой основаны всъ его надежды, всъ мечты его поэтической и вещественной жизни. Смъшны эти поэты — что за странный такой народъ! Я не буду ручаться, что за нъсколько минутъ Вильгельму жизнь казалась раемъ небеснымъ; что онъ не слыхалъ вътра осенняго, не чувствовалъ голода; что легкій воздушный образъ Генріэтты вдохновляль его, и онь, перенесенный въ лъса дребней Германіи, на яву бился кровавымъ мечемъ съ побъдителями міра, Римлянами, слышаль побъдную пъснь Арминія, присутствоваль при заклинаніямь Веледы. Онъ, конечно, забываль тогда и осень, и чердакъ свой, и то, что ему надобно лечь голоднымъ. Но минута: вдохновение исчезло, и свинцовал существенность оборвала крылья у души его, и онъ готовъ промънять подарокъ своей Генріэтты на пару пуль, и

Ч. І.

этими пулями окончить и мечты, и жизнь, и трагедно свою.

Онъ стоялъ еще нъсколько времени среди компаты своей, угрюмый и неръщительный, и, какъ будто бы ему необходимо надобно было сыскать постороннюю какую нибудь причину для своей досады, ворчалъ сквозь зубы, потирая руки: »Проклятая погода! Какой холодъ, какая сырость!«

Вдругъ сильно дунулъ вътеръ. Ветхое окно въ компатъ Вильгельма задрожало; цълое стекло выпало изъ него, разбилось, зазвенъло, и вътеръ порывисто ворвался въ окно, вмъстъ съ дождемъ, брызнувшимъ на треногій стулъ. Страшная тревога! Стулъ покатился и упалъ, вмъстъ съ платьемъ, на немъ лежавшимъ; листы трагедіи завертълись, полетъли по компатъ; свъча едва не потухла. Поспъпно бросился Вильгельмъ, схватилъ подушку, лежавшую за ширмами, и заткнулъ ею разбитое стекло. Увы, бъдный поэтъ! гдъ твой Арминій Вотъ опъ разбросанъ по частямъ, такъ же, какъ прахъ героя Арминія развъянъ бурями въковъ по дремучимъ лъсамъ древней Германіи, и какъ разнесены вътрамв

пустынь побъдныя пъсни его воиновъ и заклинанія его бардовъ.

»Теперь разсердится Вильгельмъ!« — Какъ вы ошибаетесь! Какъ худо знаете вы этихъ поэтовъ! Посмотрите: напротивъ, онъ въ какомъто восторгь. Загородивъ путь дождю и ветру въ свое жилище, онъ бросается къ своему столику, и, подобно Архимеду, готовъ воскликнуть: нашель, нашель! — Не подбирая разлетвишихся листковъ Арминія, не поправляя свічи, которая начала оплывать отъ свътильни, покривленной вътромъ, Вильгельмъ беретъ перо свое и ищетъ бумаги. »Прекрасно! « говорить онъ — »Какая богатая мыслы! Это будеть совершенно ново, разительно! О Тацить! благодарю тебя! О Генріэтта, милый другь мой! работа моя кончена! Поздравляю тебя, Германія, съ новымъ поэтическимъ созданіемъ: мой Арминій конченъ!«

Между тъмъ, онъ ищетъ бумаги и не находитъ. »Не уже ли не осталось ни одного листа? Да, вотъ, кстати!« Вильгельмъ беретъ длинный счетъ изъ мелочной лавочки господина Буттерброда, и на другой сторонъ его пишетъ свои стихи, не смотря на масяяныя пятца въ бумагь. Онъ пишеть; рука его едва успъваетъ летать за мыслыо; глаза его сверкаютъ, щеки горять, время летить - онъ ничего не замъчаетъ. »Копчено, Генріэтта, кончено! « восклицаеть онь, вскакивая со стула, и ему, какъ Гамлету въ минуту явленія духа — уже мечтается Богъ знаетъ что, мечтается его Арминій на великольпной сцень, слышатся рукоплесканія зрителей, видится Генріэтта, въ слезахъ упадающая на грудь его, съ тихимъ шопотомъ: »Мой милый поэть!« Онъ чувствуеть, какъ вокругъ его шепчуть: »Воть онь, воть творець Арминія, воть честь отечества Рейхенбахь!« — Вильгельмъ едва дышетъ - у него жаръ въ головъ; грудь его стъснена невыносимыми чувствами: слезы капають изъ глазъ его....

Юность, Любовь и Поэзіл! съ вами ли не забыть человъку все на свъть?

»Не уже ли я не подълюсь съ нею моею радостью? Съ къмъ же мнв подълиться, кромъ ея? И могу ли быть счастливъ, если не раздълю моего чувства ни съ къмъ? — Къ Генріэттъ, къ Гепріэттъ! — Но теперь должно быть поздно — который-то часъ? Какъ нарочно, часы не звонять на башит, когда въ другое время надоъдають мив своимь безполезнымь звономь! — Поздно — и какая ужасная погода! — Но, кажется, вътеръ и дождь утихли«.... продолжаль Вильгельмъ, стараясь всмотръться на улицу сквозь свое закоптълое окошко. »Что до погоды и до времени! Если онъ уже спять, если уже такъ поздно, я буду счастливъ и тъмъ, что прошепчу подлъ дверей моей Генріэтты: Я кончилъ моего Арминія, милый другъ! Надъйся, моя Генріэтта: мечты наши сбываются! — Скоръе, скоръе!«

И Вильгельмъ спышилъ собрать разбросанпые по комнатъ листы своей трагедін; сбросиль ихъ кучею на столъ; наскоро поправилъ свой туалетъ, и черезъ нъсколько минутъ онъ затушилъ уже свою свъчку, и спускался осторожно по высокой лъстищъ, гдъ потухавшие фонари освъщали вытертыя каменныя ступеньки, веревку, служившую вмъсто перилъ, и горшки, кадки и всякія домашиія снадобья, выставляемыя въ корридоры жильцами верхнихъ этажей. Подобно Данте, проходившему въ Рай съ своимъ Виргиліемъ черезъ Адъ и Чистинще, Вильгельмъ прошель сквозь иъсколько душпыхъ атмосферъ и чадъ изъ кухопь, по сырой, грязной лъстниць, съ своимъ Арминіемъ въ душь, съ мыслыю о своей Генріэттъ. Воть онъ на улицъ. Какая радость, какая добрая примъта: дождь и вътеръ перестали; мъсяцъ проръзалъ сърыя облака, и серебряными лучами своими освъщаетъ землю. На ближней колокольнъ ударило делять часовъ. «Еще не поздно — поспъщимъ! « сказалъ Вильгельмъ, и почти бъгомъ пустился онъ по скользкимъ, неровнымъ тротуарамъ.

Путь быль не близокъ. Вильгельмъ думалъ замънить отдаленность поспъпностью; не смотрълъ подъ ноги, спотыкался, едва не упалъ нъсколько разъ, и не одна старуха, сбитая имъ съ ногъ, брапила его, не одинъ почной сторожъ, поправлявний фонари, и отъ сильнаго толчка полетъвний на землю, провожалъ его бранью. Вильгельмъ ничего не слыхалъ, бормоталъ стихи изъ своего Арминія, и не чувствовалъ ни усталости, ни потоковъ дождевой воды, обливавшей его изъ кровельныхъ трубъ. Генріэтта жила на другомъ концъ города въ Алтъ-Кирхенскомъ предмъстъи. Вильгельмъ не замътилъ, какъ прошелъ мимо поворота въ улицу, гдъ жила она.

Въ досадъ поворотилъ онъ назадъ, далекимъ обходомъ, и когда завидълъ онъ домъ, гдъ жида Генріэтта, уже давно пробило десять часовъ

Только теперь, когда этоть старый каменный домъ, облъпленный выеъсками и согременный Тридцати-летней войнь, выказываль свои угловатыя формы при мъсячномъ свъть, Вильгельмъ подумалъ: »Не поздно ли? Какъ явиться теперь въ Генріотть, если еще и не спить она? « — Тогда только вспомниль Вильгельмъ, что у Генріэтты была старушка мать, всегда ворчавшая на него за вътренность, за стихи его, и всегда изъявлявшая притомъ удивленіе, что этоть добрый молодой человъкъ помнитъ ел старую дружбу съ его матерыю, и не скучаетъ просиживать по цълымъ часамъ, иногда по цълымъ вечерамъ съ нею, старухою. Добрая старушка не могла сообразить того, что Генріэтта ел сидить туть же, съ работою; еще менье могла она подумать, чтобы Генріэтта любила добраго, учтиваго, скромнаго Вильгельма: она считала за дитя свою милую Этуенъ. »Ей ли влюбляться и любить!« говорила часто старушка сама съ собою. А что Вильгельмъ любитъ Генріотту, старушка вовсе не могла понять этого. »Начинають любить, когда надыотся жениться, а надыотся жениться, когда есть чьмъ жить съ женою, прокормить себя и ее, и дать порядочное воспитание датямъ. Такъ говариваль мой покойный Готлибъ, такъ думаю и я, и, кажется, не опибаюсь, сколько ни передумываю объ этомъ. Конечно, Богь попустиль потомъ Готлибу разориться и умереть въ бъдности, и меня съ Гепріэттою оставить въ бъдности. Но когда онъ женился, у него было чемъ жить и воспитать будущихъ детей. А Вильгельмъ? Онъ бъденъ, онъ самъ бъется кое-какъ; слъдовательно, онъ не можетъ думать о женитьбъ; следовательно, онъ и не можетъ влюбиться. Онъ вътренъ, молодъ, но уменъ и добръ. Не уже ли онъ вздумаетъ влюбляться, какъ пишутъ объ этомъ въ романахъ, которыхъ, бывало, не позволяла мнъ читать покойная матушка, которыхъ и я не даю моей Генріэтть, и которые оть скуки читывали мы вмьсть съ покойнымъ Готлибомъ? Пъть! Вильгельмъ не таковъ. Посмотрите, какъ онъ уважаеть мою старость и помнить дружбу съ его матерыю, какъ онь благоразумно судить обо всемъ. Да и моя Этхепъ: похожа ли опа на этихъ дурочекъ, Каролинъ, Матильдъ, Клариссъ, Мальвинъ? Нисколько! Я воспитала ее въ привычкъ къ хозяйству, въ благочести, въ страхъ Божіемъ.«

Такъ разсуждала добрая старушка. Иногда приходила ей въ голову мысль, что Генріэтта и Вильгельмъ составили бы вдвоемъ прекрасную парочку. Иногда она и начинала говорить съ Вильгельмомъ о будущемъ, о томъ, что пора бы ему поразмыслить, какъ упрочить свее будущее состояніе. Старушка знала, что Вильгельмъ пишетъ стихи, но почитала это шалостью, и не ръдко журиланего за эту шалость. Она думала, что главное занятие Вильгельма состояло въ приготовлении себя къ какому нибудь университету, и въ преподавани уроковъ, причемъ, уча другихъ, онъ самъ учится. Вильгельмъ могь посль того сыскать себь мъсто, должность, и . . . старушка улыбалась, не оканчивая своей мысли. Она также не знала вполнъ бъдности Вильгельма и угнетавщихъ его недостатковъ. Онъ всегда являлся къ нимъ одътый весьма опрятно; въ изношенномъ, старомъ фракъ, но чистомъ, такъ, что на немъ не было пятнышка. Вильтельмъ не смълъ говорить ей откровенно. И какъ сталь бы онъ говорить?

Могла ли понять его добрая старушка? — Съ трепетомъ слушалъ онъ разговоры ел о будущемъ; подозръвалъ, что она, не говоря собственно ни слова, съ будущностью его сливаетъ, можетъ быть, будущность и дочери своей... Онъ проникаль, что такова же была и тайная мысль Генріэтты, потому, что она потупляла въ это время глазки свои, щечки ея оттыняль легкій румянець, и косынка подымалась на трепещущей ея груди... »О счастье мое! какъ ты близко оть меня!« думаль тогда Вильгельмъ. » Если бы маленькій уголокъ, наслажденіе Поэзією и Любовыю въ этомъ уголкъ, Генріэтта со мною, и эта добрая старушка вмъсть съ нами и съ моею матерью! « Туть не ръдко брался онъ за шляпу и уходилъ отдохнуть на свъжемъ воздухъ, уходилъ за городъ, далско въ поле, отъ людей и отъ города....

Съ Генріэттою быль онъ откровеннъе. И въ присутствіи матери, неръдко заводиль онъ безконечные разсказы о поэтахъ и трубадурахъ, Минисзингерахъ, Мейстерзингерахъ и въкъ рыцарства. Туть высказывалась вся душа его; стихи летьли тогда импровизацією, и Вильгельмъ позволяль себъ сожальть, что прошло время, когда арфа отворяла поэтамъ двери въ дворцы

государей. Онъ описываль божественную любовь, царствовавшую надъ средними въками, изображаль Поэзію, сливавшуюся тогда съ Любовью. — » Какія славныя сказки! « говорила старушка, улыбаясь. »Какая истина!« шентала украдкою Генріэтта, и, украдкою, Вильгельмъ браль ел руку, и тихонько пожималь ее, и взоръ его говорилъ сй: »Для насъ не прошли эти въка, Гепріэтта! Подожди, милый другь! Какъ поэтъ явлюсь я къ тебь и въ наше время; и тебя отдадуть мив, какъ поэту, насавднику Миннезингеровт !- Старушка не замъчала этого, зацятая своею работою, а Гепріэтта обращала на Вильгельма взоръ, и какъ будто говорила сму: "Еще такой же прекрасный разсказь, Вильгельмъ!

Но что поэтически изображалъ Вильгельмъ въ сказкахъ и повъстяхъ при матери, то успъваль онъ запросто сказать Генріэтть, въ немпогія минуты, когда они оставались одии, или когда Вильгельмъ провожаль ихъ въ танцовальный клубъ, въ публичный садъ, на гулянье. Даже въ церкви, сидя на лавкъ за Генріэттою, пока мать ея пъла псалмы, Вильгельмъ говорилъ Генріэттъ о святомъ чувствъ своей любви, о

своихъ надеждахъ, о счастливой ихъ будущности, о своихъ великихъ поэтическихъ созданіяхъ. Немнего бывало минутъ для подобнаго тайнаго разговора; мимолетны были отъ этого самые разговоры; но Генріэтта узнала, и Вильгельмъ устрыть сказать ей, какъ онъ любитъ ее, какъ надъется быть поэтомъ отъ любви своей и счастливцемъ отъ своей поэзін. » Вдохновляй меня, мой милый другь! « говорить Вильгельмь - »и я изумлю современниковъ пявленіемъ великаго поэта!« Генріэтта вздыхала, красныла; рука ея невольно оставалась вы рукт Вильгельма. Въ одну изъ такихъ минутъ забывчивости; елова: элюблю тебя, мильий Вильгельмова вылетьли какт то нечалнио изъ устъ Генріэтты. Розовое пятно осталось посль сихъ словъ на щекъ ся отъ нежданнаго ею поцълуя Вильгельмова. На Когда мать вошла въ комнату въ это времи, она увидъла, что Вильгельмъ разсъянно барабанить по столу пальцами, а Генріэтта ищетъ чего что заботанво около себя на полу. "Что ты ищень, Этхенъ? « спросила старушка. Я уронила иголку, маменька — отвъчала Генріэтта. — »Такъ что же ты, учтивый кавалеръ, не пособишь ей искать, « сказала старушка, смъясь. »Прекрасно, куда какъ хорошо! Сидить себъ, будто не его дъло! А еще стихотворець, Миннезингерь «... Вильгельмъ бросился искать иголку, но нашелъ только руку Генріэты, и кръпко прижаль ее къ губамъ своимъ.

Въ тотъ же день началъ онъ своего Армииіл. Онъ читаль его Генріэтть наизусть. Генріэтта была въ восторгь оть стиховъ Вильгельма, жальла о бъдствіи Арминія, просила Вильгельма не оканчивать трагедіи своей печально. Вильгельмъ смъялся. Но время уходило; посль вдохновеннаго начала, Арминій не оканчивался, даже не двигался впередъ. Обстоятельства сильно ственяли бъднаго Вильгельма. Проведя въ иное утро нъсколько часовъ за переводомъ какой нибудь глупости для книгопродаеца, или за скучнымъ урокомъ сынку какого нибудь богатаго бургера, онъ на цълый день теряль способность вдохновенія, сидъль на чердакъ своемъ, съ досадою грызъ перо - и ни одна мысль поэтическая не слетала къ нему въ бъдный чердакъ его...

Но Арминий быль кончень. Мы видьли, какъ побъжаль Вильгельмъ съ этою въстью къ своей Генріэтъ. И воть, близъ жилища Генріэтъ, остановился онъ, вспомнивъ, что уже один-

падцатый чась, что Генріэтта, можеть быть, уже спить....

- Но нътъ! Онъ еще не спятъ. Вотъ свътить огонекъ въ ихъ окошкъ!
- Но, что скажеть мать Генріэтты? Я недълю уже не быль у нихъ, и теперь явлюсь такъ нечалнио, ночью!....

Онъ прислонился къ углу сосъдняго дома, сложивъ на груди руки. »Генріэтта, « шепталъ онъ, »милый другъ Генріэтта! слышнив ли: мой Арминій конченъ! « Онъ протянулъ руки, какъ будто прижималъ Генріэтту къ сердцу своему.

Жилище Генріэтты было не только въ другомъ предмъстіи города, но не походило на жилище Вильгельма еще и тъмъ, что находилось не на чердакъ, но въ самомъ нижнемъ этажъ стариннаго дома, и что этотъ домъ принадлежалъ нъкогда какому - то знаменитому бургмейстеру города. Отъ того происходила вся разница. Въ предмъстіи, гдъ жилъ Вильгельмъ, находились домы вновь выстроенные, и въ нихъ бъдность обыкновенно помъщалась на высотъ,

подъ кровлями; въ старомъ предмъстіи, гдъ жила Генріэтта, были домы старинные, и въ нихъ бъдные жильцы укрывались въ нижнихъ этажахъ, составленныхъ изъ сухихъ, обширныхъ погребовъ и подваловъ, которые въ новъйшее время были обращены въ жилье владъльцами домовъ. Въ старину строили домы не для отдачи въ наемъ: для прівзжихъ учреждались гостиницы; бъдные могли жить, гдъ было имъ угодно; но каждый горожанинъ располагаль жилище для себя, для поклажи своихъ запасовъ и товаровъ, и цълый домъ занималь онъ самъ. Нынъ дъллють иначе: и хозлинъ кажется постояльцемъ на ряду съ другими жильцами. Онъ строить собственно постоялый домь, кое-какъ помѣщается самъ, и открываетъ приотъ, внизу дома лавочкамъ и погребкамъ, въ срединъ богатому наеміцику и трактирицику, въ верху бъднякамъ. Привыкнувъ дълать запасы только на завтра, отдъливъ товары въ магазины и анбары, обладатели старинныхъ домовъ ръшаются подражать новымъ строителямъ домовъ. Но что же имъ отдать въ насмъ бъдняку? При строепін домовъ предки ихъ не готовились принимать къ себь бъдныхъ постояльцовъ. И погреба и подвалы, гдъ иъкогда хранилось дъдовское

вино въ огромныхъ бочкахъ, и хлъбъ лежалъ въ огромныхъ закромахъ на цвлые годы, превращаются въ жилища бъдняковъ. Немного распространенныя, почти на самый тротуаръ выходящія окошки озпачаютъ каждое такое, передъланное изъ погреба жилище.

91 44 70 to 1

И въ такомъ низменномъ пріють жила и Генріэтта съ матерью, эта дъвушка, мечта любви Вильгельмовой. Но не думайте, чтобы пріють Генріэтты составляло какое нибудь жилище неопрятное, нечистое — оно было только небогато. Домъ, въ течение двухъ сотъ лътъ, успълъ провътриться и высохнуть, начиная съ черепичной кровли до последнихъ сводовъ его въ земль. Пропустивъ свъть въ низменныя окошки, рука хозянна украсила это полуполземное жилище новою штукатуркою, поставила въ немъ хорошій каминъ, и все это раскрасила въ видъ пальмовой рощи, съ ландшафтами. Мать Генріэтты уже съ наскольких влать нанимала довольно обширную комнату, съ маленького кухнего и сънями. Располагаясь, какъ дома, привыкнувъ къ хозяевамъ и къ жилищу своему, сохраняя притомъ остатки прежняго довольнаго житья съ своимъ Готлибомъ, ста-

рушка не щадила издержект на разныя украшенія своего обиталища. Но она думала только о полезнолиз: строила перегородки, удбляла избытки отъ расхода на покупку мебели, посуды; Генріэтта, напротивъ, заботилась о пріятноли: сама сплела большой коверъ изъ суконныхъ покромокъ на полъ, вышивала по канвъ коврики подъ всякое домашнее спадобье; завела цвъты на окошкахъ; даже сдълала красивую подушечку подъ старинные часы на стънку. Вездъ видны были слъды ел забетливости и досужливаго рукодълья. Запимаясь безпрерывною работою, старушка и Генріэтта имвли средства — даже немпожко роскошпичать: любезный гость ихъ, Вильгельмъ могъ сидать у нихъ на спокойной табуреткъ, за стариннымъ столикомъ краснаго дерева, свытлымъ, какъ зеркало (старушка гордилась, что столикъ этотъ быль цъльный изъ краснаго дерева, а пе обклейной, экакъ нынк дилають« прибавляла она съ усмышкою). Вильгельма всегда подчивали члемъ съ хорошими сливками, свъжимъ масломъ, брюшками, и въ то же время мурныкалъ подлѣ него жирный коть — признакъ довольства хозяссъ. Взоръ гостя могъ усладиться Пирембергскими гравюрками на стенахъ; и дымъ благовонной сигарки,

которую подавала ему Генріэтта, сливался съ запахомъ резеды и другихъ цвътовъ, стоявшихъ на окошкахъ. Потомъ садилась Генріэтта за маленькіе старинные клавикорды, и пъла и играла для Вильгельма, который иногда жертвовалъ своимъ объдомъ, чтобы купить и принести къ Генріэттъ новую какую нибудь арію. Пріятный голосъ Вильгельма присоединялся иногда къ пънію Генріэтты. Въ эти минуты всего чаще приходила матери Генріэттиной мысль: "Прекрасная могла-бъ быть парочка изъ этихъ пъвуновъ!«

Много ли надобно для довольства человъка! Повърите ли, что время, проведенное у Генріэтты, Вильгельмъ считалъ праздникомъ для себя, даже по удобствамъ жизни, какія находилъ
въ ея жилищъ, не говоря уже объ его душевномъ наслажденіи? Онъ роскопничалъ тогда,
въ теплой, свътлой, чисто-прибранной комнатъ.
И Генріэтта, въ свсемъ простомъ бъломъ платьицъ съ чернымъ передпичкомъ, и мать ея, въ
огромномъ чепчикъ и пестромъ платьъ, изъ старинной исизносимой матеріи, казались ему щеголихами. Чашка члю, налитая рукою Генріэтты, сигарка, зажженная ею, простая пъсенка,

пропътая Генріэттою — что за наслажденія! »Какъ немного надобно для счастья жизни!« говорилъ послъ того Вильгельмъ, самъ съ собою. »Если бы я могъ доставить себт вст эти маленькія удобства, и потомъ, пропъвши свою пъсенку, Генріэтта съла бы ко мнв на кольна, обвила рученки свои вокругъ шеи моей, поцъловала меня, и склонила ко мнъ свою голову, а мать ел сказала бы, смотря на насъ: »Милыя дъти мои!« И послъ того поспъщиль бы я работать въ свой маленькій кабинеть, который находился бы воть туть, за стъною; и Генріэтта пришла бы ко мнъ, съла бы подлъ меня съ своею работого; и котъ ея взгромоздился бы ко мнъ на столь — я вызываль бы тогда цълый мірь, сказать миъ: кто счастливъе меня?«

— Я хочу видъть ее! — вскричалъ Вильгельмъ. Онъ поспъшно подошелъ къ дому, гдъ жила Генріэтта, припалъ на кольни у ел окошка, на троттуаръ, и внимательно глядълъ въ комнату. Но, увы! окно было задернуто кисейною занавъскою, такъ, что пикакой любопытный взоръ наблюдателя съ улицы не могъ проникцуть въ скромное жилище невинности и домашняго спокойствія. Чего бы не далъ теперь Вильгельмъ,

чтобы отдернуть эту завистливую занавъску »Годъ жизни моей за одну минуту!« шепталь онь съ досадою.

Вильгельмъ ръшался постучать въ окно. Но что скажетъ объ этомъ мать Гепріэтты, если она туть — эта старушка, строгая наблюдательница всъхъ приличій! Боже мой! какая досада! Если бы можно было узнать, что ея нътъ въ комнать, постучать въ окно, сказать Генріэттъ два, три слова! Стукъ испугаль бы Генріэтту; да что за бъда? Она такъ мила бываетъ, когда испугается, и она конечно простила бы нетерпънію Вильгельма свой маленькій испугь. Какъ не простить ему, узнавши важную причину его прихода — извъстіе объ окончаніи Арминія, и, само по себъ разумъется, о началь славы Вильгельма и общаго ихъ счастія!

» Другой годъ моей жизни за то, чтобы узнать: тутъ ли мать Генріэтты, или Генріэтта одна въ комнать? « Какъ расточительна попость на годы: ей кажетел, что у нел въ запасъ Маоусанловы въки....

Такъ, почти припадал лицомъ къ троттуару,

стояль туть Вильгельмъ, торговался съ своимъ счастіемъ цъльми годами, сердился, мечталт, забывъ, что его можетъ замьтить кто нибудь прохожій, дворникъ; что его могутъ счесть какимъ пибудь бездъльникомъ, воремъ Вели, ко дъло! считайте чъмъ угодно: время ли думить о другихъ, когда Вильгельмъ забываль самого себя

- Но что подумають о Генріэтть, если замътятъ у окошка ел молодаго мужчину, ночью, въ такое время? — Едва эта мысль принца въ голову Вильгельма, онъ содрогнулся! Честь Генріэтты, ел добрал слава — это дороже самой жизни было пламенному, но доброму Вильгельму. — Пу! если злал сосъдка вздумаетъ теперь выставить свою голову на улицу? - И Вильгельму казалось, что изъ всъхъ оконіект выставились уже головы въ колпакахъ и чепчикахъ, и злые языки сверкають изъ этихъ головъ, какъ острыя бритвы, готовыя изръзать добрую славу Генріэтты. Голова его закружилась. Онъ вскочиль поспъшно. »Прости, Генріэтта!« проговорилъ онь печально, хотъль итти, и - не двигался съ мъста.

Доброе дъло никогда не остается безъ награды. И добрую мысль Вильгельма замьтила всемогущая судьба, хотя въ это время, въроятно, занята она была тяжбою итсколькихъ царствъ, опредъленіемъ жребія нъсколькихъ кровавыхъ битвъ, и, какъ всегда, ръшеніемъ участи обитателей цълаго міра, тысячи милліоновъ, по върному счету статистиковъ. Вельніемъ судьбы всемогущей, по инстинкту какому-то (у животныхъ нътъ воли - это извъстно всъмъ физіологамъ) - котъ, любимецъ Генріэтты, вздумаль вскочить на окно, началь чистить морду и лапки, играя, приподняль кончикъ занавъски, и - яркій свъть блеснуль изъ комнаты на троттуаръ; и Вильгельмъ забылъ всъ свои благоразумныя ръшенія - снова бросился къ окну, не думая ни о сосъдкахъ, ни о грязи на троттуаръ.

Жадный взоръ его устремился въ комнату. Какое счастье! Старушки нътъ въ комнатъ, и Генріэтта, одна, стоитъ подлъ рабочаго столика. Задумавшись, прибираетъ она со столика свою работу. На головъ ел спальный чепчикъ. Еще никогда не видалъ ее Вильгельмъ въ этомъ чепчикъ. Какъ она хороша въ немъ, какъ мила она!

Нетерпъливый Вильгельмъ застучалъ въ окно. Котъ встревожился, хотълъ бъжать, но лапки его запутались въ бахромкъ занавъски; онъ отдернулъ ее еще болъе. Генріэтта поблъднъла; работа выпала изъ рукъ ел, и глаза со страхомъ обратились на окно.

»Генріэтта, милый другь! не бойся, не пугайся: это я!« говориль Вильгельмъ, задыхаясь.

Вся вспыхнула Генріэтта, робко оглядълась кругомъ, и бросилась къ окну. Опа узнала Вильгельма.

— Вильгельмъ! что это значитъ? Ты ли это? Такъ поздно? Что съ тобой сдълалось?

Онъ стучалъ въ форточку окна, давая знать, чтобы Генріэтта отворила ее, потому, что онъ не могъ разслушать словъ сквозь стекло.

Еще разъ оглядълась кругомъ робкая дъвушка, и поспъшно стала отматывать снурокъ, которымъ завязана была форточка. Руки ся дрожали; наконецъ форточка была отперта. — Вильгельмъ!

•Генріэтта!«

— Ахъ! какъ ты испугалъ меня! Что съ тобой сдълалось? Теперь, въ это время — здоровъ ли ты?

»Мой милый другь! я хотълъ тебя видъть «

 Но, маменька — Ахъ! Боже мой! — Сегодня пятый день, какъ ты не былъ у насъ...

»Мой другъ! я кончилъ моего Арминія....«

-- Кончилъ!

»И спъшилъ сказать тебъ: радуйся, милая Генріэтта!«

— Но, маменька...

»Копчилъ, слъпшишь ли, копчилъ! Завтра примусь переписывать, а потомъ — о мой другъ!«

— Вильгельмъ! слава Богу; но такъ поздно...

Ты, кажется, такъ разстроенъ. .. Не скрывай отъ меня.

»Я хотълъ подълиться съ тобой моею радостію. Я готовъ былъ отдать полжизни, только бы видъть тебя, милый другъ! Окончаніе моей трагедіи прекраспо — я приду читать тебъ...«

- Приходи, Вильгельмъ, ради Бога! »Не ужели ты не рада этому?«
- Ахъ, Вильгельмъ! я не знаю боюсь....
 Дверь закрыпъла. »Ахъ! уйди, уйди скоръе!« проинситала Генріэтта, трепеща.

»Никого пътъ. Послушай, милый другъ! вотъ какъ окончилъ я Ты не слушаещь?«

— Я боюсь....

»Такъ затвори же форточку и опусти занавъску, трусливая Генріэтта! « сказаль Вильгельмъ, готовый разсердиться. »Я останусь подлъ окна и буду читать и думать о тебъ, воображая, что Генріэтта раздъляеть со мною радость и чувство мое... А ты еще боншься! «

— Несправедливый другь мой! подумай.... иаменька...— Слова замирали на устахъ Генріэтты.

Въ самомъ дълъ, дверь скрыппула еще; кашель старушки раздался уже въ компатъ.

»Гепріэтта! твою ручку, н я убъгу!«

Безмольно, поблъднъвши, Генріэтта протянула свою руку за окно. Вильгельмъ страстно цъловалъ эту нъжную, милую ручку; напрасно дъвушка хотъла вырвать ее, и умоляющимъ голосомъ шептала: »Вильгельмъ, Вильгельмъ!«

Ну, Генріэтта! — сказала старушка, вошедъ въ комнату. Вильгельмъ выпустилъ ручку Генріэтты; поспѣшно затворила форточку дъвушка и опустила занавъску. Къ счастно, мать не обратила вниманія на ея бледность и замъщательство. Генріэтта спышила прибирать работу со столика, и щеки ея запылали, когда она думала, что въ эту минуту Вильгельмъ стоить подль окна. Какъ бы хотьлось ей, чтобы этотъ несносный Вильгельмъ ушелъ поскоръе — и какъ дорого заплатила бы она, если бы еще разъ могла взглянуть на него! Онъ для нея спъшилъ сюда, онъ хотълъ раздълить съ нею счастье свое.... Милый Вильгельмъ! опъ и радоваться безъ нея не умъетъ; и какъ же пойдетъ онъ теперь, ночью, одинъ, черезъ весь городъ....

Разсъянио, но усерднъе обыкновеннаго молилась въ этотъ вечеръ Генріэтта, и слова: Вильеельлю, Арминій, шептала опъ потомъ во спъ, когда легла въ свою постель, долго не могла уснуть, и паконецъ уснула для того только, чтобы во снъ увидъть Вильгельма въ видъ Арминія, и театръ, и войну, и Римлянъ, сидящихъ въ ложахъ театра, съ лорнетами, и своихъ соотчичей, которые, держа въ рукахъ кружки пива, съ трубками въ зубахъ, танцуютъ гросъ-фатеръ вокругъ торжественной колесиицы, на которой сидитъ Вильгельмъ, и громко восклицаютъ: Es lebe hoch!

Странный сонь! Да, какого же склада ждать оть сна дъвушки, если притомъ она легла спать полу-испуганная, встревоженная, боясь за участь милаго ей человъка? Шутка ли: ему надобно итти ночью, черезъ весь городъ! Но думалъ ли когда нибудь грозный Арминій, что черезъ восмнадцать въковъ объ немъ будетъ мечтать молоденькая дъвочка, въ видъ его воображая себъ своего милаго друга? Право, какія шалости дълаетъ эта любовь, не только наяву, но и во снъ...

Вильгельмъ стоялъ еще нъсколько минутъ, когда форточка закрылась и занавъска была опущена. Онъ прижималъ руки свои къ груди; па губахъ его еще не простываль жаръ отъ этой нъжной, пухленькой ручки, которую за минуту онъ прижималъ къ губамъ своимъ. Забывъ самого себя, опъ шепталъ: »Генріэтта,

Генріэтта! люблю тебя, люблю! Клянусь, что только смерть разлучить меня съ тобою. Но есть и за гробомъ жизнь, и тамъ я буду любить тебя, милый другъ, моя Генріэтта! — Все къ ногамъ твоимъ, все — и слава моя, и душа, и каждая мысль «....

Богъ знаетъ, что говорилъ еще тутъ влюбленный поэтъ нашъ, и сколько бы простоялъ опъ тутъ, хотя черезъ пъсколько минутъ огонекъ былъ потушенъ и не свътился сквозъ занавъску изъ окна Гепріэттина жилища! Но думы и восторги Вильгельма перервалъ хриповатый голосъ ночнаго сторожа: »Спите, граждане, спите, да поможетъ вамъ Богъ; одиннадцать било; спите, граждане, спите, да поможетъ вамъ Богъ!«

На голосъ этотъ отозвалось изъ ближняго двора стучанье дворника въ доску, и изъ другаго двора потянулось протяжное завыванье собаки, какъ будто говоря: «Только собаки не снятъ такъ поздно, а добрые люди всъ давно улеглись. — Впрочемъ, нъсколько каретъ, встръченныхъ по дорогъ Вильгельмомъ, показали, что собака ошибалась. Не уже ли въ этихъ запоздалыхъ каретахъ сидъли только недобрые? Впрочемъ, Вильгельмъ не встрътилъ уже ни одного прохожаго. И какъ радовался онъ, поэти-

чески прогуливаясь по опустълымъ улицамъ города, съ любовыо и съ мечтами о своей трагедіи, о славъ, о счастіи, съ думой о Гепріэттъ. Онъ изумился, узнавъ, какъ поздно было, когда стучался опъ у дверей дома г-на Штуля, и нашелъ ихъ кръпко запертыми; опъ удивился и тому, что такъ скоро дошелъ съ одного конца города на другой.

»Почтенный господинъ изволилъ запоздаться, сердито говорилъ дворникъ, отворяя двери и впуская Вильгельма. »Почтенный господинъ знасть, что господинъ Штуль не любитъ, если жильцы его не бываютъ дома въ надлежащее время.«

— Время мечта! — весело отвъчалъ ему Вильгельмъ, ощупью пробираясь на свою лъстницу.

»Время мечта? « — Ворчалъ дворникъ, запирая дверь — »да, мечта! Die Zeiten sind jetzt schwer. Почтенный господниъ, кажется, немного на весель... Этого прежде съ нимъ не бывало. Развъ онъ не знаетъ, что господниъ Штуль не любитъ, ссли жильцы его не бываютъ дома въ надлежащее время? «

ГЛАВА П.

the state of the s

Мы знакомы съ обитателями Ней - Кирхенскаго и Алтъ - Кирхенскаго предмъстьевъ того обширнаго города, гдъ жилъ Вильгельмъ — не герой, потому, что въ наше время не любятъ героевъ, даже и въ романахъ, но — одно изъ главныхъ лицъ нашего разсказа. Теперь, какъ топографитески начали мы разсказъ нашъ, такъ этнографитески поведемъ его далъс.

Между двумя означенными предмъстьями находился настоящій городъ (въдь имя его знать вамъ не нужно)? — великольппая княжеская резиденція, гдъ были вытянуты широкія, правильныя улицы, съ огромными красивыми домами, магазины, лавки, бульвары, скверы, дворецъ владътельнаго князя, палаты всльможъ его. Тутъ, невдалекъ отъ дворца; возвышалось

особенно огромное зданіе — театръ. Еще отецъ и дъдъ владътельнаго князя страстно любыли драматическое искусство; содержали оперу, Французскую труппу, не жальли денегъ на оркестръ, декораціи, костюмы. Любимицею дъда была какая-то Итальянская пъвица, а отца — Французская актриса, которую завистливая Клеронъ успъла прогнать съ Парижской сцены за красивое личико. Эта соперница Клеронъ промотала милльоны, и, что было всего лучше, уговорила стараго князя выстроить великольпный театръ. Ничего не жальли на постройку, и посль того половина суммы, употреблявшейся на княжескую охоту, обращена была на наемъ Французскихъ актеровъ и актрисъ. Любимица князя убъдила его, что лучше тратить деньги на излидныя искусства, нежели на истребление невинныхъ зайцовъ и оленей. Князь согласился; вельлъ распродать свой звъринецъ, перебить лишнихъ собакъ, а егерей и егермейстеровъ переименоваль въ оберъкапельдинеровъ, роль-мейстеровъ, сценъ-мейстеровъ; вмъсто собакъ, страстно полюбилъ онъ актеровъ, и вмъсть съ тъмъ получилъ лестное название покровителя изящных искусство Вольтеръ написалъ къ нему письмо, увъряя,

что » если бы не старость удерживала его въ пустынъ Фернейской, онъ давно бы пріъхаль преклониться предъ свътиломъ просвъщенной Германіи, который превосходить вкусомъ проклятыхъ Вельховъ.«

Такимъ образомъ, почти съ незапамятныхъ времень, драматическое искусство и театръ сдълались славою княжества N. N. и столицы его, гдъ жилъ Вильгельмъ. Когда съ одной стороны, событія во Франціи послъ Клеронъ и Вольтера, съ другой появление Германской литературы и Нъмецкой драмы въ XVIII-мъ въкв, породили наконецъ Итемсикій театръ, князь забель Нъмецкую труппу. Она особенно славилась во всей Германіи; играла оперы, трагедін, комедін; самъ Иффландъ нъсколько разъ прівежаль по желанію кпязя, и увіряль его, что княжескій его театръ прекрасенъ, а актеры не уступять ни Берлинскимъ, ни Вънскимъ, ни Веймарскимъ. Старый князь умеръ. Его наслъдникъ не зналъ, что дълать съ театромъ, когда главный его финанцъ-ратъ представиль, сколь недешево обходится ему слава имъть прекрасный театръ. Къ тому же молодой князь любиль свою жену, и не любиль особенно ни одной актрисы. Долго думали въ

княжескомъ совъть, что дълать? - Первый министръ князя, баронъ фонъ Калькопфъ, принцъ фонь-Думъ-Тринкъ-Вассеръ, видпо привыкшій въ театру при старомъ князъ, возвыенлъ наконецъ свой голосъ, и доказалъ ясно, что для чести и славы Его Свътлости театръ необходимъ; что онъ есть училище правственности, и что гораздо полезнъе поддерживать театръ, нежели какое нибудь схоластическое заведеніе, тратя деньги на содержание дюжины какихъ нибудь старыхъ педанговъ, которые издаютъ комментаріи на Аннія Флора и Светонія. Всъ согласились съ министромъ, хотя улыбались потомъ по уголкамъ главной причинъ, заставлявшей его столь горячо заступаться за училище правственности: молодая, прелестная актриса, мамзель Элеонора, какъ называли ее, пользовалась особенного милостію стараго барона Калькопфа принца фонъ-Думъ-Тринкъ-Вассера. Но соединяя любовь къ Изящнымъ Искусствамъ съ глубокимъ знанісмъ Политической Экономіи, баронъ доказаль на другой день въ совъть князя, что славу Покровителя Искусства можно соединить съ особенною государственною бережливостью. Онъ предложиль: отдать придворный театръ въ содержание частнаго производителя, увъряя, что театръ пойдетъ не хуже, соблюдено будетъ правило Политической Экономіи о свободъ ремеслъ и занятій, и притомъ честъ Покровителя Искусствъ не будетъ стоить князю ни одного талера. Всъ одобрили планъ барона Калькопфа; князь избралъ его вице-суперъ-директоромъ театра, и отдалъ все дъло на его ръшеніе.

Въ самомъ дълъ, планъ барона оказался превосходнымъ. Ловкій режиссёръ придворнаго театра взялся содержать всёхъ актеровъ и актрисъ, поддерживать зданіе театра, и наполнять репертуаръ лучшими пьесами, предоставляя себъ только сборъ съ театра, и изъ него взнося еще въ княжескую казну по однолу проценту. За то, по докладу барона, цъна на всъ мъста въ театръ была удвоена. Не смотря на прибавку, всв почти ложи бель - этажа, множество креселъ и мъстъ были немедленно абонированы знатнъйшими людьми: баронъ сказалъ имъ, что такъ надобно сдълать, открылъ у себя подписку, и — едва доставало билетовъ! Примъ-. ру знати следовали чиновники; имъ последовали жители столицы. Къ изумленію людей, неодобрявшихъ новаго распоряженія, театръ быль всегда полонъ, и содержатель театра не могъ

даже удовлетворять требованіямь, когда въ театръ являлся самъ баронъ Калькопоъ. А онъ являлся по три раза въ недълю: такъ любилъ онъ драматическое искусство! Жалованья всъ были увеличены; освъщение, оркестръ, костюмы, декораціи являлись лучше прежняго. Особливо отличалась на сценъ мамзель Элеонора - вся въ брилльантахъ, въ бархать, золоть, серебръ. Опытный знатокъ драматическаго искусства, старый министръ - можеть быть, и по должности, какъ вице-суперъ-директоръ театра — не спускаль зрительной трубки своей со сцены, и не могъ скрывать своего восторга при игръ Элеоноры. Слъдуя его примъру, зрители также были въ восторгв, и ствны театра дрожали отъ рукоплесканій при ел появленіи. Самъ князь неръдко посъщалъ театръ, радуясь, что это училище нравственности ничего ему не стоить, а между тымь веселить всыхь его подданныхъ, и такъ же, какъ отцу его, снискиваетъ ему славу Покровителя Искусствъ. — Представьте: не счастливо ли привелось бъдному Вильгельму попасть съ своими поэтическими мечтами и созданіями именно въ такой городъ, гдъ страсть къ театру и драмъ укръпилась уже тремя покольніями?

Ловкій содержатель, или, какъ называли его, директорг театра (потому что онъ считался въ княжеской службъ) скоро разбогатълъ отъ своего предпріятія. Онъ занималь прекрасный домъ подлъ самаго тсатра, жилъ какъ знатный вельможа, и его завтраки и вечера, на которые собирались вмъстъ знатнъйшіе люди и богачи столицы, вмьсть съ знаменитыми писателями и артистами и артистками, далеко славились своего роскошью и своимъ изяществомъ. Знатные путешественники и путешествующіе артисты, артистки, пъвцы, пъвицы, музыканты, бродящіе Англійскіе лорды и путешествующіе Парижскіе маркизы клялись, что въ самомъ Парижъ не находили они ни одного общества столь веселаго и пріятнаго, какое находять въ столицъ небольшаго Нъмецкаго князя, у его директора театра,

Однажды утромъ, г-нъ директоръ вельль отказывать всьмъ докучнымъ посьтителямъ: у него собрался въ это время его литературный комитетъ; наступила осень; надобно было окончательно утсердить репертуаръ на всю зиму. Комитетъ составлялся изъ полудюжины литераторовъ. Извъстно, что Музи и Вакхъ не живутъ другъ безъ друга, и что они никуда не торъ вельль прежде всего подать богатый завтракъ. Литераторы съъли завтракъ; выпили пъсколько бутылокъ вина; шампанское дополняло такія предварительныя распоряженія, и заманчиво пънилось въ бокалахъ, стаканахъ и головахъ.

Вино веселить сердце человька — извъстнал истина. Кромъ литераторовъ, туть были еще: первая скрыпка, капельмейстеръ, первый трагическій актеръ и первый буффъ театра. Шумъ и безпорядокъ оживляли собраніе. Всъ сидъли еще за столомъ, но салфетки были уже брошены на столь, или валялись подъ ногами гостей. Одинъ изъ литераторовъ громко спорилъ, доказывая, что пьеса его, освистанная прошлою зимою, была превосходна; другой чокался съ директоромъ за здоровье его маленькой Фаншетты; третій окуриваль облаками дыма изъ янтарнаго чубука свое шампанское, пока трагическій актеръ шумьлъ съ двумя литераторами о превосходстве новой Парижской мелодрамы: Чортова тетушка, а капельмейстерь, за фортопізнами, съ сигарою въ зубахъ, сочиняль музыку на какой - то злой куплеть. Куплеть этоть подсказываль ему молодой стихотворець, стоя за его стуломъ, и краснъя отъ шампанскаго и отъ поэтическаго восторга. Наконецъ, буффъ запълъ:

O Chambertin! ô Romanée!

Avec l'aurore d'un beau jour,

L'illusion chez vous est née

De l'esperance et de l'amour *)!

И всъ пристали къ нему хоромъ, громко повторяя принтевъ, при звукахъ фортопіано:

J'espère

Que le vin opère:

Oui, tout est bien, même en prison:
Le vin m'a rendu la raison **).

- За здоровье Беранже! закричаль директоръ. — Еще бутылку! ей! вина!
 - »За здоровье поэтовъ другую!«
- То есть за здоровье дураковъ, которые почитаютъ себя умными?
- »Браво! Нашъ меценатъ острить! Пустъ поэты будутъ дураки —

^{*)} О Шамбертенъ, о Романе! съ зарею прекраснаго дия, рождено вами обольщение любви и надежды!

Вижу: все благо, даже и въ тюрьмъ вино возвратило миъ мой разумъ!

Qui découvrit un nouveau monde?
Un fou qu'on raillait en tout lieu *)...

— Но, господа, къ дълу, къ дълу! Мы всъ скоро сдълаемся поэтами, если опорожнимъ еще одну бутылку — сказалъ директоръ. — Убрать все со стола!

»Кромъ бутылокъ...

— Мы замънимъ ихъ другими. Чортъ ли въ пустой бутылкъ? Она хуже старой актрисы, хуже скромной дъвчонки....

»Браво, браво!

 Всъ по мъстамъ, господа — пора къ дълу! — Вина, трубокъ, миндалю, сыру!

Въ безпорядкъ придвинулись всъ собесъдники къ столу. Очистивъ мъсто для локтей и рукъ, и давъ знакъ подлить въ бокалы, директоръ началъ:

— Рашимъ все, о чамъ мы говорили прежде. И такъ: ваша пьеса будетъ играна первая, г-нъ Вейссе?

»Да, только съ моимъ водевилемъ! « вскричалъ другой собесъдникъ.

on saying the part of the first

^{*)} А кто открыль вамь новый светь?

Дуракь, осмъянный повсюду!

— А вы, г-нь Лупниць, вставите въ него, что л замьтиль — прибавиль буффь. — Куплеть на мужей необходимь!

»Это такъ истерто!«

— Да, вамъ что за дело, если только зрители хлопаютъ? Смешной человекъ!

» Станетъ ли поэтъ угождать райку! « гордо воскликнулъ водевилистъ.

— Но я говорю вамъ — закричалъ трагическій актеръ, споривній съ своимъ сосъдомъ — что у меня нътъ ни одной новой роли, гдъ могъ бы я выказать свои дарованія и свой новый прелестный костюмъ!

Ну, какъ же? А драма моя — переводъ Скрибовой, разумъется: Чорть, палать и удавленнить? Какова для тебя роля палача?

— Согласенъ, порядочная; но принимаетъ ли ее г-нъ дирскторъ? Спросите у него ...

Директоръ казалел въ замъщательствъ. »Право, я не знаю еще«... пробормоталъ онъ — » я завтра скажу вамъ свое мнъне окончательно....

Всв захохотали.

»Смъйтесь, господа, но что же мнъ дълать? Воть, я по неволь приняль этоть мерзкій переводь Щимбеллина, оть того, что ей вздума-

лось, будто она будетъ прелестна въ роль M.мо-

— Послушайте, любезный директоръ! Своевольство этой негодной дъвчонки становится несносно! — сердито вскричаль одинь изъ поэтовъ, стуча кулакомъ объ столъ.

»Объ этомъ уже говорить нъчего, мой милый поэтъ. Въдь вы знаете, что перемънить невозможно!

- Чортъ возьми стариковъ, влюбленныхъ въ молодыхъ дъвчонокъ!
- Согласенъ. Но, тише, господа! Полно-те пъть! Право, ничего не слышно.

»А если я не соглашусь взять роль Цимбеллина, господинъ директоръ? « угрюмо спросилъ его трагикъ.

— Ну, мы отдадимъ ес нашему Маусу — отвъчалъ директоръ хладнокровно. — Публика и безъ васъ до сыта нахлопается, если только мамзель Элеоноръ будеть это утодно.

»Маусу! Боже! — Но, господа, не уже ли никто и никогда не вразумить ее, что Богь не создаль ее трагическою актрисою? « — сказаль одинь изъ собесъдниковъ, стараясь разсуждать руками логически. »Если бы, напримъръ, я быль увъренъ, что я не трагическій поэть, то...

- Все таки взялись бы вы передълывать этого нельпаго фритеіофа, или, какъ бишь...
- » Гаконг Ярля? Да, господа, это чудная пьеса!
 - Что въ ней чуднаго?
 - »Не уже ли ваша Парижская бойня лучте?«
- На понятія, М. Г., понятія о драматическомъ искусствъ...

Туть раздались голоса въ смѣшенномъ, шумѣ со всѣхъ сторопъ:

— »Трагедін пѣтъ уже болье! « — Вздоръ! А Шекспиръ, а Кальдеропъ? — »Ахъ! какой вздоръ! « — Напротивъ, теорія мирится только въ наше кремя съ практикою. — »Позвольте мнъ сказать: я утверждаю, что это противъ всъхъ правилъ перспективы. — Что за пельпость! « — Но увъряю васъ, что Ансело — »Многоммери доказалъ возможность листерій въ наше время « . . .

Таковы были смещенныя слова, вихремъ летевшія со всехъ сторонъ, и къ пимъ присоединялись еще хохотъ и пеніс. Директоръ спокойно пиль свой бокалт, ожидая, пока пройдсть этотъ девятый валъ поэтическихъ и художническихъ споровъ. Опъ зналъ, что наконецъ все согласятся между собою и съ нимъ, когда уже

не въ состояни будутъ спорить. Опъ имълъ удивительную способность: не пьянъть, хотя бы у всъхъ его собесъдниковъ кружились головы. Теперь поглядывалъ онъ на всъхъ собесъдниковъ своими рысьими глазами, и посмъивался. — Вдругъ служитель подошелъ къ нему, улыбаясь.

— Что ты? — спросиль его директорь въ полголоса, облокотясь локтями на столь, и продолжая прихлебывать свой бокаль.

»Тотъ стихотворецъ, что приходилъ къ вамъ два раза, и присымалъ письмо, опять пришелъ.

 Скажи, что мив пъкогда — отвъчалъ директоръ, не перемъняя своего положенія.

Слуга остановился, и не шелъ.

- Что такое еще?
- »Онъ слышалъ здъсь голоса... Двери были нечаянно отперты; опъ теперь въ залъ не льзя было не пустить...
 - Это отчего? Дуракъ!
- »Онъ такъ смъло вощелъ его сердитый видъ, слова...
- Пошель, скажи ему еще сердитье и смълъе, что я дома, по занять важными дълами. Какъ онъ могъ слышать голоса, болванъ?
 - » Насъ-усльпиать въ десятой комиать, « ска-

залъ одинъ изъ литераторовъ, громко смълсь. » И для чего мы будемъ скрываться? Вздоръ! Да здравствуютъ Музы и Вакхъ! Gaudeamus igitur... Да, что у васъ тамъ? « продолжалъ съ важностно любимецъ Музъ.

Директоръ не быль въ это время расположенъ сердиться. Смъясь, сказаль онъ, что какой-то поэто навязывается къ нему на шею съ траеедіею; что онъ, годъ тому, присылаль уже къ нему одну трагедію, а теперь состряпаль другую; приносиль ее; не быль принять; прислаль письмо; приходиль еще, и теперь еще разъ явился.

— Трагедія? — воскликнуль трагическій актерь. — Какъ! Что такое? Что за трагедія? Когда была она прислана?

»Вздоръ, mon cher! Помнишь толстую тетрадь: Pізнзи, которую мы съ тобою бросили не читавши?

— А, *Різнзи!* — проговориль актерь, отворачиваясь. — Что за сюжеть! Богь знаеть что за глупое имя! Кто знаеть этого Різнзи! Еще бы назвать тероя трагедін Конфуціємь!...

» Ахъ! невъжда! Кто же не знаетъ великаго Pi3333445454545454555566

кликнулъ литераторъ. »А нынъшній предмстъ новаго поэта?

— Арминій — отвъчаль директоръ, усмъхаясь. — Да это пустяки, господа, о которыхъ не стоитъ труда говорить.

»Какъ: не стоитъ труда говорить? *Різнзи*, Арминій — великія имена! Это какой-то пъвецъ героевъ дикой независимости!«

Онъ захохоталъ во все горло. — Господа! сюда, сюда: клянусь моимъ последнимъ, водевилемъ, дело важное! Явился новый поэтъ; пишетъ по трагедіи въ месяцъ; славитъ Ріэнзи и Арминія. И нашъ директоръ отвергаетъ новаго генія, не хочетъ слышать объ немъ, бросаетъ подъ столъ его Ріэнзи! Господа! честъ Феба и Муэт оскорблена: Поэзія стоитъ въ передней и ее не пускаютъ сюда, въ святилище Музъ и Грацій, когда она, голодная, слышитъ звонъ бокаловъ и нашу застольную пъсню. Я протестую!

- Полно шалить, повъса!

»Протестую! « вскричаль водевилисть громче, вскакивая со стула и переворачивая его спинкою къ столу. »Воть моя трибуна! «

— Шалите....

[»] Hear, hear! « раздалось между собесъдниками.

— Дъло на голоса: въ передней стоитъ поэтъ съ огромною трагедіею. Директоръ нашъ долженъ призвать его немедленно. Кто согласенъ, подыми руку!

Со смъхомъ, всъ подпяли руки.

- » Браво, друзья Музъ и Поэзін, браво! Г-нъ директоръ! вы обязаны повиноваться!
- Пожалуй отвъчанъ опъ да, что вамъ за охота! Только не продолжайте долго шутки, и прошу васъ не тратить моего хорошаго випа голодному сыну Мельномены. Попроси къ намъ этого стихотворца.

Слуга вышель. — »Въ порядокъ, à l'ordre, Messieurs!« закричаль трагическій актеръ.

— Не встръгить ли его маршемъ — спросилъ капельмейстеръ — маршемъ изъ Валленштейна: Гремитъ труба! Развипы знамена на бран-

Всъ захохотали, поправили свой нарядъ, чинно усълись къ столу, и взаимно уговаривались не смъяться.

Скромно, тихо и благородно вошелъ Вильгельмъ въ компату: это опъ стоялъ въ передней директора. Вильгельмъ одътъ былъ въ свой праздничный черный фракъ, старомоднаго покроя, но чистый и опрятный. Подъ рукою его видна была огромная тетрадь. Въ замѣннательствѣ посмотрѣлъ бѣлный пришелецъ на веселое товарищество, на бутылки, десертъ, сигарки, трубки, стаканы, бокалы, разставленные и разбросанные по столу. Вообще пепривыкшій къ обществу, педумавшій попасть въ разгульную бесѣду директора и друзей его, онъ казался смущенъ, пеловокъ; его блѣдное лицо покрылось румянцемъ.

»Извините, М. Г., « началь директоръ, небрежно вставая съ своего мъста, « извините, что я принимаю васъ въ обществъ моихъ друзей и товарищей... Стулъ, г-ну.... Позвольте спросить ваше имя...я, право, забылъ....

— Рейхенбахъ. Мое имя такъ пензвъстно, что вы имъли полное право забыть его, г-нъ директоръ.

»Рейхенбахъ? « сказалъ одинъ изъ собесъдниковъ. — »Боже мой! Да не ваше ли было прелестное стихотвореніе: *Бропенъ*, въ альманахъ какомъ бишь....

— Въ *Ураніи* — отвъчаль Вильгельмъ, смъшиваясь сще болье — папечаталь я эгу бездълку.

»Позвольте намъ всъмъ рекомендовать себл вамъ, г-нъ Рейхенбахъ. Г-нъ директоръ! это ваше дъло. — Да, позвольте вамъ рекомендовать моихъ друзей и товарищей, г-нъ Рейхенбахъ. Вотъ г-нъ Вейссе, сочнитель оперы: Чортовъ Мостъ. — Вотъ г-нъ Шперлингъ, нашъ Скрибъ, и г-нъ Лупницъ, нашъ Мелевилль и Ансело. — Вотъ нашъ Тальма. — Вотъ нашъ Россини....

Всъ шумно встали, окружили Вильгельма, жали ему руку, просили его удостоить ихъ знакомствомъ. Онъ не зналъ: дурачатъ ли его, или не шутя хотятъ обласкать.

— Музы были сестры и поэты должны быть братья! — вскричаль Шперлингъ — обнимемся, г-нь Рейхенбахъ, и не прикажете ли заздравный кубокъ? — Обнимая Вильгельма, онт вытолкнулъ изъ-подъ руки его свертокъ бумагъ. Другіе бросились поднимать, и съ усиліемъ положили свертокъ на столъ. Буффъ, сидя на концъ стола, казался испуганнымъ, смотря на свертокъ. »Отъ него такъ и пахнетъ могильною сыростью: видно, что герой заплъсневълъ въ въкахъ«.... шенталъ онъ. Едва удерживались отъ смъха другіе, окружавшіе буффа.

» Извините, я не могу теперь пить вина «.... отвъчалъ Вильгельмъ.

 Развѣ вы еще не обѣдали? — насмѣшливо спросилъ Шперлингъ.

Вильгельмъ не отвъчалъ ему, и обратился къ директору. »Миъ хотълось бы поговорить съ вами, г-нъ директоръ, и извините, что я безпокою васъ въ вашей дружеской бесъдъ. « Кровь вступила въ лице Вильгельма. Онъ зналъ имена ничтожныхъ писакъ, окружавшихъ директора, кропателей водевилей, передълывателей драмъ, подрядчиковъ альманачныхъ. Изъ шентанья, взглядовъ, усмъщекъ, онъ поняль наконець, что его хотять дурачить; онъ замътиль удерживаемый смъхъ, слышалъ оскорбительныя полуслова, и понималь свое странное, жалкое положеніе. Но что было ему дълать? Изъявить негодованіе, вступиться за свое оскорбленіе? Но Арминій была его посладиля, единственнал надежда - одно и все, съ чъмъ соединялось его будущее, его счастіе, судьба Генріэтты его, участь матери. И притомъ, что же вышло бы изъ его негодованія? Надъ нимъ посміялись бы, его прогнали бы, когда и теперь его впустили изъ милости къ директору, два раза непринимавшему его, неотвъчавшему на письмо, которымъ Вильгельмъ спрашиваль объ участи трагедін своей: Ріэнзи, за годъ до того врсмени посланной въ дирекцію, предлагая притомъ новую свою трагедію. Онъ чувствоваль и сознаваль свое собственное достоинство; но что же слъдовало изъ этого сознанія? Только сильнъйшее чувство униженія. Вильгельмъ видъль себя бъднаго, презираемаго — сказать ли все? — полусытаео, передъ этими веселыми, красными, разгульными людьми, передъ насмѣшливымъ взоромъ директора, отъ котораго зависъла теперь вся его участь. Если отвергнуть Арминія — что дълать ему? Напечатать свое созданіе, передать его суду публики, ѣхать съ нимъ въ другой городъ? Но гдъ взять денегъ, и какъ оставить Генріэтту, и переживеть ли все это Вильгельмъ?

Мрачно показалось Вильгельму въ эти минуты его бытіе; душенъ былъ для него воздухъ въ этихъ свътлыхъ, прекрасно убранныхъ комнатахъ, среди шумнаго разгула литераторовъ и артистовъ, когда за пъсколько дней онъ такъ счастливъ, такъ доволенъ былъ съ своею мечтою, стоя на грязномъ тротгуаръ подлъ окошка Генріэттина жилища.... Слезы невольно навернулись на его глазахъ.

Какъ противоположны *мегта* и *существен*ность въ жизни человъка!

— О чемъ же угодно вамъ поговорить со мною, любезный поэтъ? — сказалъ директоръ. — Мо-

жете говорить при всъхъ; ваши дарованія не должны быть тайною....

»Одинъ взоръ г-на Рейхенбаха обпаружиль бы эту тайну, примолвиль Вейссе, допивая свой бокаль.

— Не знаю, что обнаруживаетъ вамъ взоръ мой — отвъчалъ Вильгельмъ, едва удерживая себя — но... Опъ опять обратился къ директору: — Я хотълъ предложить вамъ мою трагедію, м. г.

»Ее надобно прежде протитать. «Послъднее слово произнесъ директоръ протяжно. »Какъ вы думаете объ этомъ, мой милый Иффландъ?

— Я не имъю времени — отвъчалъ трагическій актеръ — вы сами знаете, что мой репертуаръ полонъ на цълый годъ. И притомъ, трагедіи нынь вовсе не въ ходу.

»И ловко ли будеть представлять *Арминія* въ наше время? Даже позволять ли? « прибавиль Шперлингь.

Горестно, но скрывая горесть свою, протянуль руку Вильгельмъ къ своему свертку.

— Куда же вы спышите, г-нъ Рейхенбахъ — посидите съ нами — побесъдуемъ о литературъ, о поэзіи....

_ » Извините, что вы не застали нашего завтрака.

Прошу васъ быть знакомымъ. Гдъ вы живете, г-нъ Рейхенбахъ?

— Я живу въ улицъ Черной Овцы — твердо произнесъ Вильгельмъ — въ домъ столяра Штуля. — Если принимать позоръ, то принимать его весь — подумалъ онъ, и прибавилъ : — Обстоятельства мон принуждаютъ меня довольствоваться такою бъдною квартирою.

»Въ бель-этажъ? « спросилъ Шперлингъ, прищуривая глаза.

- Нътъ! въ 4-мъ этажъ.
- »Полно, господа!« шепнулъ директоръ. »Что вамъ за охота продолжать такую глупую шутку?«
- Постойте, мы его разсердимъ; это будетъ уморительно — отвъчалъ ему тихо Шперлингъ.

»Онъ и безъ того уже сердится, и если бы....

Слова директора перервалъ слуга, поспъшно вошедшій въ комнату. »Служитель г-жи Элеоноры, « сказалъ онъ.

Гдъ, гдъ? — заботливо спросилъ директоръ, вставая съ мъста.

»Въ передней, и говорить, что сама г-жа Элеонора, возвращаясь съ прогулки, идеть въ слъдъ за нимъ, и непремънно хочеть съ вами видъться.

[—] Ну, такъ — я это предчувствовалъ — бу-

деть буря! — вскричаль директорь. — Бъги скорье, проси, отвори дверь въ залу — ступай, спъци!

Служитель побъжаль, и въ растворенную дверь увидъли мелькнувшаго служителя Элеоноры, въ богатой ливреъ.

Наскоро поправился директоръ и побъжаль въ боковую комнату. »На помощь, господа, на помощь нашему меценату!« сказалъ Вейссе, оправляясь передъ зеркаломъ. »Она не придетъ даромъ; выручимъ нашего Плутуса - Фебуса!« Всъ вставали изъ-за стола, спъшили къ зеркаламъ, бросали трубки, поправляли волосы и наряды. Между тъмъ въ ближней комнатъ былъ уже слышенъ громкій разговоръ: женскимъ голосомъ, сердито, говорилъ кто-то множество упрековъ; директоръ учтиво въ чемъ-то оправдывался. Всъ собесъдники, кромъ капельмейстера, ушли къ разговаривавшимъ.

Смъшно стало теперь Вильгельму, и онъ забыль свое горе. Онъ оставался въ опустълой комнатъ, среди безпорядка бутылокъ, стакановъ, трубокъ, стульевъ. Его *Арминій* лежаль тутъ же на столъ. Вильгельмъ слышалъ, какъ горделивость директора и важность его собесъдниковъ уничтожалась между тъмъ отъ прихотей горделивой актрисы, говорившей повелительно, какъ будто она была на сценъ, и представляла какую нибудь театральную королеву.

— Чего жъ ждать мив? — думалъ Вильгельмъ. — Остаться ли слушать эти сплетни закулисныя, и имью ли я на это право? Но директоръ не сказалъ мив ничего ръшительнато, и мей уходъ будетъ ръшеніемъ судьбы моего Арминія, и — моей! — Тяжело вздохнулъ Вильгельмъ. — Святая, великая Поэзія, ты безсмертное искусство, свътлое именами Омировъ и Шекспировъ! до чего ты упижено...

»Вы пишете стихи, какъ я замъчаю? « ктото спросилъ Вильгельма. Онъ оборотился и увидълъ капельмейстера. — »Простите нескромный вопросъ, « важно продолжалъ капельмейстерь, »но мы, кажется, можемъ быть полезны другъ другу, м. г. — Я могу сдълать для васъ многое у г-на директора, и, если бы потребовалось, то и у самого г-на вице - суперъ - директора. Вопреки злымъ критикамъ, обругавшимъ мою послъднюю оперу, я рожденъ возстановить вкусъ къ истинной музыкъ въ Германіи. Этотъ воздушный Россини, этотъ пачкунъ Майербергъ — вздоръ, сударь, вздоръ! Міръ забылъ объ истинной оперъ, міръ оглу-

нъль... Вы слышали мой послъдній водевиль: Женскій тептикъ! Воть свътлая заря того, что намъ надобно!

— На аффинь было однакожь сказано, что музыка набрана изг разных авторов — улыбаясь, отвъчаль Вильгельмъ.

» Что же дълать съ дураками, если они видять то, чего нътъ, и не понимаютъ, что я возвысилъ, облагородилъ музыку этой дрящ, Оберовъ, Майерберговъ, Герольдовъ, моими заимствованіями. Набрана!... Завосвана, надобно-бъ было сказать...! Но, словомъ: мит надобенъ текстъ для новой оперы, текстъ дъявольскій, съ привидъніями, съ духами, съ чертями — сверхъестественное необходимо въ оперъ. — Если бы вы не задорожились... Этотъ дуракъ Шперлингъ проситъ съ меня, подумайте, 100 талеровъ!

О святая Поэзія! гдъ я? На рынкъ, гдъ ториуютъ тобою! — думалъ Вильгельмъ.

Онъ молчаль, котя капельмейстерь продолжаль ему свою болтовню объ оперв, о музыкв, о планв. Разговорь въ ближней комнатъ невольно увлекаль все внимание Вильгельма; тамъ говорили такъ громко, что онъ не могъ проронить ни одного слова.

— Вы слишкомъ зазнались, господинъ директоръ театра; пора папомнить вамъ, что благородные артисты не рабы ваши; что есть люди, которые защитять ихъ отъ вашихъ своевольствъ и капризовъ!

»Но, разсудите, сударыня, какъ же могу я удалить дъвицу Жеоржетту и гдъ найду я переводчика, который бы такъ скоро могъ перевесть для васъ эту трагедио? И, повърьте миъ, что она не произведетъ эффекта на сценъ....

— Какъ же вы смъли прислать ко мнъ вашъ отвратительный фарсъ?

»Но онъ выдержаль въ Парижъ сто репрезентанцій.

— Хоть бы тысячу! Какъ вы смъли, спрашиваю я васъ?

»Но вы меня рѣжете, г-жа Элеонора: это лучшая моя роля изъ новыхъ пьесъ — говориль трагическій актеръ.

— И что же мит теперь прикажете дълать съ моимъ *Щимбелиноли*, который совстмъ готовъ? — возражалъ директоръ.

»Сожгите его, бросьте его! Гадкій переводь! Я не хочу слышать...

— Но деньги за него...

» Какъ смъете вы говорить мнъ о вашихъ

деньгахъ? Развъ я должна входить въ ваши мелочные расчеты и спекуляціи? — Я отказываюсь отъ васъ, м. г. и мы увидимъ, мы увидимъ! А вы, г-нъ Вейссе, за вашу послъднюю глупую пьесу, можете навсегда раскланяться съ репергуаромъ: я говорю вамъ это — слышите ли вы — я говорю!

— Не угодно ли будетъ вамъ, сударыня, взглянуть на произведеніе одного молодаго поэта — возвысиль въ это время голосъ свой Буффъ, произнося слова свои съ комическою важностію. — О, върно, вы увидите въ этой новой звъздъ нашего Парнасса нъчто вдохновительное, высокое, дышущее поэзіею Шекспировъ, Гёте и Шиллеровъ!

» Убирайтесь прочь съ вашею нельпою шуткою, господинъ Пумперникель!

— Я совсьмъ не шучу, сударыня — продолжалъ Буффъ, съ неизмънлемою важностью. — Только - что сейчасъ явился этотъ новый геній, этотъ Шиллеръ нашихъ временъ, къ г-ну директору. Онъ, въроятно, еще здъсь...

Дверь вдругъ растворилась настежъ. Этого не ожидалъ Вильгельмъ. Онъ увидъль все собраніе въ другой комнатъ, директора, гостежего, и Элеонору въ первый разъ въ комнатъ, не

въ видъ театральной королевы, какъ случалось ему видать ее прежде.

Элеопора играла довольно ръдко, хотя всегда занимала первыл роли въ трагедіяхъ и драмахъ. Всъ говорили, что у нея вовсе не замътно было дарованія трагической актрисы, какою упрямо и прихотливо почитала она себя. Говорили еще, что Элеонора красавица, но Вильгельмъ не могъ разсмотръть этого изъ отдаленнаго, возвышеннаго райка, и притомъ, посъщая театръ весьма нечасто, по своимъ финансовымъ обстоятельствамъ, онъ, какъ юноша и поэть, увлекался эрълищемъ вообще, а не личиками артистокъ. Скажемъ ли еще: бъдный Вильгельмъ, сочинитель Аттилы и Тамерлана, безжалостно сожженныхъ имъ, и Ріэнзи, брошеннаго дирекцією, никогда не ходиль въ театръ, если давали трагедію. Трагедія раздирала сердце его оскорбительными мечтами и воспоминаніями, обманутыми надеждами. И притомъ настоящая трагедія почти согнана была со сцены кровавыми передълками Французскихъ мелодрамъ, а Вильгельмъ былъ романтикъ, но совсъмъ не романтикъ въ родъ Ансело Пиксерекура съ товарищами.

Словомъ: взглядъ на Элеонору имълъ для

Вильгельма всю цѣпу новости, а мысль, что его шутовски хотятъ представить этой извѣстной любимицѣ перваго министра, взбѣсила и безъ того раздраженное его самолюбіе.

— Они хотять унизить меня — думаль онь, задыхаясь отъ досады — но я унижу ихъ моею благородною увъренностью въ томъ, что я поэтт, и чувствую свое назначение быты поэтомъ!

»Сдълайте одолженіс, пожалуйте сюда, т-нъ Рейхенбахъ« — сказалъ ему Буффъ, низко кланялсь. — Директоръ, въ величайшемъ замъщательствъ, стоялъ у столика, сложа руки, и не препятствовалъ шуткъ своего Пумперникеля.

Твердо, съ лицомъ, которое оживило негодованіе, съ рѣшительнымъ намъреніемъ уничтожить глупую насмѣшливость этихъ Пигмеевъ своею благородною гордостью, Вильгельмъ взилъ своего Арлинія, и вошель въ комнату, гдъ находились директоръ, Элеонора, собесъдники ихъ.

— Не знаю, м. г. — сказалъ онъ директору — не знаю, съ вашего ли дозволенія призванъ я сюда; но вамъ не угодно было сказать мнѣ ничего ръшительнаго, и я почелъ неучтивостью уйдти не получивъ вашего послъдняго отвъта.

Странное измънение произошло въ это время въ выражении лица и словахъ Элеоноры. Директоръ не успълъ еще ничего отвъчать Вильгельму, какъ она вдругъ сама вмъшалась въ ръчь, и сказала, обращаясь къ директору: »А какой отвътъ готовили вы, г-нъ директоръ? «

Вильгельмъ изумился, слыша этотъ голосъ: онъ былъ тихій, кроткій, дрожащій. »Не уже ли это говорить та дерзкая женщина, которую слышаль я за минуту передъ этимъ? « Онъ съ любопытствомъ обратилъ глаза на Элеонору, и видъ ея изумилъ Вильгельма еще болье, нежели изумило его неожиданное измѣненіе голоса Элеоноры.

Если бы кто хотълъ выразить всю вещественную красоту древней Гречанки, ожививъ ее всею Итальянскою пылкостью души, тому надобно - бъ было взять Элеонору въ образецъ. Не совсъмъ бълое, но прелестное, правильное лицо, съ пламенными Итальянскими глазами, съ щеками, горъвшими небомъ Италіи, съ черными волосами, падавшими въ густыхъ локонахъ изъ-подъ шляпки; ростъ не большой, но удивительная стройность; ножка, которой позавидовала бы любая изъ Англичанокъ; и при всемъ этомъ простой, но самой щегольской на-

рядъ, выбранный самымъ искуснымъ кокетствомъ, самымъ тонкимъ знаніемъ того, что идетъ къ лицу и можетъ нравиться; и выраженіе какого-то вдохновеннаго чувства во взорѣ, устремленномъ на Вильгельма, и молодость, цвътущая розами, и благородная, величественная осанка... Такова явилась Элеопора.

Съ изумленіемъ, забывъ все его окружавшее, смотрълъ на Элеонору Вильгельмъ, и готовъ былъ сказать ей: »Созданіе очаровательное! не уже ли ты Элеонора, ты любимица этого старика-министра, та безчувственная Клеопатра и колодная Текла, которую видаль я на сценть; та дерзкая женщина, которую слышаль я за минуту? Не обманывай меня: ты не та Элеонора; ты какая-то пламенная Поэзія, оживлявшая духъ пъвцовъ Востока и Италіи!«

Элеонора опустила глаза свои въ землю, какъ будто ей невыносимъ былъ устремленный на нее взглядъ Вильгельма.

Рысьи глаза директора быстро обратились на Вильгельма, перебъжали къ Элеоноръ, опять мелькнули на него и на нее; едва замътная улыбка появилась на его губахъ. Казалось, что онъ поняль гто-то, непонятное, можетъ быть,

ни Вильгельму, ни Элеоноръ, ни другимъ свидътелямъ.

— Не уже ли вы сомнъвались въ отвъть моемъ, сударыня? — отвъчалъ директоръ, безъ всякаго замъшатсльства, съ величайшею въжливостью. — Можетъ быть, никто не оцъняетъ такъ хорошо прекрасныхъ дарованій г-на Рейхенбаха, какъ оцъняю ихъ я. Къ сожальню, весьма недавно онъ удостоилъ меня своимъ личнымъ знакомствомъ, и я осмълнваюсь гордиться этимъ.

Теперь съ изумленіемъ оборотились взоры всъхъ, кромъ Элеоноры, на директора, съ изумленіемъ, потому что голосъ его совсъмъ не выражаль шутки, или насмъшки, но глубокое чувство почтительности и въжливаго уваженія. — » Безстыдный лжецъ и насмъшникъ! « готовъ былъ сказать ему Вильгельмъ. — Что ты: дурачишь насъ, или самъ ты сошелъ съ ума? — готовы были закричать другіе.

Дерзкій болье вськь, Шперлингь насмышливо обратился къ директору съ словами: »Кажется, вы не такъ говорили, еще недавно?«

— И пе уже ли вы не поняли мистификацій, какую приготовили мы вамъ съ г-мъ Рейхенбахомъ? Не уже ли вы не замътили, кто играль комическую роль въ нашей комедіи? Это предметь вамъ для водевиля, г-нъ Шперлингь! — Онъ дружески взялъ Бильгельма за руку, и представляя его Элеоноръ, сказалъ: »Рекомендую вамъ, сударыня, г-на Рейхенбаха. Я уже давно имълъ удовольствіе знать одно изъ его твореній; но мнъ пріятно познакомиться теперь съ его новымъ, прекраснымъ созданіемъ.

При этихъ словахъ директора, не просто изумление, но совершенно глупое удивление было на всъхъ лицахъ. Даже Буффъ смъщался и забылъ свою шутливость, а трагический актеръ походилъ на Жокрисса, а не на Гамлета.

Въ странномъ какомъ то замышательствъ молчала Элеонора, хотъла что-то говорить Вильгельму, и не могла; щеки ея алъли лихорадочнымъ жаромъ. »Г-нъ Рейхепбахъ...я рада«... Только эти слова, и то едва внятныя, могла она выговорить.

— Признаюсь, сударыня — продолжаль директорь, опять не показывая ни мальйшаго замышательства. — Вашь гиввы такъ смышаль меня, что я забыль о новомъ твореніи г-на Рейхенбаха, какъ будто нарочно созданномъ для вась, какъ будто поэть, создавая его, вдохновлялся вами!

Всѣ молчали. Вильгельмъ ничего не понималь въ этой перемѣнѣ обхожденія директора, и не имѣлъ силы ни возражать, ни уличить его въ безстыдной лжи, ни даже сказать что нибудь. Неожиданная встрѣча съ Элеонорою и этотъ, еще болѣе неожиданный поступокъ директора, привели его въ какое-то странное состояніе.

- Другимъ казалось въ это время, что они слишкомъ много выпили за завтракомъ и одуръли.
- Могу ли узнать: какое сочиненіе, г-нъ Рейхенбахъ, дарите вы нашей сценъ? спросила наконецъ Элеонора, задумчиво.

»Я написалъ трагедію: Арминій.

— Еще такъ рано — сказалъ директоръ, взглянувъ на часы. — Сударыня! позвольте мнъ попросить васъ състь на этомъ диванъ, сюда, къ столу — кстати, здъсъ и любезный нашъ Тальма (онъ пожалъ руку трагическому актёру), и г-да литераторы. Пумперникеля нашего можемъ мы уволить. Попросимъ г-на Рейхенбаха прочесть намъ хотя начало его Арлиийл.

»Я готова слушать, если только снисходительный поэть не затруднится исполнениемъ нашего общаго желанія.... Вильгельму показалось, что онъ вдругъ перенесенъ въ какой-то новый міръ. Онъ отвъчаль поклономъ. — Директоръ спъшиль уставить стулья, усадить слушателей; придвинулъ большія кресла къ столу для Вильгельма; снова просилъ Элеонору състь на диванъ. Съ волненіемъ сердца развязалъ Вильгельмъ свертокъ свой, не смълъ никуда взглянуть, и началъ читать.

Чтеніе! Мы читаемъ, или свое, или гужое. О чтенін тупсаво — ни слова; но кто не обвиняетъ поэговъ и прозаиковъ за то, что они слишкомъ любятъ читать свое? И въ самомъ дълъ, люди правы: какой писатель не надобраеть другимъ читаньемъ своихъ произведеній? И какой, самый осторожный литераторъ, особливо поэтъ, не попадется на самую грубую приманку, и не готовъ прочитать всякому свое созданіе? — Но, вините послъ сего самихъ себя, что вы не понимаете наслажденія: читать другимъ свои стихи и прозу. Вините женщину, что она никогда не откажется показать свои наряды; смъйтесь надъ богачемъ, что онъ никогда не пропустить случая поговорить, что онъ человъкъ не бидный; жалуйтесь на дъвушект, что онъ пе пройдуть мимо зеркала, не посмотръвшись въ него; браните отцовъ и матерей, что они всегда

ради похвастать передъ вами дарованіями своихъ дътей, и сто разъ готовы заставить какихъ нибудь мальчишекъ своихъ читать вамъ наизустъ басню Крылова, и каждый разъ у нихъ навертываются слезы на глазахъ....

Друзья мои! что не смъшно въ міръ? Но, да будетъ проклятъ насмъпливый языкъ, если онъ оскорбитъ добродушное, безвредное, невинное заблужденіе человъческое; если онъ осудить отцовъ и матерей за щегольство дътьми, красавицъ за глядънье въ зеркало, и — поэтовъ за чтеніе своихъ стиховъ!

Переселитесь въ душу отца и матери, въ душу красавицы, въ душу поэта: мив жаль васъ, если и тогда не простите вы всъмъ имъ добродушнаго ихъ заблуждения. . . .

Мечту любви, оживотворенную въ малюткъ, это возрождение отца въ дочери, въ сынъ — видьть ихъ, видьть, какъ они продолжаютъ наше бытие, какъ небесный даръ разума оживляетъ ихъ, и не радоваться, и не забывать при этомъ мелкихъ приличий, людскаго самолюбія, бояться быть слишивляє при наслаждении нашемъ Будемъ смъщны — пусть только дозволятъ намъ быть стастливыми!

И поэту ли не простить его чтеніл! Тайнал

дума его, усладительная мечта его, облеклись въ типинть его уединенія въ плънительныя формы и очаровательные звуки — и онъ не будеть всегда готовъ передать ихъ каждому, подълиться съ каждымъ своимъ наслажденіемъ? Онъ будетъ всматриваться въ хитрую улыбку вашу, будетъ замъчать зъвающій ротъ своего слушателя? Онъ угадаетъ, что вы забавляетесь надъ его самолюбіемъ, заставляя его читать вамъ свои стихи? Вы требуете невозможнаго!

Надъ чъмъ не смъллись люди? Что такое, самое святое душъ человъческой, не отравляли они ядомъ насмъшки? И знаете ли, что чъмъ выше предметъ, тъмъ легче надъ нимъ смъяться, и что только одинъ шагъ раздъллетъ великое отъ смъшнаео, по словамъ Наполеоновымъ?

Другъ дупии моей, поэтъ, чадо мечты и добродушія! читай мнъ свои стихи, читай, какъ дитя, не думая о насмъшкъ людей, и торжествуй, если ты своимъ добродушнымъ послушаніемъ уничтожаешь жалкое, бъдное намъреніе ихъ посмъяться надъ тобою!

Но какъ, однакожъ, допустить въ умномъ человъкъ такое незнание людей, что онъ не видитъ, когда они нагло дурачатъ его?

Не всякій человькъ поэть, а всякій поэть

человъкъ. Умъ принадлежитъ въ немъ человъку, а безуміе поэту. Вы берете его въ минуту сумасшествія; вы касаетесь именно той точки, на которой онъ помъщанъ.

Не только предметь свободнаго досуга и наслажденія составляль Арминій для Вильгельма ньть! съ Арминіеми соединялись у него вся жизнь, вся будущность, вся судьба всего, что было для него мило и драгоценно на свете. Арминій долженъ быль рышить для Вильгельма важный вопросъ: ошибся ли онъ, или нътъ, почитая поэзію своимъ назначеніемъ, пожертвовавъ ей всъмъ, претерпъвая для нея убійственную бъдность, гоненіе судьбы, упреки людей, соединяя съ нею всъ надежды свои? И вдругъ его Арминія хотять слушать, и кто же хочеть слушать? Тотъ, отъ кого зависить участь этого созданія, и женщина, взоръ которой изумилъ и очароваль Вильгельма! И вы хотите, чтобы онъ и послъ того расчитывалъ: не смъются ли надь нимъ, заставляя его оживить Арминія своимъ чтеніемъ? Чтобы онъ вспомниль, какъ недавно еще насмъхались надъ нимъ эти люди, готовые теперь внимательно слушать его? Чтобы онъ могъ замътить коварную улыбку какого нибудь Шперлинга, или гримасу Буффа, или скуку поставщика мелодрамъ Вейссе? — Вы всего этого требуете? Да, это невозможно! Я не хочу и говорить съ вами: вы не поэта. Вы не писали, вы инкогда не гитали своихъ стиховъ!

Все, что мы говоримъ, мелькнуло на одно мгновеніе въ душть Вильгельма. Но мысль: уничтожь ихъ своимъ вдохновеніемъ — стерла съ души его всъ мимолетныя сомиънія.

Тихо, робко, болзливо прочиталь Вильгельмъ первое явленіе своего Арминія, и взглянуль на директора и Элеонору: вниманіе изображалось на лицъ директора; какое-то забвение самой себя увидълъ Вильгельмъ на лицъ Элеоноры. Ея глаза сверкали, устремленные на поэта; ея щеки свытились вдохновеніемь. И этоть пожарь души, какъ электрическая сила, перещель въ душу Вильгельма. Всв безмолствовали. Онъ не видалъ сидъвшихъ по сторопамъ его и назади, Вейссе, Шперлинга, Лупница и ихъ товарищей. Вильгельмъ всегда читалъ порядочно, потому что всегда читаль просто, какъ внущало ему внутреннее его чувство. Но теперь онъ превзощелъ самого себя. »Далье!« промолвила Элеонора, когда кончилось первое дъйствіе. — Ради Бога, продолжайте! — воскликнулъ директоръ. — Вильгельмъ продолжалъ. И когда кончилось второе дъйствіе приходомъ Арминія въ станъ Римскій, когда онъ, забывая и отчизну и побъду, все отдаеть за Веледу свою, полоненную Римлянами, и вдохновенная Веледа отвергаеть его жертву — громкія рукоплесканія загремьли въ комнать; Элеонора закрыла глаза платкомъ; утомленный Вильгельмъ бросилъ тетрадь свою на столъ.

— Вы согласны, сударыня, принять ролю въ Палатв? — Я превзойду себя въ роль Арминія! — тихо сказаль въ это время трагическій актёръ Элеоноръ.

» Согласна, только играйте Арминія, « отвъчала она.

— Дъвица Жеоржетта останется на сценъ; вы возьмете роль Имогены; вамъ не надобно уже перевода той негодной трагедіи? — съ другой стороны тихонько говориль ей директоръ.

»Да, да — только возьмите Арминія « отвъчала она.

Казалось, что согласіе Элеоноры оживило трагическаго актёра. Громко, усердно хлопаль онь, и присоединяль свое: *браво!* къ голосамъ другихъ. Директоръ продолжалъ между тъмъ говорить Элеоноръ тихо: »Прошлогодий отчетъ мой.... Неудовольствіе Его Высокобаронскаго Высокопревосходительства... Если бы вамъ было угодно....

- Только возьмите Арминія!
- »Но если успъхъ на сценъ... поддержать... Его Высокопревосходительство....
- Надобно ли говорить вамъ о такомъ вздоръ? И голосъ директора, громче всъхъ, провозгласилъ: »браво!

Директоръ вскочилъ, обнялъ Вильгельма и съ восторгомъ говорилъ ему: »Вы отдадите мнъ вашего *Арминія*, вы отдадите его мнъ, г-нъ Рейхенбахъ?«

Вильгельмъ, молча, пожалъ ему руку. Какой поэтъ не дитя? — Вильгельмъ не понималъ теперь: какъ сначала показалось ему, будто этотъ человъкъ надъ нимъ смъялся, смъялся и надъ его Арминіелиг? Онъ оборотился къ другимъ, и первый Вейссе, съ поклонами, проговорилъ ему: »Поздравляю васъ г-нъ Рейхенбахъ, поздравляю и себя, что такъ нечаянно я былъ однимъ изъ первыхъ, слышавшихъ великое твореніе ваше!«

— И я! — воскликнулъ Шперлингъ.

»Да, ты все время продремалъ!« шепнулъ ему Буффъ.

Молчи, шутъ! — также тихо отвъчалъ
 Шпермингъ.

»Г-нъ Рейхенбахъ« — сказала Элеонора, молчавшая нъсколько минутъ — »въ первый разъ видъла я истинное вдохновеніе поэта: оно вдохновитъ и меня. Могу ли просить васъ: позволить мнъ взять вапцу рукопись? Васъ утомило бы чтеніе всей трагедін, вполнъ...

Вильгельмъ закраснълся, неловко поклонияся ей, осмълился взгляпуть на нее. Глаза Элеоноры, какъ два угля горящіе, были устремлены на него, и — онъ содрогнулся невольно! Ему казалось, что они, эти глаза, эти взоры, прожгли тъло его до души. Въ забытьи смотрълъ онъ на Элеонору, и ему мечталась она Веледою Германскихъ лъсовъ.

»И такъ — я беру вашу рукопись! « сказала Элеонора. Нъсколько мгновеній смотръла она на рукопись, держа ее въ рукахъ своихъ, какъ будто пожирая ее глазами, завернула потомъ въ батистовый свой платокъ, пизко присъла передъ всъмъ собраніемъ и, не говори ни слова, спъщила уйдти. Директоръ спъщилъ за нею, разсуждая о чемъ - то съ большимъ жаромъ. Онъ и она вышли изъ комнаты. Вильгельмъ подошелъ къ окну; ему казалось жарко въ комнатъ; въ головъ его вертълись и мъщались тысячи мыслей, но среди ихъ образъ Элеоноры пе-

нодвижно быль видънъ передъ нимъ: это былъ не тихій, привътливый образъ Генріэтты, но какое-то неестественное видъніе, окруженное пожирающимъ пламенемъ, отъ приближенія котораго вдвое быстръе обращалась кровь въ жилахъ Вильгельма, и сердце его трепетало, какъ будто боясь загоръться и сгоръть въ бъщенствъ непостижимой дотолъ страсти.

Громко шумъли между тъмъ другіе, горячо спорили о чъмъ-то. Вильгельмъ не слыхалъ ихъ спора. Онъ опомнился только съ приходомъ директора.

— Любезный г - нъ Рейхенбахъ — сказаль директоръ, взявъ Вильгельма за руку — не угодно ли вамъ пожаловать со мною въ мой кабинетъ?

Они пошли.

Мив хотвлось бы описать вамъ кабинеть директора, и поговорить съ вами вообще о физіономіи кабинетовъ, сказать вамъ, какъ надобно извлекать характеристику человъка изъ характеристики его кабинета: искусство, не легче Мегалинтропогенезіи! И всего легче ошибиться въ разгадкъ человъка по его рабочей комнатъ. Не ръдко раскладка бумагъ, пыль на какой нибудь развернутой книжкъ, засохшее перо — могутъ быть единственнымъ свидътельствомъ ложнаго имени дъловаго человъка, въ какое облекается передъ вами хозяинъ самаго загроможденнаго дълами кабинета; не ръдко вы изумитесь стройной системъ порядка при безпорядкъ, въ какой по видимому приведенъ передъ вами кабинетъ. А сколько варіацій на эту тему! Кабинетъ поэта, кабинетъ педанта, кабинетъ ученаго человъка, кабинетъ дъльща, кабинетъ вельможи (самое неизъяснимое отдъленіе изъ всъхъ въ міръ кабинетовъ), кабинетъ женщины писательницы (самое смъщное отдъленіе изъ всъхъ возможныхъ кабинетовъ)....

Но мнѣ нѣкогда. Спѣшу говорить о Вильгельмѣ, который совсѣмъ не думалъ о характеристикахъ и физіономіяхъ кабинетовъ, идя за директоромъ.

»Г-нъ Рейхенбахъ! « сказалъ директоръ, — »простите ли вы мнъ шутку, какую сыгралъ я съ глупыми моими собесъдниками? «

Вильгельмъ молчалъ. Казалось, онъ ждетъ, что далъе будетъ говорить директоръ.

»Не уже ли вы не поняли ее? Не уже ли не поняли, что я проникъ высокое дарованіе ваше, оцьниль его истинною цъною, и хотъль изумить другихъ — не васъ, божусь Богомъ, не

васъ: вы не изумились бы тому, что сознаете въ прекрасной душъ своей — хотълъ изумить другихъ справедливою данью, какою мы всегда должны генио...

 Мнъ кажется, что вы и теперь еще шутите, г-нъ директоръ.

»Нѣтъ! не шучу,« съ жаромъ возразилъ директоръ — »нѣтъ! моя душа могла зачерствѣтъ въ этомъ мірѣ, гдѣ живу я; но чувство Изящнаго сохранилъ я въ душѣ моей, какъ единственный залогъ истиннаго бытія! Мы узнаемъ со временемъ другъ друга лучше, г-нъ Рейхенбахъ; тогда потребую отъ васъ справедливаго обо мнѣ сознанія — можетъ быть, вмѣстѣ съ дружбою, которою вы меня удостоите — теперь объ этомъ ни слова...

— Но моя прежняя присылка къ вамъ?

»Pізнзи вапиь? Не уже ли вы думаете, что онъ не быль уваженъ мною? Хотите ли видъть его? Вотъ онъ

Директоръ растворилъ бюро, потомъ выдвинулъ ящикъ у стола: ни тамъ, ни здѣсь не было Різнзи. »А! онъ въ томъ бюро, что у меня въ гостиной!« сказалъ директоръ, безъ замъщательства — »позвольте пойдти мнѣ и взять сго....

— Довольно, прошу васъ не безпоконться. Я желаль бы только знать: почему вы не удостоили меня даже отвъта?

»Тутъ была маленькая разсъянность съ вашей стороны, любезный поэтъ! Куда могъ бы я послать мой отвътъ?

- Какъ?

»Вы не приложили вашего адреса.

— Ахъ! да, да! въ самомъ дълъ: я хотълъ самъ придти къ вамъ, и не смълъ, страшасъ услышать ужасный приговоръ. Скажу ли? Нетериъливо смотрълъ я послъ того на аффишки, но моего Pіэнзи не было на аффишкахъ! Я забылъ объ немъ, и принялся за моего Aрминія.

»Вы живете въ міръ мечтаній и вовсе не знаете условій существеннаго міра, гдъ влачимся мы. Счастливый человькъ! Я не могъ отдать на театръ вашей трагедіи, не договорившись съ вами, не заключивъ предварительно условія. И притомъ, будемъ откровенны, добрый, любезный поэть: какъ далекъ былъ вашъ Різнзи отъ вашего Арминія!

— Самъ чувствую — вскричалъ Вильгельмъ — онъ былъ недостоинъ одобренія: вы правы, и послъ такого искренняго признанія, я върю вашей искренности. Знаете ли, г-нъ директоръ?

Теперь, когда въ первый разъ читалъ я другимъ, въ слухъ, мою новую трагедію, я почувствовалъ, какъ много даже и въ ней нельпаго, какъ много въ ней худыхъ стиховъ! Знаете ли, что я готовъ бросить ее въ огонь, и писать еще другую, гдъ вполнъ могъ бы я высказать все, что таится въ душъ моей....

»И со временемъ, вы все это выскажете намъ. Но Арминія ожидаетъ не аутодафе: его ждутъ плески зрителей и лавровый вънокъ творцу его! Нътъ! вашъ Арминій прекрасенъ. Вы видъли, какъ слушала его Элеонора; эта дъвушка — живая поэзія, сама пламенное твореніе поэтическое....

Вильгельмъ вспыхнулъ.

»Женщина, созданная понимать все великое и прекрасное, запутанная въ сътяхъ демона, падшій небесный духъ, который просится въ небо, « продолжалъ директоръ, какъ будго не замъчая замънательства Вильгельма. — »Ей сказалась ея прекрасная душа при голосъ истинной поэзіи. Не дивитесь словамъ монмъ объ Элеоноръ: ее надобно узнать ближе. Повърите ли, что она почитаетъ меня врагомъ своимъ, интригантомъ, и какъ она ошибается!... Но откровенность увлекаетъ меня. Не знаю отъ чего, г-нъ Рейженбахъ, я говорю съ вами, какъ съ старымъ другомъ, какъ будто мы цълый въкъ были знакомы.

Онъ задумался и тихо прошелся по комнать. »Люди, право, не такъ дурны, какъ они кажутся; они связаны условіями и приличіями; они боятся другь друга, какъ два человъка, оклеветанные одинъ передъ другимъ.

Вильгельмъ, растроганный, пожаль ему руку. »Обратимся къ прозъ, « сказалъ директоръ, вздохнувъ. »Г-нъ Рейхенбахъ! вы отдали мнъ вашу трагедію: скажите условія.

— Условія? Какія условія? —

Вильгельмъ готовъ быль даромъ отдать своего Арминія, послъ всего имъ слышаннаго и чувствованнаго. И не уже ли ему назначать талерами цъну своего созданія?

»Чувствую, что мой вопросъ страненъ для васъ; но какъ же быть. Ваша трагедія написана: теперь она товаръ для меня, директора театра, а вы купецъ!« Директоръ засмъялся.

Въ это время кто-то кашлянуль въ углу. Вильгельмъ оборотился и увидълъ странную фигурку какого-то старика, котораго и прежде замьтиль въ столовой директора. Тамъ сидълъ онъ молча, въ концъ стола. Теперь старикъ этотъ сидълъ въ углу за столикомъ и что-то

писаль, такъ прилежно и молчаливо, такъ углубясь въ свои бумаги, что Вильгельмъ совсъмъ не воображалъ, чтобы кто нибудь былъ свидътелемъ разговора его съ своимъ новымъ знакомымъ.

»Не безпокойтесь, « тихо сказаль директорь, замьтивъ движеніе Вильгельма, »не безпокойтесь: это мой персписчикъ ролей, старый, приверженный ко мив и престранный человъкъ; пастоящая машина. Вообразите, что онъ съ утра до вечера сидитъ за своими ролями; при немъ можете говорить что вамъ угодно — онъ ничего не слышитъ и не понимаетъ; онъ не понимаетъ даже и того, что пишетъ, хотя списываетъ безъ мальйшей ошибки и можетъ отдъльно прочитать вамъ тысячи стиховъ и томы прозы.«

Вильгельмъ засмъялся. »О, что до оригиналовъ, я могу показать вамъ ихъ сотни. Мое дъло такое: театръ есть что-то выдвинутое немножко изъ міра обыкновеннаго, что-то между великимъ и смъшнымъ. У насъ свой жельзный громъ, своя плауновая молнія, свои холстинныя небеса; человъкъ выходитъ у насъ изъ-за кулисъ мудрымъ человъкомъ и входитъ за кулисы сущимъ глупцомъ; Весталка волочится за молодымъ Китайцемъ; левъ цълуется съ Русалкою; палунья Фрина нъжно кормить дитя свое за кулисами, а подлъ нея стоить ел мужъ; и этоть мужъ, добръйшее, прекраспое создание — кто бы вы думали? Фальстафъ, Фрейшицъ!

Громко захохотали и директоръ и Вильгельмъ. »Знаю, что вы неопытны въ закулисныхъ тайнахъ и міра и театра, г-нъ Рейхенбахъ, и такъ позвольте мнъ самому говорить съ вами просто: угодно ли будеть вамъ взять теперь же за Арминія вашего 2000 талеровъ...

Вильгельмъ едва не ахнулъ отъ изумленія: 2000 талеровъ, ему, за его Арминія, который составлялъ для него не работу, но наслажденіе — 2000 талеровъ вдругъ, когда тяжкая работа для какого нибудь книгопродавца едва могла доставить ему десятокъ талеровъ въ недълю, н послъ того онъ считалъ еще себя богачемъ! Ему показалось теперь, что весъ міръ упизался вокругъ него талерами ...

»Знаю, « продолжаль директорь, » что цьна невелика; но разсудите, чего будеть мнь стоить постановка пьесы! Я закажу новые костюмы, новыя декораціи. Впрочемь, позвольте мнь предложить вамь еще 10-й проценть, считая

съ 21-го представленія въ теченіе трехъ льтъ, или бенефисъ въ пользу вашу. Вы песогласны?

 Предаю всѣ расчеты вашей волѣ, г-нъ директоръ; право, я до сихъ поръ не думалъ объ нихъ.

»Върю, и потому оставьте все это дъло на моей совъсти; позвольте миъ надъяться болье, что вы удостоите меня вашей дружбы, вашей довъренности; что вы позволите миъ представить васъ Его Высокопревосходительству нашему вице-суперь директору. Г-нъ Рейхенбахъ! предчувствую блестящее поприще, какое васъ ожидаеть. Тучи заслоняють звъзду, и люди ее не видятъ; но когда она блеснетъ имъ своимъ привътнымъ лучемъ, они готовы преклонять предъ нею колъна...

Глаза Вильгельма блистали радостью.

» Къ дълу! « продолжалъ директоръ. Опъ отперъ свою контору, гдъ Вильгельмъ увидълъ множество свертковъ и билетовъ. » Вотъ на двъ тысячи талеровъ золотомъ. « Онъ вручилъ Вильгельму два небольше свертка. » По рукамъ! « Новые знакомцы хлопнули рука въ руку и обнялись. » Теперъ, пойдемте къ нашимъ литераторамъ. Мы объдаемъ вмъстъ; до объда прогу-

ляемся на репетицію; върпо, вы еще никогда не бывали за кулисами?

— Признаюсь, но извините: я желаль бы теперь поспъшить домой...

»Не принуждайте себя, любезный г-нъ Рейженбахъ. Считайте всегда домъ мой своимъ, и если вамъ въ тягость общество, какое собралось у меня, то вотъ здъсь вы пройдете прямо на улицу, по другому крыльцу.«

Директоръ остался въ своемъ кабинетъ, казался разсъяннымъ, до того, что даже не запиралъ своей конторки; скорыми шагами ходилъ онъ по комнатъ и съ улыбкою потиралъ себъ руки; наконецъ опомнился, заперъ конторку, оборотился къ списывателю ролей, который давно ужъ отложилъ свое перо въ сторону и внимательно глядълъ на директора.

 Что ты, Шлангенбургъ, смотришь на меня? — спросилъ его директоръ.

»Ничего, м. г. смотрю и дивлюсь. Хоть вамъ и угодно было назвать меня машиною, которая ничего не понимаеть, однакожъ я могъ понять кое-что.

— Что же ты понялъ?

»То, кажется, что вы вздумали дурачиться. Съ чего влюбились вы въ этого долговязаго сту-

дента? Что вамъ вздумалось кидать деньги ему, неизвъстному мальчишкъ, пачкупу стиховъ?

Директоръ засмъялся.

»Увърять его въ дружбъ, говорить такіе вздоры о людяхъ, о поэзін, Богъ знасть о чемъ? « Старикъ съ досадою взялся за свое перо.

— Слушай, Шлангенбургъ: ты глупъ, и больше ничего!

Искривя ротъ, старикъ улыбнулся.

— Глупъ, говорю я, и прошу не спорить со мною. Ты ничего не понимаещь. Во-первыхъ, трагедія этого студента дасть мнъ большіл деньги: я щедро съю, чтобы еще щедръе пожать.

»Развъ она очень хороша?«

— Таки и не дурна. Но надобно ли хоронее для успъха? Ахъ, ты старый глупецъ! Цълый въкъ сидитъ за кулисами, и не понимаетъ, что значитъ успъхъ на сцепъ!

Старикъ замолчалъ, и надувшись принялся писать. Директоръ продолжалъ ходить по комнатъ, теръ себъ руки, и говорилъ въ полголоса, обращаясь иногда къ старику!

»Да, да, мысль превосходная! И не будь я достойный ученикъ Его Свътлости владъльца Іоганнисбергскаго, если не проникъ тайны.... Теперь надобно доказать мое умънье узнавать людей. Шлангенбургъ! позвать ко мнь вечеромь издателя Безпристрастнаго; скажи, чтобы онъ приготовиль статью, гдв навраль бы великольпной чепухи, что онь слышаль тайну о какомъ-то новомъ созданін поэта, досель ненеизвъстнаго, еще юнаго, но который затмитъ всъхъ Мюльнеровъ и Грильпарцеровъ, исполненъ Шекспировскаго духа, и прочее, и прочее - да онъ знаетъ, что надобно написать; скажи, что я прибавлю ему два червонца сверхъ обыкновенной условленной платы. Да, напомни завтра же послать открывокъ въ Моргенблатъ, съ припискою отъ издателя, что онъ привътствуеть новое свытило на горизонты Германской Мельпомены.

— Не забуду.

»Да, да, г-жа Элеонора! Кажется, что вы теперь въ моихъ рукахъ, и я расплачусь съ вами за все... Если бы даже ничего не случилось, старики такъ ревнивы; но нътъ! я не ошибаюсь! Выправилъ ли ты расчетъ о послъднемъ спектаклъ, Шлангенбургъ?

- Онъ готовъ.

»Пошли воть эту записку къ барону Хилею, и, если онъ прівдетъ, скажи, чтобы подождаль

меня; я тотчась возвращусь; мы посль объда вмъсть; скажи, что я досталь превосходнаго Лафори и дамъ ему выпить цълую бутылку.

 Машинисть Циммерманъ опять просилъ меня напомнить вамъ о деньгахъ.

»Чорть съ нимъ! Его послъдній адъ никуда не годится: черти слишкомъ красивы, а змъя адская похожа на тюленя.

 Жена его умираетъ; говоритъ, что онъ въ отчаяния.

»Вотъ каково выходить замужъ! Она до сихъ поръ играла бы добродътельныхъ на сценъ... Надобно было еще и за кулисами семейственное счастіе — глупцы!

— Переводчикъ *Саула* Альфіеріева просить вашего отвъта.

» Ничего не могу отвъчать: Его Сіятельство находить неприличнымъ давать пьесу съ Библейскими именами.

- Въдь переводъ хорошъ?
- »Будто ты знаешь толкъ!
- Говорять.

»Онъ точно не дуренъ; да кто велитъ имъ переводить и писать не спросясъ! О Боже мой! какъ нелъпы всъ эти поэты и когда избавитъ меня Богъ отъ этого сумасшедшаго народа!

Пишуть себь, не думая, можно ли печатать и играть...

— А г-нъ Рейхенбахъ?

»Это другое дѣло. Онъ мнѣ надобенъ. « Директоръ остановился. »Новое дарованіе, смѣлая
мысль созидать траседію, когда весь міръ сбился на водевиль — да это надобно помѣстить
въ статьѣ моего Жоффуа. — »Оживить духъ
Германіи — это для дураковъ одного разряда.
»Покровительство великихъ раждаетъ великое «
— прекрасно: это для дураковъ другаго разряда « . . . Онъ засвисталъ и вышелъ.

— Два разряда! И только? Не болье? Такъ ли полно? — бормоталъ Шлангенбургъ, очинивая перо. — Но что за вымыслы у него? Что за скрытность такая? — Чъмъ болье живу на свътъ, тъмъ болье увъряюсь, что въ самомъ умномъ человъкъ есть порядочный запасъ глупости... А онъ не дуракъ. Кто же знастъ это лучше меня? Охъ! я слишкомъ хорошо это знаю! — Шлангенбургъ вздохнулъ и — началъ новую тетрадку.

ГЛАВА III.

» Лалага! Лалага! « кричала Элеонора, поспѣшно входя въ будуаръ свой и кидаясь на диванъ. Нетерпѣливо дернула она звонокъ, такъ, что онъ едва не оборвался, захлопала въ ладоши, и съ досадой вскочила, когда поспѣшно вбѣжала въ ея комнату мелодая Негритянка.

» Тебя въчно нътъ, когда ты надобна!«

Съ удивленіемъ смотръла на нее Лалага. »Что ты дълала тамъ?

- Я плела для тебя тотъ коверъ.
- »Ахъ! брось его, брось, Лалага! Дай мнъ спирту!

Элеонора опять бросилась на свой диванъ, и закрыла глаза.

»Сядь здъсь, Лалага, другъ мой! дай свою руку; посмотри, какъ бъется мое сердце...Ла-

лага! я больна, я нездорева... возьми съ меня эту шаль. Ахъ! кинь ее, не складывай; поди сюда скоръе, сядь подлъ меня...

»Послушай, Лалага: въ вашей Африкъ, на берегахъ вашего знойнаго Джіаллиба, тамъ, гдъ солнце ходитъ такъ прямо надъ головою человъка, гдъ страсти кипятитъ кровь его — скажи, Лалага, умираютъ ли тамъ отъ радости, отъ счастья?

— Почему жъ не умирать? — сказала Ламата, смъясь и выставляя два ряда жемчужныхъ своихъ зубовъ. — Га! — она весело схлопнула руками — моя тетка умерла, когда ей отдали ребенка, котораго продалъ отецъ вашимъ Бълымъ — умерла — схватила, вотъ такъ схватила своего ребенка, захохотала, упала и умерла, умерла...

»Счастливая!« Элеонора оттолкнула Лалагу, закрыла глаза рукою и заплакала судорожно. »А намъ умирать, эдъсь, въ напихъ болотахъ, въ напихъ каменныхъ городахъ, умирать отъ нашихъ глупыхъ радостей...

Лалага смотръла на Элеонору съ безпокойствомъ, сидя на скамеечкъ у ногъ ея и сложивъ руки на груди.

»Но, нътъ, Лалага! нътъ: если бы ты знала,

что теперь въ груди моей — твоя Африка показалась бы тебъ ледяною глыбою! Этого нътъ въ вашей Африкъ; нътъ ни такого огня, ни такого солица, « говорила Элеонора, быстро наклоняясь къ Лалагъ. »Не споръ, другъ мой! ты не знаешь, что такое поэтъ; ты не знаешь, что такое Поэзія!

— Я тебя не понимаю.

»Я растолкую тебъ. Послушай: мы всъ люди, всъ мы такъ гадки, глупы, злы, ничтожны ... Но между нами, исръдка, вдругъ, появляются какіе-то выходцы изъ другаго свъта, не такіе, какъ мы, совсъмъ не такіе! Ихъ освъщаеть какой-то не здъшній свъть, сердца ихъ не изъ здъшней пыли созданы ... А! они прекрасны, они божественны, Лалага; они поютъ намъ такія пъсни, какихъ не услышимъ мы никогда отъ другихъ людей, никогда не выдумаемъ сами.

- И они хороши собой должны быть, хороши, лучше всякаго мужчины, который не поэть? спрашивала Лалага, съ дътскимъ любопытствомъ.
- Хороши ли они, Лалага? Это духи свъта, дъти неба! Хороши ли они? О, поди отъменя: ты глупа, Лалага!

»Не сердись на бъдную Лалагу! Я не умъю говорить, какъ ты говоришь, и я никогда не видала твоихъ духовъ свъта: они и у тебя никогда не бывають... Развъ ночью только являются они тебъ, во снъ?

— Да, до сихъ поръ я видала ихъ только въ очаровательномъ сиъ, въ мечтахъ неясныхъ восхитительныхъ! Я только мечтала объ этихъ и людяхъ; воображала ихъ себъ въ видъ Байроновъ и юныхъ Шиллеровъ. Бъдная Каролина Лембъ! какъ понимаю я теперь твое сумасшествіе! Какъ завидую я тебъ въ твоихъ страданіяхъ: тебя любилъ Байронъ, и что тебъ была за надобность въ умъ твоемъ! Ты отдала его другимъ — подала милостыню другимъ бъднымъ безумцамъ...

»Въ мечтахъ, въ мечтахъ являются они тебъ, говоришь ты?« — вскричала Лалага. »Мнъ не являлись они даже и въ мечтахъ: я бъдная Лалага, я вижу только иногда опять мою родину, мой широкій, тихій, Джіаллибъ, мои родныя пальмы и баобабы, золотой песокъ моей родины, мою мать — она зоветъ меня къ себъ черезъ бурное море, подплываетъ къ берегу въ легкомъ челнокъ и манитъ меня рукою къ себъ, въ мою родную Конго... — Лалага! а я сегодня видъла поэта, видъла его на яву! Онъ явился миъ среди другихъ модей, и я узнала его, и я слышала потомъ, какъ онъ запълъ намъ свои вдохновенныя пъсни, и какъ всъ изумились его высокой пъснъ! Приложи руку твою къ груди моей; посмотри, здъсь у меня огонь: это все еще горятъ пъсни его подлъ моего сердца! Я теперь лучше, красивъе — не правда ли: я красавица, Лалага? Это отъ того, что душа мся стала свътлъс отъ взоровъ его... Великій Боже! что же сдълала бы любовь его? Что, если голова моя могла покоиться на его груди; если бы онъ обнялъ меня, и шепталъ мнъ: люблю тебя, Элеонора!

Она опять закрыла глаза руками. Лалага размышляла.

»Какъ называещь ты ихъ: поэтами, этихъ людей, Ленора? Но ты говоришь, что они выдумывають и поютъ пъсни? И у насъ въ Африкъ есть такіе люди, только ихъ называютъ не такъ — и опи такіе, такіе... ха, ха, ха! Я не смыо сказать тебъ...

— Какіе они? Какъ называють ихъ? — нетерпъливо спрашивала Элеонора.

»Называють: дураками! Да они и въ самомъ дълъ дураки « — Элеонора отодвинулась отъ

Негритянки. »Послушай, Ленора: они не живуть такъ, какъ живуть всь другіе люди; у нихъ истъ ни детей, ни женъ, ни хижинъ; они бродять по пустынямь и льсамь; иногда спять днемъ и не спять ночью; одежда ихъ вся съ побрякушками, и когда идуть они черезъ деревню, то брянчать побрякушками, и люди выходять смотръть на нихъ, и указывають на нихъ пальцами, какъ на диво. Когда у насъ бываеть свадьба, или когда празднують у насъ память отцовъ, дуракъ является, стоновится въ народь; иногда онъ запоеть ивсию; иногда простоитъ цълые сутки не сходя съ мъста, не пьетъ, не ъстъ и не поетъ. Ни кто не можетъ заставить ихъ пъть, никакой властитель нашъ, никакой жрецъ. Но когда поють они, то слова ихъ бывають такъ сладки, такъ велики, такъ согласны, что люди забывають пить и ъсть, и матери оставляють дътей кричать и не дають имъ груди своей. Говорять, будто, слушая пъсни ихъ, человъкъ становится добръе; будто самоя ядовитая змізя не кусаеть въ это время человъка. Но пъсни дорого имъ достаются: они приходять въ бъщенство; пъна бъетъ у нихъ изо рта; они падають наконець безъ памяти на землю. Тогда люди расходятся и оставляють ихъ лежать въ пыми, повторяя только на память ихъ прекрасныя пъсни. Эти пъсни безсмертны: ихъ поють потомъ воины, идя въ битву, поеть мать за колыбелью сына, поють жрецы, припося жертву, и побъда сопровождаеть воиновъ, дитя засыпаеть тихо, Богъ принимаеть ласково жертву...

— За что же почитають дураками, Лалага, этихъ людей?

» Какъ же они не дураки? Видишь: говорять, будто они думають жить небесною жизнью здысь на землы; но здысь земля, здысь надобно пить и ысть, строить хижины, собирать золото и страдать, а не жить. Только тамь, на небь, у Бога не надобно ничего, а здысь все надобно. И когда человыкъ питается только пыснями, то онъ бываетъ голоденъ. Иди онъ въ небо и пой тамъ, а здысь живи. Тотъ дуракъ, кто не живетъ, какъ живуть всы; онъ будетъ бродить по лысамъ и пустынямъ, безъ одежды и съ побрякушками, и люди будутъ называть его дуракомъ.

— Но твои сестры, ваши дъвушки Африканскія, Лалага, не уже ли онъ не заслушиваются пъсенъ вашихъ дураковъ, и не сходять съ ума отъ любви къ нимъ?

»О, пъть! онъ слушають прилежно, и когда дуракъ поеть о томъ, какъ ему тяжко на земль, какъ хорошо любить такъ, какъ онъ хотъль бы любить, не по-человъчески, наши дъвушки вздыхають, плачутъ и поспъшно бъгуть отъ нихъ...

— Зачьмъ же, Лалага?

«Затъмъ, что они въдь дураки; что этого на землъ не бываетъ; что это хорошо только въ пъснъ. Да, я номню... есть разсказъ: говорятъ, что какая-то дъвушка заслушалась, сошла съ ума отъ пънья дурака, и убъжала съ нимъ въ лъса. Ну, что же? Отъ нихъ родился такой человъкъ, у котораго глаза были огненные, волосы золотые, который ходилъ по морямъ, леталъ подъ облака, собралъ людей своими пъснями, и съ ними пошелъ по землъ далеко, покорилъ города, народы, опустошилъ хижины, срылъ горы для прохода своихъ войскъ, и люди прокляли его, прокляли и любовь безумной дъвушки къ дураку! Человъку надобно родиться и быть такимъ, какъ всъ другіе люди.

— Какъ всѣ другіе люди?... Лалага — сядь тамъ, играй своими куклами... И въ Африкъ то же — думала Элеонора, когда Лалага удалилась отъ нея въ уголъ комнаты — и тамъ по-

этъ безумецъ, а другіе люди умпы; и тамъ они презираютъ его; и тамъ дѣва не отдаетъ ему своего сердца, за то, что онъ на землъ ищетъ неба, а они ищутъ хлъба и золота...

- Какъ они надоъли мнь, какъ они отравили мнъ жизнь мою, эти люди! Какъ они отвратительны мнъ, откупщики ума, подрядчики добродьтели! — Элеонора ходила по комнать скорыми шагами. — Свътъ, отвергнувшій меня въ дътствъ, въ сиротствъ, ничего не долженъ требовать отъ меня, я ничьмъ ему не обязана, никто не можетъ указывать мнъ. Дорого заплатила я людямъ за весь этотъ проклятый блескъ, за брилліанты, за золото ихъ. Я брошу имъ въ глаза ихъ золото и брилліанты, и тогда свободно могу сама броситься въ объятія моего поэта, и сумаществовать съ нимъ, какъ Африканскій поэтъ съ своею безумною дъвушкою... Рейхенбахъ! ты мой, ты мой потому, что никто не узнаетъ тебя, кромъ меня! Для другихъ ты ничтожный бъднякъ съ тетрадью измаранной бумаги; для меня — ты вдохновенный создатель, волшебникъ, чародей! Какъ онъ читаль! Какъ серебряный его голосъ отзывался въ моемъ сердць! Никто, кромъ меня, не перескажеть людямь твоихъ вдохновеній,

Рейхенбахъ! Посмотри, какъ изумятся они, какъ они будутъ съ удивленіемъ спрашивать: гдъ скрывался до сихъ поръ этотъ великій поэтъ? Какъ же мы не знали его, когда онъ бродиль среди насъ, въ нашей толпъ?....

— Да, вы не знали его! Любовь моя затеплитъ надъ головою его свътлую лампаду славы и вдохновенія! Ты воскреснешь, Шиллерь! въ моемъ Рейхенбахъ! И тогда онъ будетъ мой, со всею огненною страстью поэта, съ любовью вдохновенного; и мы забудемъ міръ и людей! Что намъ до нихъ, что имъ до насъ! Сыщите мит тогда какую нибудь пустыню на краю моря; на утесъ какомъ нибудь повъсьте намъ хижину, чтобы бурное море шумъло у насъ подъ ногами, чтобы гора неприступная отдъляла насъ отъ людей, чтобы одно свътлое небо разстилалось свободно надъ нашими головами, или киптло молніями въ черныхъ тучахъ, когда любовь и вдохновение будуть кипъть въ душь Рейхенбаха и моей!

Бъдная Элеонора! не удивляетесь ли вы ея словамъ?

Помню — это бымо давно — помню, что однажды, окружая любезнаго старика, заклятаго послъдователя Шеллингова, все раздълявша-

го на подлежащее и сказуемое, субъекть и объекть, мы спращивали его о любви, о различіяхъ ен. »Да, « отвъчаль онъ, » любовь бываетъ двоякая, и отъ насъ не зависить: Deus dat cui vult. Одна любовь есть анализг души; начинаеть съ малыхъ, яко-то: взглядовъ, миганій, шептаній, соприкосновенія рукъ двухъ сюжетовъ, съ легкимъ усиліемъ, что именуется пожатіемъ руки; отсюда переходъ ко вздохамъ, слезамъ, словамъ: » Люблю тебя, « и проч. Но есть и другая любовь, чистый синтезт, который начинаеть прямо съ великихъ посылокъ, яко-то: одурвнія, какъ бы сумасшествія, или оглушенія громомъ всёхъ умственныхъ способностей человька. И потомъ, въ ослъпленіи своемъ, человъкъ готовъ спрыгнуть съ крышки трехъ-этажнаго дома, чтобы достигнуть самыхъ мелкихъ посылокъ анализа, которыми начинается аналитическая любовь, то есть, взгляда, пожатія руки, и проч. — »Но развѣ и тутъ вмѣшивается Логика? « спросилъ старика одинъ изъ нашихъ собесъдниковъ, бълокурый молодой человькъ. - Какъ же? Туть чистый законъ абсолютной необходимости. »Но которая же любовь лучше? - Первая, аналитическая, болье употребительна; но во-первыхъ, выборъ

6

Ч. Т.

отъ насъ не зависить, ибо мы остаемся постоянно подвержены закону необходимости; а притомъ всякая односторонняя система негодится: надобно соединеніе синтеза съ анализомъ. И отъ того-то Любовь на свътъ есть большое зло, ито законы мышленія никакъ не могутъ быть примънены къ ней. — »Вы любили-ль когда нибудь сами? « — Нътъ! никогда: я просто женился, и постигаю любовь только по выводамъ умозрънія.

— Кто тамъ, Лалага? — сказала Элеонора, вдругъ останавливалсь, послъ того, какъ долго ходила она, молча и задумавшись, по своей комнать. — Бъги, сдълай милость — я ни кого не хочу видъть....

»Но если пришель тоть старикь, которому никогда не отказывають? « вскричала Лалага, вспрыгивая съ своей скамеечки и бросая куклы.

— Старикъ! Онъ?

Какъ будто съ облаковъ упала Элеонора. Она побледнела, остановилась въ ужасъ. Лалага побежала въ другую комнату. Слезы блеснули на глазахъ Элеоноры, но не катились изъ глазъ. Она схватила тетрадь, лежавшую на столикъ, бросилась на диванъ свой, усълась на немъ и устремила глаза въ тетрадь.

Лалага вошла въ комнату. За нею, на цыпочкахъ, пробирался молодой человъкъ, щегольски одътый, въ золотыхъ очкахъ; золотой ключикъ, прицъпленный назади фрака, показывалъ его придворное званіе.

Онъ остановился, не смъя прервать занятія Элеоноры. Лалага бросилась къ ней, схватила ее за руку и сказала: »Ты не видишь, Ленора? Онъ пришелъ отъ твоего старика.«

Элеонора оттолкнула ее угрюмо. Невнимательно оборотилась она къ каммеръ-юнкеру, не вставая съ дивана.

— Сударыня! я спѣшиль къ вамъ съ порученіемъ отъ Его Высокопревосходительства. Ради Бога, что такое сдѣлалось съ вами? Онъ трепещетъ за ваше здоровье, и проклинаетъ дѣла, которыя мѣшали ему видѣть васъ вчера и сегодия. Вообразите: вчера съ разсвѣтомъ охота, балъ до свѣта, обѣдъ, пріемъ этого посланника, этой принцессы, сегодня обѣдъ у самого барона.

»Я рада его веселью.

— Безъ васъ, сударыня, что за веселье Его Високопревосходительству!...

»Ахъ! сокращайте его имя — это скучно слышать...

— Только любовь можеть сокращать его. — За этоть остроумный отвъть каммерь - юнкеръ наградиль себя улыбкою.

"Что же угодно вамъ?

 Ради Бога, сударыня! Баронъ въ отчаяніи: вы отказались играть сегодня въ Монбижу!

»Да.

 Ради Бога, что вы дълаете? Сцены нарочно придуманы для встръчи принцессы.

»Тъмъ хуже,

- Но... И каммеръ-юнкеръ наклонился впередъ, какъ будто хотълъ тихонько, на ухо, сказать что-то секретное...
- Но знаете ли вы, что послъдній куплеть сочиниль самь Его Свътлость? Вашь речитативь будеть по музыкь, сочиненной Ел Свътлостью. Кто слышаль ету музыку, всь въ восторгь!

Элеонора горестно улыбнулась. — »А если я больна, если у меня вовсе нътъ голоса, то куплеты и музыка Его Свътлости и Ел Свътлости не возвратять мит ни голоса, ни здоровья. Я не могу играть.

Каммерь-юнкерь открыль свою золотую табакерку, и съ разстановками вдыхаль въ себя ароматическій табакъ, какъ будто надумываясь, что такое еще сказать ему.

— Ну, если должно открыть вамь все, то — знаете ли вы, сударыня, о богатомъ фермуаръ, который пазначается...

»Вамъ что ли?

Каммеръ-юнкеръ смъшался. Онъ перепуталъ всъ свои идеи отъ страннаго вопроса Элеоноры, принужденъ былъ придвинуть кресла и състь въ нихъ.

— Сударыня — продолжаль онь, не много надумавшись — я не знаю, какъ разсказать, какъ объяснить Его Высокопревосходительству ваше расположение....

»Скажите, что я въ самомъ дурномъ расположении.

- Такал причина....
- »Не важна? Да, въдь я и забыла, что мнъ, актрисъ, такъ, какъ всякому другому фокуснику и прыгуну на веревкъ, не позволяется быть нечальною, если другіе хотятъ веселиться.... Можете сказать просто, что я больна, что я умираю, если угодно.
- Избави Богъ! Его Высокопревосходительство не пустить меня на глаза двъ недъли, ес-

ли я осмълюсь явиться къ нему съ подобнымъ извъстіемъ, я не перенесу такого несчастія....

»Вы умрете? « сказала Элеонора насмѣшливо. »Какая будеть потеря для двора, для свъта — большаео, разумѣется, г-нъ баронъ « — прибавила она, замѣтя гримасу каммеръ-юнкера. »Никто лучше васъ не еалопируетъ на балахъ — я слышала: мнѣ не позволено входить въ тотъ кругъ, который сы восхищаете своимъ галопомъ.

Каммеръ-юнкеръ ловко повертываль орудіе галопа, маленькую ножку свою, обутую въ крошечные сапожки. »Наши дамы умно дълають, сударыня, « началь онь, улыбаясь и уклончиво смотря на Элеонору — »умно дълають, что стараются не пускать своихъ побъдительницъ въ свои скучныя собранія. Онъ осуждають насъ, бъдныхъ мужчинъ, зъвать съ своею скромною, премудрою красотою....

— Баронт! — сказала Элеонора, теряя терпъне — кажется, мы не роль репетируемъ съ вами, и я не обязана слушать все остроумное, что вы можете придумать. Для этого мало недъли, а я, право, больна....

Каммеръ-юнкеръ пристально обглядълъ свои лайковыя перчатки, поклонился низко и мгновенно исчезъ. Тогда свободно заръгдала Элеонора. Она обияла подушку дивана, кръпко, объими руками, и не говорила ни слова.

- Что съ тобой Ленора? спращивала ее Лалага, заботливо подбъгая къ дивану.
 - »Ничего, ничего, мой другъ!
- Ахъ! ты говорила мив о какомъ-то негодномъ человъкъ какъ бишь ты его называла? Ахъ! если этотъ человъкъ похожъ на нашихъ дураковъ, и ты полюбила его, какъ разсказывають объ нашей Африканской дъвушкъ, и если у васъ родится такой же страшный сынъ, какой родился у нихъ.... Ахъ! бъдная Ленора....

»Опусти эту занавъску — солнце несносно свътитъ мнъ въ глаза — нътъ! постой — подними ее опять! Поди, Лалага, поди къ себъ, играй....

 Я не хочу играть, когда ты плачешь, когда ты больна.

»Я здорова, Лалага: видишь!« Элеонора отерла слезы и засмъялась громко.

- Ахъ! вотъ такъ хорошо, хорошо! вскричала Негритянка теперь и я стану играть! Она запрыгала и убъжала изъ комнаты.
- »Сегодня я узнала свою участь, « сказала Элеонора, спокойно оправляясь передъ зеркаломъ. »Пусть плачетъ и боится тотъ, кто можетъ те-

рять. Мнь терять ньчего, и все могу найдти я. Давно видьла я всю ничтожность своего несчастнаго бытія, весь ужасть бездны, вта какую бросила меня судьба неумолимая. Жизнь, исполненная блеска и позора, шума и грусти, тщеславія и одиночества, жизнь безть дружбы и любви, безть уединенія, безть сердца, безть души, безть радостей, безть очарованій надежды, безть воспоминаній прошедшаго, жизнь безть жизни, счеть дней на блестящихть часахть, глупые куранты на городской башнть, втиное то же, и — зависимость отъ этого отвратительнаго человтька, для отдыха — и какая ужасная зависимость!

»Отдайте мит то, что вы у меня отнями«— въ отчаянии воскликнула Элеонора — »отдайте мит отца, мать, имя, семейство, радости дътства, все, что приучаете вы другихъ къ жизни, даже къ вашей глупой жизни, такъ сильно приучаете, что они называютъ свою привычку жить счастіемъ! Ничего не знала я въ міръ: ни отца, ни имени, ни родства, ни семьи, ни любви, ни дружбы, ни привычки къ чему нибудь.... Знала одинъ позоръ, которымъ заклеймилъ меня этотъ отвратительный свътъ, растерзавъ для меня прошедшее и будущее....

»О мой поэть! ты выше другихъ людей, ты

столько же превышаешь ихъ всемъ, сколько превышаешь твоимъбожественнымъдарованіемъ! Не уже ли ты отвергнешь меня и захочешь отъ меня броситься въ объятія людей? Берегись, берегись: они люты и злы, они жестоки и безчеловъчны! Ихъ угрызеніе страшнъе угрызенія змън! Змъя злится и кусаеть, люди смъются и язвять — душу, душу язвять они, а не тъло!

Она схватила рукопись Вильгельма; долго смотръла на нее; крупныя капли слезъ капали изъ глазъ ел.

»Какъ бы желала я — говорила она — вглядъться въ душу твою, знать чувство, какое наполняло твою душу при каждомъ словъ, при каждомъ стихъ. Рейхенбахъ! сердце и душа поэта — цълый міръ; его стихи — бъдные изгнанники изъ этого міра, одинокіе, грустные изгнанники. Вотъ тебъ рука моя, другъ милый! поведи меня въ міръ твой — Элеонора достойна этого міра....

Она подошла къ арфъ своей, хотъла играть; нъсколько аккордовъ вылетъло изъ арфы подъ ея рукою, и — она содрогнулась. »Здъсь говоритъ со мною кто-то!« сказала она. »Нътъ! это звуки арфы; но отъ чего прежде казались они мнъ бездушными, мертвыми? Они живые! Что же они хотять сказать мнь? Рукопись Рейхенбаха высказываеть мнь такъ много, а ты что мнь говоришь, звукъ летучій, неясный, мгновенный? Прочь, полумертвый! Твой языкъ мнь не понятень....

Элеонора съла на диванъ, глядъла въ рукопись Арминія, не читала — только разсматривала ее.

Вдругъ Лалага вбъжала къ ней въ комнату.

- » Они идутъ, Ленора, идутъ двое!«
- Кто идетъ ко мнъ?

»Твой старикъ и твой лекарь съ бълою головою.«

Элеонора подняла глаза къ небу. »Онъ идеть? О! я отплачу тебъ, проклятый вздыхатель!« проворчала она съ досадою.

Тихо и осторожно вошель въ это время въ комнату человъкъ лътъ шестидесяти, въ простомъ сюртукъ, но щегольски разодътый. Изысканность видна была въ его немногихъ волосахъ, собранныхъ на его головъ, завитыхъ и выкращенныхъ, въ его тросточкъ, его галстухъ, тщательности, съ какою выставлены были рукава его тонкой рубашки изъ рукавовъ сюртука. Онъ вошелъ одинъ, остановился, заботливо глядълъ на Элеонору; казалось, что она не замъчаетъ его прихода. Старикъ придалъ лицу своему нъчто въ

родъ улыбки, такъ, что поддъльные, превосходно обдъланные зубы его выставились изо рта, и, стараясь показаться легкимъ и проворнымъ, быстро присълъ онъ на диванъ подлъ Элеоноры.

— Милый другъ, Ленора, милая Элеонора! — началъ онъ говорить, придавая голосу своему всевозможныя измъненія нъжности. — Элеонора, Ленора! —

Она не двигалась, не глядъла на него. Старикъ протянулъ къ ней руку.

»Ахъ! не троньте меня! « вскричала Элеонора, отодвигаясь отъ него въ уголъ. »Не уже ли я глуха, и не слышу, что вы мив говорите?...

- Ты не отвъчаешь ничего, ангелъ мой!
- »На что отвъчать миъ? Вы ничего не спросили до сихъ поръ.
 - Я назваль тебя милою Элеонорою.
 - »Это скучно! Подите отъ меня.
 - Что съ тобой сдълалось?
 - » Мнь говорить не хочется.
 - Со мною, милый другъ?
- » Какая глупая привычка: безпрестанно повторять мильий друге!
 - Я тебя стану называть: злая Ленора.
 - »Полно-те говорить молчите!

Старикъ замолчалъ. Чрезъ минуту, онъ заговорилъ снова, вынимая изъ запазухи бумагу.

— Теперь, ты върно поглядищь на меня ласково. Воть пенсія той бъдной полковниць, о которой ты мнъ сказывала. Тебъ пріятно будеть самой извъстить ее.

»Пенсія? Ей?« Элеонора посітвшно схватила бумагу, развернула, и радостно подняла глаза къ небу.

— Какъ прелестна ты, Элеонора въ эту минуту!

Она сердито бросила бумагу старику, говоря: »Отошлите къ ней.«

— А ты не хочешь отдать ей сама?

»Нътъ! Это отравить для нея ваше благодъяпіе. Мит, а не заслугь своего мужа будеть опа одолжена тьмъ, что не умреть съ четырьмя сиротами отъ голода. Не уже ли въ васъ такъ мало чувства, что вы не понимаете, какъ будеть она краснъть — отъ меня принимая вашу бумагу?

— И никто не будетъ знать твоего прекраснаго дъла, Ленора, кромъ меня? Ты божественна, Ленора!

»Перестаньте — ахъ! замолчите!

- Элеонора! клянусь тебь, что я прибъжаль опрометью....
- »Будто вы бъгаете! А подагра?« Элеонора лукаво засмъялась.

Старикъ поморщился.

- Я пришелъ къ тебъ, бросилъ всъ дъла толпа народа ждетъ меня сегодня у меня три доклада.
- »И люди въ вашей передней конечно думають: какъ занять теперь Его Высокопревосходительство, баронъ фонъ-Калькопфъ!
- Насмъщница! Дай миъ договорить. Я все бросилъ, хотълъ узнать: что съ тобой сдълалось?
 » Благодарю.
 - Говори-же: что съ тобой сдълалось? » Ничего.
- За что такъ сердито прогнала ты моего бъднаго, крошечнаго барона Шадена?
- »Этоть деревянный прыгунь самь ушель оть меня.
- Элеонора! твои капризы становятся несносны. Съ тобой не достанетъ ангельскаго тершънія.
- »Займите его у дьявола: онъ терпить еще больше вашего.
 - Мнъ приходится сказать тебъ откровенно,

Ленора, что и не въ состояни болъе сносить твоихъ вздорныхъ прихотей. Я хотълъ просить, умолять тебя; но теперь говорю просто и прямо: ты должна сегодня играть въ Монбижу!

Элеонора вспыхнула, вскочила съ дивана, сердито топнула ножкою, и вскричала: »Нъть! я не хочу!«

- Вы должны, сударыня, говорю я вамъ! »Къ вашимъ услугамъ, Ваше Высокопревосходительство — нътъ!« Элеонора низко присъла, и спъшила уйдти изъ комнаты.
- Элеонора! вскричалъ старикъ, удерживая ее ты съ ума сошла; это невозможно!

Горделиво посмотръла на него Элеонора; старикъ певольно потупилъ глаза: »Развъ я невольница ваша? Вы забылись, мил. государь!

— Мучительница! пощади меня! Ты моя невольница, ангель Ленора? Ты меня терзаешь, и не показываешь никакой жалости къ несчастному моему чувству къ тебъ. Разсуди сама.

» Чего вы отъ меня хотите? Какой-то глупецъ скропалъ какой-то вздоръ, и вамъ угодно, чтобы я забавляла вашихъ щепетильныхъ придворныхъ, вашихъ чопорныхъ госпожъ этимъ вздоромъ, была вашимъ паяцомъ? — Ты сама не знаешь что говоришь. Сочинитель этой интермедіи — Его Свътлость.

»Тъмъ хуже, что онъ тратить время на глупыя вирши, когда ему надобно думать совсъмъ о другомъ.

— Ты явишься среди насъ великою артисткою; ты вдохнешь душу и жизнь въ его твореніе — положимъ, вздорное. — Старикъ невольно оглянулся кругомъ.

»Артистка — на подмосткахъ Монбижу!

— Ты больна, Элеонора, не правда ли? Ты нездорова! Monsieur de-Singulier! Пожалуйте сюда! — сказаль старикь, подходя къ двери.

Съ важною миною, бъло-напудренный, съ огромнымъ пучкомъ на затылкъ, въ бълыхъ шелковыхъ чулкахъ, въ башмакахъ съ пряжками, въ черномъ фракъ, вступилъ въ комнату старикъ, докторъ Сенгюлье. Элеонора расхохоталасъ, когда онъ, раскланявшись съ барономъ, прямо уставилъ на нея огромные, неподвижные глаза свои, и наблюдалъ за ея движеніями.

— Что вы находите, мой милый докторъ? — сказала она, подбъгая къ нему. Не магнитизировать ли хотите вы меня вашими прелестными глазами?

» Сударыня! « отвъчалъ онъ, улыбаясь — все, что вамъ угодно.

- Я больна. Баронъ меня увърлетъ. —
- »И я имью причины такъ думать, « прибавиль докторъ.
- Возьмите же руку, и пощупайте мой пульсь. »Я хотъль бы поцъловать ее, « сказаль докторь, нъжно и почтительно взявшись за руку Элеоноры.
- Вы вст одуртли на глупыхъ нъжностяхъ вскричала Элеонора, вырывая у него руку. Не появится ни одинъ мальчишка каммеръ-юнкеръ, ни одинъ старикъ баронъ, ни даже докторъ безъ глупыхъ нъжностей! Какое право имъете вы говорить ихъ мнъ? Да, вы имъете это право И Элеонора вдругъ заплакала и съла на диванъ.

»Докторь! я въ отчаяніи! Видите: спазмы, истерика! Она больна, больна.... Спасите мив ее! « вскричаль баронъ, складывая руки и стараясь сдълать горестное лицо. Но выраженіе горести на его разрумяненномъ лицъ, при его раскрашенныхъ волосахъ и поддъльныхъ зубахъ, было такъ смъшно, что Элеонора громко захохотала.

- Видите, докторъ! Она больна! горестно проговорилъ баронъ.
- »Я понимаю. «Докторъ искалъ глазами чернилицы и бумаги.
- Если вы осмълитесь написать мнъ рецептъ
 я велю выкинуть васъ и съ нимъ за окно! вскричала Элеонора, спрыгивая съ дивана.
- »Понимаете, докторъ! « Баронъ указалъ ему на дверь. Докторъ улыбнулся, поклопился и вышелъ.
 - Баронъ! я хочу говорить съ вами.
- » Сдълай милость все, что тебъ угодно, Элеонора!
- Я хочу, чтобы вы избавили меня отъ шутовства въ Монбижу.

Баронъ горестно покачаль головою. » Разсуди сама, ангель мой! Я и Его Свътлость хотимъ похвастать нашимъ театромъ; Его Свътлость самъ составилъ интермедію, и — тебя не будетъ — украшенія нашей сцены! Не уже ли ты такъ дешево цънишь одно мое наслажденіе видъть тебя въ торжествъ, безжалостная Элеонора? Умоляю тебя, сдълай милость! Ты хочешь, чтобы я сталъ передъ тобой на кольни? Увъришься ли тогда?

Элеонора угрюмо молчала. Баронъ, кряхтя, стащился съ дивана и сталъ передъ нею на ко-

лъни. « Жалкій человъкъ! « шептала Элеонора, отворачиваясь отъ старика.

- Я согласна.

Въ радости вскочилъ старикъ, прыгнулъ и заохалъ; онъ забылъ свою подагру — она не забыла напомнить ему о себъ.

— Но, баронъ, сядьте, выслушайте мои условія: я хочу, чтобы спектакли ныньшней осени начались новою, вотъ этою самою трагедіею. Ее надобно поставить какъ можно великольпные. Вы выдадите 10,000 талеровъ на декораціи и костюмы....

»Десять, Элеонора? Подумай!

— Я не хочу думать. — Она опять сердито отвернулась оть барона.

» Ну, ну! согласенъ, согласенъ....

 Сочинитель явится къ вамъ. Вы, какъ высокій покровитель всякаго великаго дарованія, представите его ко двору.

»Это не легко, милый другъ....

 Онъ будетъ приглащенъ на литературные вечера княжескіе.

»Ахъ! какъ это не легко! Върно, любезный сочинитель твой какой нибудь буржсуа, а князь терпъть не можеть смъщенія чиновъ и званій на своихъ литературныхъ вечерахъ.

- Вы дадите ему мъсто при себъ, такое, чтобы ему нъчего было дълать....
- »У меня и безъ него столько дармовдовъ, Элеонора!
 - Вы должны, сударь!
- »Но кончатся ли твои условія? Что за новая трагедія? Что за сочинитель?
- Директоръ скажетъ вамъ кто онъ. Вотъ его трагедія. Она превосходна: слышите ли? превосходна! И вы велите этому бездъльнику директору, чтобы пьеса имъла самый блестящій успъхъ; чтобы сочинителя вызвали; князь долженъ быть въ театръ; онъ позоветь автора къ себъ въ ложу....

»Но, мой другь....

— Я этого хочу непремънно.... А! хорошо: я не играю въ Монбижу, съ сего дня больна на смерть, завтра же ъду въ Карлсбадъ.

»Твои условія почти невыполнимы. Не льзя ли просто дать твоему автору денегь и — только! Онь, върно, какой нибудь пачкунь, бъднякь, а это радуеть такую сволочь, лучше всякаго княжескаго вечера:

— Покровительство человъка, одареннаго столь высокимъ вкусомъ, какъ Ваше Сіятельство, кто не оцънить выше всякой награды! Кто не знаеть,

что голосъ Германской Музы всегда быль доступенъ вашему высокому, патріотическому слуху....

»Перестань, Элеонора — это мив повторяють въ посвящении каждой книженки, и чорть знаеть откуда берется у насъ такая бездна дарованій! И каждое дарованіе бываеть такое голодное и общипанное, что не напасешься денеть.

»Этотъ не потребуетъ отъ васъ денетъ. Но его геній подтвердитъ славу о томъ покровительствъ, какое баронъ Калькопфъ оказываетъ просвъщенію отечества, « продолжала Элеонора съ насмъшливою важностію. »Сколько пламенныхъ юношей закинятъ послъ сего мыслію, что ихъ дарованія также отворятъ имъ двери въ чертоги вельможъ и князя! Сколько ободрится бъдныхъ тружениковъ тою мыслью, что и на ихъ двадцати, тридцатильтийе труды будетъ обращенъ проницательный взоръ просвъщеннато, великаго мецената Германіи, барона Калькопфа!

— Да, мецената! У меня върно 2000 талеровъ въ годъ пропадаетъ на одно нечатанье этихъ преполезныхъ трудовъ, которые глупость и голодъ заказываютъ на всъхъ чердакахъ въ Гер-

маніи. Но спорить ньчего — все будеть по твоему, Элеонора. Для тебя ли чего нибудь я не сдълаю! Прощай, милый другь, чудный ангель мой! Ты чуть не свела меня съ послъдняго разсудка....

» Xa, xa, xa! Послушайте, баронъ, еще на минуту....

— Ну, ну, шалунья! Боже мой! уже три часа! А въ три часа объщаль у меня быть принць....

»Послушайте. Не уже ли такъ мало дорожите вы моимъ приглашеніемъ побыть со мною?

— Боже мой! я ли не цъню словъ твоихъ, Элеонора! Говори же, говори!

» Мнъ пришло смъшное въ голову: что, еслибы кто нибудь изъ своей художнической, мастерской, изъ своего ученаго кабинета, изъ своего вдохновительнаго уединенія, послушаль теперь барона Калькопфа?

— Hy!

»Ничего больше: еслибы кто нибудь послушаль его, что сказали бы тогда всъ газетчики Арнольда и Котты, и всъ сочинители Конверсаціонъ-Лексиконовъ, у которыхъ по три страницы посвящается біографіи барона Калькопфа, и тому, что онъ дълалъ и дълаетъ для просвъщенія своего отечества?

— Да, не уже ли ты думаешь, они не знають этого?

»Милый баронъ!« — вдругъ простодушно спросила Элеонора — »если вы такъ думаете, если они знаютъ это, для чего же вы обманываете другъ друга?

— Ахъ! Элеонора....— Старикъ потреналъ ее по щекъ, засмъялся и хотълъ итти.

»Вы должны прослушать еще роль мою въ новой трагедіи! Какъ же будете вы покровительствовать моему сочинителю, если вы ничего не слыхали? Вамъ должно начать сегодия же говорить о новой трагедіи.

— И заставить зъвать князя.

»По крайней мъръ, дайте сюда вашъ бумажникъ: я запишу вамъ названіе трагедіи и имя автора.

Молча подаль свою записную книжку баронь, и Элеонора четко записала въ ней: Арминій, траседія въ 5-ти дийствіяхь, въ стихахь. Согиненіе Вильеельма Рейхенбаха.

»Завтра же чтобы говорили объ этомъ при дворъ и въ городъ. Слышите ли?

Старикъ смотрълъ на нее съ дътскою радоетію. — Только? — спросилъ онъ.

» \mathcal{A} а, и теперь вы можете итти спокойно, съдой Купидонъ. «

Баронъ поцьловалъ ея руку и спъщилъ вонъ, осторожно утирая потъ съ крашенаго лица своего.

»И они хотять, чтобы тоть не презираль ихъ, кто смотрить за кулисы, и видить ихъ, этихъ ничтожныхъ куколъ — видить, какт они пляшуть на снуркахъ, и кто дергаетъ эти спурки! — Нъть! силъ моихъ недостаетъ болье — я задохнусь въ смрадномъ чаду ихъ заразительнаго міра.... Отдохнемъ съ тобою, мой поэтъ! «

Элеонора поцъловала рукопись Вильгельма, перебирала въ ней листы, въ слухъ прочитала нъсколько монологовъ. И вдругъ лице ея поблъднъло, рукопись выпала изъ рукъ ея.

» Что это? « сказала она, трепещущимъ голосомъ, и постъшно схватила опять рукопись.

На послъдней страницъ, посль окончанія трагедіи, находилось отдъльное стихотвореніе что-то въ родъ носвященія, какой-то вдохновительницъ поэта, дъвушкъ. Имя ея было нанисано крупными, прекрасно отрисованными буквами: » Моей вдохновительницъ Генріэттъ. « » Его Генріэттъ! Ты любишь, Рейхенбахъ? Другую любишь, а не Элеонору? Какъ, не уже ли и она любить тебя, любить, какъ я люблю тебя, Вильгельмъ? «

»Она вдохновляла тебя? Покажите мнв ее, покажите! Ты ошибаешься, Вильгельмъ: не ей вдохновлять тебя и не мнв; въ твоей душъ отзывается само небо чудными звуками Поэзіи; такихъ пъсней не внушають люди, не внушаеть никакая земная дъвушка!«

Она читала и перечитывала стихи къ Генріэтть, и ужасное сознаніе, что ихъ могла внушить только пламенная любовь, невольно отзывалось въ душъ Элеоноры.

»Не уже ли и этотъ человъкъ мив чужой! Не уже ли и здъсь ошиблась я! Нътъ — имя Тенріэтты вымышлено — ея нътъ въ міръ; онъ писалъ къ своему идеалу, и ошибся въ имени: ту, которая встрътитъ тебя въ міръ и осуществитъ твой идеалъ, называютъ Элеопора! Не правда ли, Рейхенбахъ? «

»И что же такое: если твое сердце уже принадлежить кому-нибудь, не уже ли ты отвергиешь Элеонору, когда она, изъ милости, попроситъ подлъ тебя мъстечка, имени твоей сестры; сестры твоей Генріэтты?

» Сестры! Ужасно — нътъ, никогда, никогда!

Я пожертвую тебѣ всѣмъ; но ты не будешь братомъ моимъ: ты будешь для меня всѣмъ — я обовью тебя, какъ амъй, я задушу тебя въ моихъ объятіяхъ, воскрешу тебя моею страстію, и тогда спрошу: чей ты, Вильгельмъ — этой ли вдохновительницы Генріэтты, или Элеоноры, сумасшедшей для того, чтобы ты въ жизни своей узналь всъ обольщенія славы, любви, узналъ всю грусть неба, всъ радости ада?...

»Но кто эта Генріэтта? Гдв она? Чвит она обольстила моего Вильгельма? — И ст трепетомъ отбросила отъ себя Элеонора рукопись Вильгельмову. »Проклятіе лежитъ на мнъ со дня моего рожденія! « воскликнула она, съ ужасомъ сжимая руки....

TAABA IV.

» Послушай, другъ мой, « сказала Генріэтть мать ея, госпожа Шульце. Старушка вдъвала въ это время нитку въ нголку, поднявъ къ свъту носъ свой, вооруженный ограмными очками. Очки были безъ ручекъ, и состояли изъ двухъ огромныхъ стеколъ въ серебряной оправъ, соединенныхъ топенькою полоскою оправы въ видъ дуги. Эта полоска, по старому обычаю, была обмотана шелкомъ. Кто первый выдумаль обматывать шелкомъ пространство между стеклами очковъ, этого никто не знаетъ; но всъ очечные мастера донынъ обматывають это пространство очковъ шелкомъ. Очки, не имъя ручекъ, которыми могли бы держаться на головь и ушахъ, держатся послъ сего упругостью оправы на носу. Отъ этого носъ немножко сжимается, и придаеть произношенію какую-то особенность, которая нѣкогда была въ большой модѣ у католицкихъ проповѣдниковъ.

» Послушай, Генріэтта, « продолжала старушка, и никакъ не могла вдъть своей ниточки въ иголку.

— Что вамъ угодно, маменька? — сказала Генріэтта, подбъгая къ матери. Върно вы не можете вдъть питки — позвольте мнъ.

» Не нужно, « отвъчала мать, торжественно продергивая нитку сквозь ушко иголки — » я еще довольно хорошо вижу. « Она поправила подушечку, приверченную винтомъ къ столу, и начала шить. »Я хотъла только замътить: почему ты сегодня такъ неприлежно занимаешься своею работою? «

Щечки Генріэтты немного зарумянились.

«Я замѣчаю, что ты безпрестаню выбѣгаешь изъ комнаты, безпрестанно подбъгаешь къ окну.

Щечки Генріэтты сдълались розовыми.

» Мнъ кажется, что ты, какъ будто безнокоишься о чемъ-то, говоришь сама не зная что и отвъчаешь безъ толку.

Краска на щечкахъ Генріэтты увеличивалась. Старушка продолжала важно, тихо, полусурово:

»Третій день я замьчаю все это, и, признаюсь, могла бы подумать, что ты ждешь кого-иибудь, безпрестанно выбъгая на встръчу и гмядя въ окошко. Что же ты молчишь? Отвъчай! Я, кажется, пріучала тебя такъ, чтобы послъ Бога, которому должна быть открыта душа твоя, ты ничего не скрывала и отъ меня, матери твоей.

Тутъ щечки Генріэтты загорълись ярко. Но, потупивъ голоку, она продолжала поспъшно шитъ и молчала.

» Что же ты молчишь? « Старушка важно посмотръла на нее. »Видишь ли: твоя нитка оборвалась, а ты шьешь, не замъчая этого. Отчего такая разсъянность?

- Маменька! сказала Генріэтта умоллющимъ голосомъ, и принялась перемънять нитку.
 - » Ну, что же: маменька?
 - Я ничето не скрываю отъ васъ.

»Вотъ, видишь ли, какъ одинъ гръхъ ведетъ за собою другой: ты скрыла отъ меня что-то, а теперь солгала. Ложь — ужасный гръхъ, и все равно въ маломъ или большомъ дълъ.

Слезы показались на глазахъ Генріэтты, но она еще молчала.

» Можеть быть, я ошибаюсь; но для того-то, чтобы между нами не оставалось ни мальйшаго недоразуменія, никакого следа недоверчивости, решилась я начать говорить съ тобою. До сихъ поръ, я всегда была довольна тобою; мы жили какъ друзья. Ты помнила, чъмъ была обязана мнъ, помнила всъ мои горести и заботы о тебъ: какъ больную тебя, въ младенчествъ, по три ночи нашивала я на рукахъ, не спавщи сама; какъ потомъ лельяла тебя посль смерти отца, не досыпала ночей, лишала себя всего, самаго необходимаго, чтобы только тебъ доставить какую нибудь радость и наслаждение. Нътъ! я не воображала, какъ другія матери, чтобы въ тебъ приготовить кормилицу моей старости. Ты была всегда такая больная, и я часто со слезами помышляла, прислушиваясь къ твоему бользненному дыханію, что Богъ ведеть меня умереть гдънибудь въ богадъльнъ, или пристанищъ бъдпыхъ вдовъ.... Но я не оставляла заботъ моихъ о тебъ....

 О маменька! что вамъ угодно? — Пощадите только меня.

» Скажи мнъ: что у тебя за связъ съ Вильгельмомъ?

Генріэтта поблъдпъла. Тайна, которую хранила она оть самой себя, которую закрывала всею душею своею — эта тайна вырвана была однимъ именемъ Вильгельма и брошена теперь передъ цълымъ свътомъ. Мать составляла для Генріэтты цълый свътъ; кромъ ея, она пикого и ничего

не знала. Такъ громъ ударяеть въ высокую колокольню стариннаго собора готическаго; молнія пролетаетъ сверху до низа, и башня сдругъ падаетъ въ обломкахъ.

— Связь? Маменька! какое ужасное слово вы сказали! У меня нъть никакой связи съ нимъ, клянусь....

» Не клянись, мой другь, никогда и ничемь; не забывай восьмой заповеди: » Не призовеши имени Господа твоего всуе. «

— Маменька! вы терзаете мое сердце.

»Сама очисти его, другъ мой, отъ гръха. Чъмъ л терзаю его? Гдв научилась ты такимъ словамъ? Не уже ли ты такъ прилежно вслушивалась въ стихотворческіе разсказы Вильгельма? Говори же: въдь ты его ждешь, и потому такъ неприлежно занимаешься работою, подбъгаешь въ окну, выбъгаешь изъ комнаты?

Да — произнесла дъвушка едва слышнымъ голосомъ.

Старушка замолчала. Генріэтта не смѣла взгляпуть на нее, не смѣла и заплакать, хотя слезы изъ глубины души прилились къ глазамъ ел. »Да, я этого прежде не замъчала, « ворчала старушка въ полголоса, какъ будто разговаривая сама съ собою. »Не введи насъ во искушеніе и избави насъ отъ лукаваго. — Только третьяго дня, когда въ послъдній разъ приходилъ къ намъ Вильгельмъ, мит показалось такъ страпно: онъ читалъ намъ что-то на память, о какомъ-то старинномъ рыцарт, и ты вдругъ подсказала ему нъсколько стиховъ. Когда и какъ могла ты узнать ихъ? Стало быть, вы разговаривали иногда съ нимъ потихоньку отъ меня, хоть бы и объ стихахъ? Но какъ можно имъть тайны отъ матери! Вильгельмъ показался мит такой странный — прости Господи, на-веселъ — О! я этого не думаю, но онъ такъ не хорошо глядъль на тебя... Знать наизустъ стихи... дъвушкъ...

Въ этотъ день, о которомъ говорила старушка, приходилъ Вильгельмъ, успълъ сказать Генріэттъ, что на завтра онъ пойдетъ къ директору театра съ своимъ окончаннымъ Арлиинеле, успълъ сказать ей о своихъ надеждахъ, хотълъ немедленно извъстить ее потомъ объ успъхъ. И вотъ три дня нътъ его! Върно, неудача! Что дълается теперь съ Вильгельмомъ! Гдъ онъ? И если успъхъ — не забылъ ли онъ свою Генріэтту? Нътъ! не на-веселю былъ Вильгельмъ: онъ былъ пъянъ любовью, восторгомъ, мечтами!

— Скажи, Генріэтта, что же, въ какомъ ты отношеніи съ Вильгельмомъ?

» Я люблю его, маменька — прошептала Генрізтта.

— Любинь? Да, правда, мы должны любить всякаго ближняго, какъ самого себя, а всякій человъкъ есть нашъ ближній. Но любовь любви разница. Видишь ли, мой другъ, какъ неопытность увлекаетъ насъ, и какъ премудро учреждено, чтобы дъти слушались своихъ родителей: родители замъняютъ имъ умъ и опытность. Богъ видитъ, не думала я, чтобы Вильгельмъ могъ тебъ такъ понравиться, чтобы его красныя слова увлекли тебя. Что значитъ принимать къ себъ въ домъ молодаго человъка! Подумай только: если бы люди замътили твое чувство къ Вильгельму, если бы онъ самъ замътиль его!

»Самъ замътилъ его! « Эти слова вдругъ облегчили Генріэтту, такъ, что ей показалось, будто
гора свалилась съ ел груди. »Стало быть, маменька не догадывается, что Вильгельмъ давно
знаетъ любовь мою къ нему? Она страшится,
она бранитъ меня даже и за то, что я тайно
люблю Вильгельма. Но что же заговорила бы
она, если бы знала, что я сама сказала уже
Вильгельму о любви моей; что онъ осмълился
поцъловать меня, два, нътъ — три раза; что онъ
прибъжалъ однажды ко миъ подъ окно ночью,

и — я отворяла ему ферточку; даже въ кирхъонъ
мнъ говорилъ о любви своей, и я не пъла молитвъ
— не молилась вовсе . . . Боже! что дълала я?

Но, прошу поладить съ дочерьми - дъвушками! Вы думаете, будто Генріэтта, считая преступленіемъ все, что нозволяла Вильгельму: и поцълуй, и то, что она отворяла форточку въ окнъ, и то, что онъ разговаривалъ съ нею о любви въ кирхъ и она забывала молиться въ это время, и то даже, что она слушала его разговоры и пожимала ему руку, и все это скрывая отъ матери — вы думаете: она ужасалась теперь этихъ преступленій?

— Нътъ! она странимась, она трепетала при мысли: если бы все это знала маменька, ттобы сказала она за Знаете ми, что если бы мать начала спрашивать ее подробно, Генріэтта — будь что пи будеть — все сказала бы ей, все ръшительно Но Генріэтта во глубинъ души молила Бога, чтобы матери не пришло въ голову подробно разспращивать ее. Странная противоположность человъческихъ дъйствій: мы готовы на позволеніе себъ того или другаго, и — скоръе умремъ, нежели скажемъ людямъ: я сдълаль то, или другое! Что это значить: противоположность условій нашей жизни съ при-

родою? Или ты правъ, Руссо? Отаитянка ходить нагая, обнимаеть мужчину, приводить его къ отцу и говорить: »Отець! онъ супругъ мой! « и не краснъеть отъ своихъ словъ, отъ своего поступка. Дикарь крадеть у васъ вещь, приходить и говорить: »Я просиль у тебя этого; ты мнт не даль: я украль у тебя; теперь это мое — возьми же себъ, что угодно отъ меня въ замъну. « Чукча соглашается убить чужеземца, и говорить сму: »Товарищи положили тебя убить, и взять у тебя воть эту водку и этотъ табакъ; ты проживешь у меня три дня, пока я не могу выдать тебя, какъ гостя; будь весель — вотъ тебъ моя жена и дочь; не бойся: чрезъ три дня я самъ убью тебя, а другимъ убить не позволю! «

Скажете-ли, что мы, Европейцы, добродьтельнье, чище нравами этихъ полу-звърей, потому, что паша дъвушка скоръе умреть, нежели скажеть о поцълув, украдкою сорванномъ съ ел ротика, пока мать заглядълась въ сторону? Но душа этой дъвушки чиста, какъ ключъ нагорной воды. Что скажете объ Европейцъ, который умреть, но не откроетъ того, что сильно кипъю въ душъ его, въ чемъ признавался онъ самъ себъ передъ судомъ совъсти? Но онъ добродътеленъ и чистъ душою, какъ весеннее небо.

Не здъсь ли противоръчіе приличій, изобрътенныхъ Человъкомъ, и страстей, втиснутыхъ въ душу Природою; условій, выдуманныхъ людьми, и неволи дъйствій, какія вложила въ сердце человъка природа? — Дочь Брамина съ ума сойдеть, если вътеръ сорветь съ нея покрывало при мужчинъ; и что сдълали бы наши дъвушки, если бы надобно было имъ являться на баль полураздитыми, какъ являлись ихъ маменьки въ 1801 году!

Но - къ чему разсужденія? - Не отдавая отчета самой себъ въ томъ, велико или мало было преступленіе, Генріэтта трепетала теперь только одного, чтобы мать не узнала тайны ея вполнъ. Я готовъ поклясться вамъ за невинность и чистоту души и сердца этой очаровательной дъвушки; но видите ли вы тынь облаковь на ея душв и сердць? Она скрываеть, притворяется, плачеть, слушая наставленія и совъты матери — и что еще такое сдълала она! — А между тъмъ, отказывается ли отъ своихъ преступленій Генріэтта? Даеть ли себъ объщаніе отречься отъ Вильгельма и любви его? Нъть! на эту минуту это, по крайней мъръ, не приходить ей въ голову - не придетъ и потомъ. И всъ совъты и наставленія пролетьли, какъ

вътерокъ на поверхности озера; и страсти, прикипъвшія къ душть, цълы во глубинть сердца, какъ чудовища озерныя, скрытыя зеркальною его поверхностью....

Страсти, страсти! будьте вы самыл чистыя и святыя — вы все чудовища! Но что мы безъ васъ? Воздухъ безъ азота, земля безъ океана, небо безъ бурь и грома, свътъ безъ тъни.... Человъкъ задохнется, умретъ отъ свъта, жажды и духоты — безъ страстей. Блаженъ факиръ, соединившій ихъ всъ на кончинъ своего носа; но за то онъ съ ума сходитъ, смотря на свой носъ!....

Тяжко дышала Гепріэтта. Еще никогда душа ея не знала до сихъ поръ такого страшнаго испытанія. Въ первый разъ увидъла она въ матери своей грознаго судно совъсти; въ первый разъ она начала отдавать самой себъ отчеть въ своихъ дълахъ. Любовь, безотчетно сливавинаяся съ ея душею, какъ воздухъ сливается съ нашимъ дыханіемъ пезамътно, вдругъ отдълилась отъ нея, слилась въ какой-то темный образъ, и этотъ образъ принималъ всъ черты Вильгельма, говорилъ ей пламеннымъ его языкомъ, глядълъ его свътлыми глазами. «Опъ пе я, по я безъ него также не полное я! Безъ него чего-то не достаеть душть моей, и что, и кто замънить мить эту неполноту бытіл? « Не такъ высказывала себъ тайную мысль свою Гепріэтта, но такова была ел мысль. Начало всъхъ философскихъ формулъ найдемъ въ первой мысли, въ первомъ словъ ребенка; всъ измъненія и переходы страстей уже скрыты въ первомъ впечатльніи сердца дъвушки и юноши, которые не смъють поглядъть прямо другъ на друга. Наполеонъ, защищая отъ товарищей свою кръпость въ Бріеннскомъ училищъ, былъ уже Наполеономъ, которому потомъ нъгдъ было улечься, когда опъ хотъль спокойно отдохнуть на земномъ шаръ.

Но души юныя мягки какъ воскъ, готовы принять всъ измъненія, которыя даеть имъ рука художника. Если бы всъ отцы и матери были Кановами и Микель-Анджелами для дътей своихъ, и умъли вылъпливать души ихъ въ превосходныя формы... Наставленія и совъты — форма на душу дътскую.

Мать Генріэтты — такъ честолюбивъ человькъ! — прежде всего довольна была тъмъ, что угадала тайну дочери. Нъсколько времени молчала она, думая: »Да, видно, что насъ не

проведуть, старыхь людей; мы-таки знаемь все, какъ ни хитрять они, эти молодые люди!«

Потомъ — опять проклятое честолюбіе! — ей хотълось выказать все свое красноръчіе, всю свою мудрость. Если бы люди думали только убъдить сердце и душу другихъ, они не говорили бы много и красно. Не уже ли вы не видите, что, разглагольствуя красноръчиво, человъкъ хочетъ, прежде всего, доказать, какъ онъ самъ уменъ, какъ хорошо понимаетъ онъ то, что говоритъ? Да, да, именно: спросите самихъ себя, и послъ того повърьте мои слова чъмъ угодно, начиная съ совътовъ матери дочери до Филиппикъ говоруна Цицерона.

И притомъ, какъ *пе умпеноте* говорить моди! Доказывать вредъ чего нибудь, когда это уже сдѣлано; говорить о себѣ, когда человѣкъ не только не думаетъ о другихъ, но забываетъ и самого себя; доказывать ему чужимъ умомъ, когда его собственный умъ погибъ передъ страстью! Мы всѣ мудрецы и философы, когда рѣчь о другихъ; мы всѣ дураки и невѣжды, когда пачинается рѣчь о самихъ насъ.

Генріэтта, мылый другь! обними меня;
 если ты страдаешь — будемъ страдать вмъстъ:
 вдвоемъ легче; если Вильгельмъ достоинъ люб-

ви твоей — онъ будетъ твой; но не увлекайся своею любовью: позволь мнъ быть *твоимъ* умомъ — ты будь *моимъ* сердцемъ.

Такъ говориль бы я, и обняль бы Генріэтту, и плакаль бы вмъсть съ нею, и святая, чистая любовь Вильгельма соединилась бы съ нами на счастье жизни, или она убъжала бы съ трепетомъ отъ насъ, если бы на ней отразился хоть немного туманъ грубой, земной страсти. — Но что говорила мать Генріетты?

- Генріэтта! можеть быть, ты не понимаещь вполнъ опасности, какой подвергала себя своею безразсудною любовыю. Люди совствъ не такъ хороши, какъ они кажутся, и повърь, что многіе скоръе порадуются погибели своего ближняго, нежели счастью его. Твой такой возрасть теперь, что тебъ особенно надобно осторожнъе вести себя съ мужчинами. Мужчины, другъ мой, удивительныя Божін творенія. Извъстно, что самъ Господь благословилъ союзъ первыхъ людей, и опредълилъ женщинъ быть подругою мужчины. И при благословеніи Божіемъ повельно даже »оставить человьку отца и мать и прилъпиться къ мужу, или жень, « и быть имъ за единаго человъка. Но дьяволъ разсъваеть плевелы между пшеницею, и пока

мужчина не обвънчанъ съ тобою, его надобно болться, какъ огня; быть съ нимъ въжливою, учтивою, но знать, что изъ сорока дъвушекъ мужчина тридцать девять обманеть, а женится только на сороковой, и то, когда увидитъ, что ее обмануть не въ состояни.

»Но какъ же они обманывають? И развъ я знаю какихъ нибудь мужчинъ? И будто Вильгельмъ такой же, какъ другіе?«

Все это готова была сказать Генріэтта, но молчала.

— Люди, мой другь, если замътлть одинъ нескромный взглядь твой, то ужъ готовы подумать Богъ знаетъ что. Каждое слово твое перетолкують, каждое движение пересудять.

»Мои подруги такъ откровенно говорять между собою, и всъ онъ такія добрыя!« думала Генріэтта.

— Не надобно никого грубостью оскорблять, разумъется, мужчинъ также. Они могутъ имътъ честныя намъренія. Но кто имъетъ честныя намъренія, тотъ прежде всего поговоритъ съ матерью, и дочь сама не будеть знать, что подъть нея сидитъ женихъ, и испытываетъ ея сердце, умъ, воспитаніе, даже то, можетъ ли она быть доброю матерью и хозяйкою.

»Какъ: хитрить, испытывать, думать о хозлиствь, когда онъ не знаеть еще люблю ли я его? Сходиться недовърчиво, какъ будто два злодъя, которые боятся другь друга, но по неволь осуждены жить вмъстъ? Если всъ люди таковы, какъ не отдать моей души Вильгельму: онъ одинт на таковъ, какъ всъ! — думала Генріэтта.

- Я увърена въ честности и благонравіи Вильгельма. Человькъ онъ молодой, добрый, умный, и изъ него можеть выйдти человъкъ весьма хорошій. Но онъ еще такъ молодъ, безразсуденъ, и притомъ я такъ мало знаю его состояніе, даже и то, къ чему онь себя назначаетъ. Мать его была мив хорощо знакома, лъть двадцать тому, когда мужъ ел жиль здъсь. Посль того они увхали отсюда. Куда не нравится мнъ, что Вильгельмъ занимается этимъ стихотворствомъ, этимъ пустымъ деломъ, которое мой покойный Готтлибъ называль нехлюбною глупостью! Воть а никогда еще не разсказывала тебь подробно о томъ, какъ сватался за меня твой покойный отець... Кстати теперь

И премудро расчитала старушка, что тро-

Бульи, о томъ, какъ увидълъ ее Готтлибъ, какъ старался войдти въ домъ отца ея, какъ ходилъ къ нимъ потомъ два года, какъ черезъ дядю своего объяснялся съ отцомъ, какъ, ему положено было испытание еще на годъ, и прочее и прочее — что все это будетъ полезно для дочери. Она колебалась только: все ли подробно надобно разсказывать? Были обстоятельства, напримеръ, что Готтлибъ ходилъ мимо дома отца ея, и она всегда являлась у окна, когда проходиль опъ; что однажды онъ осмълился поклониться ей, и - она ему поклонилась, Когда онъ явился после сего къ нимъ, она увильла въ немъ знакомаго незнакомца, и покрасивла, забыла ему поклониться; мать начала бранить ее за неловкость; она хорошо понимала, что это происходить не отъ неловкости, но не сказала матери. Должно ли все это разсказывать Генріэтть? Утанть - гръхъ, да и не хотется, потому что это - то и составляло для старушки всю прелесть воспоминанія, а не то, какъ уговаривалъ ее пасторъ быть доброю женою, и дядя узнаваль, что Готтлибъ въ самомъ дълъ былъ не шалунъ, не негодяй. И такъ надобно разсказать все? Но если разсказать все это, то куда же двиутся преблагоразумные совъты 1^ч зоученія старушки?

Право, не зна ю, какъ ръшила для себя такое затруднение в чть Генріэтты, только она котъла уже приняться за разсказъ свой, и придумала превосходные вы юды объ обязанностяхъ человъка, дочерей къ малерямъ, сыновей къ отцамъ. Этимъ хотъла старушка увънчать разсказъ свой, и потомъ предписать подробныя правила для дочери. Но — Человъкъ предполагаетъ, а располагаетъ Судьба. Едва только произнесла она:

»Случилось это, другъ мой, назадъ тому льтъ «... Дверь быстро растворилась — вошелъ Вильгельмъ.

На этотъ разъ съ объихъ стеронъ было что-

Прежде Вильгельмъ почти всегда былъ замъченъ еще до прихода своего: Генріэттъ почти всегда слугалось стоять подлъ окошка, и видъть, какъ опъ идетъ по улицъ. И потомъ, всегда почти, она говаривала матери своей: »Кажется, маменька, это г-нъ Рейхенбахъ идетъ къ намъ?« И ласковое: Willkommen, sey willkommen (добро пожаловать)! встръчало гостя. И гость останавливался еще на порогъ дверей; не ръдко, ніутя, стучаль онъ потиходьку въ двери, ожидая, что ихъ отворить Генрот та, что по крайней мъръ она приготовится встрътить его своимъ милымъ взоромъ. Потомъ онт, шелъ прямо къ старушкъ, съ скромнымъ, р тупленнымъ взоромъ, нъловаль ел руку, какъ удто не замъчал Генріэт-Почтительно кланялся онъ посль этого Генрізтть, и она обыкновенно спышила подать ему стуль; Вильтельмъ съ извиненіями бросалел за нею, но Генріэтта всегда успъвала взяться за спинку/стула рукою. Туть была важная выгода: Вильгельмь, стараясь отнять стуль, бряль его за спинку тамъ, гдъ была ручка Генріэтты, и усптваль пожать милую ручку Генріэтты, успъваль притомъ сказать ей шопотомъ: »Антелъ, милый другъ мой!« даже просто: »Генріэтта!« Этого было довольно; выраженіе годоса заміняло слова. Послі того Генріэтта уступала ему завоеванный имъ стуль; Вильгельмъ опять становился къ пей невнимательнымъ, придвигался къ столику, и заводилъ безкопечный разговоръ съ матерью:

Теперь все это шло совсъмъ не такъ, какъ бывало прежде.

Вильгельмъ могъ предполагать, что въ течеціе трехъ дней ждаль его кто нибудь; но, какъ будто на зло ему, ни нарочно, пи случайно никто не поглядъть, какъ ѣхалъ онъ по улицѣ да, онъ юхалъ, и въ прелестномъ маленькомъ кабріолетѣ — и иикто его не видалъ, то есть, его не видала Генріэтта, а до другихъ что ему за дъло! Никто и не привътствовалъ Вильгельма, когда онъ вошелъ въ комнату: старушка занималась шитьемъ и важно говорила съ дочерью; Генріэтта занималась шитьемъ и не говорила ничего.

Правда, и Вильгельмъ явился не по прежнему. Лицо сто было пламенное, глаза пылающіє; казалось, что демонь какой-то засѣлъ въ его сердцѣ и тянетъ къ себѣ всѣ жилы, такъ, что бъдпал кровь не знаетъ куда ей дѣваться, бурлитъ, бѣжитъ, кипитъ. Вильгельмъ быстро растворилъ дверъ, почти вбѣжалъ въ комнату.

На него съ изумленіемъ оглянулась посль этого старушка; Генріэтта не оглянулась вовсе. Вильгельмъ остановился: ему показалось, будто на него пахнуло холодомъ.

»А! г-нъ Рейхенбахъ! какъ это вы забрались къ намъ, въ нашу далекую сторону?« сказала мать хладнокровно.

Неловко поклонился Вильгельмъ, и думаль:

» Не уже ли меня всегда такъ встръчали? Кажется, что нъть!

»Просимъ садиться, г-нъ Рейхенбахъ!«

Генріэтта не спѣшила итти за стуломъ. Она сидъла неподвижно. Молча Вильгельмъ взялся за стулъ — прежде, вотъ на этой спинкъ всегда находилъ онъ ручку Генріэтты . . . Мрачно придвинулъ онъ стулъ свой къ столику. Генріэтта отодвинулась отъ него, ближе къ матери, и украдкою поглядъла на мать, какъ будто говоря: »Маменька! прикажите, что мнѣ теперь дълать? «

- Ну, какъ вы поживаете, г-нъ Рейхенбахъ?
 Впрочемъ, мы еще недавно видълись съ вами.
 - »Здоровы ли вы, г-жа Шульце?«
 - Слава Богу! :
 - »А вы, милая Гепріэтта?«
- Здорова. Она пробормотала это слово сквозь зубы, и не глядъла на Вильгельма. Мать толкнула ее потихоньку. »Что хочетъ сказать миъ маменька? « думала Генріэтта. »Не понимаю! «

Иногда на умныхъ людей находить ужасная непонятливость.

»Онъ здоровы. Что же значить какая - то странпая холодность, или печаль ихъ? Ахъ! ес-

ли бы теперь была имъ какая пибудь нужда, и я могь бы пособить имъ? « думалъ Вильгельмъ.

— Какова погода, г-нъ Рейхенбахъ? — спросила старушка.

»Я что-то не замътилъ, « отвъчалъ Вильгельмъ.

-- Какъ: не замптили?

»Извините, г-жа Шульце: что такое я вамъ сказалъ?

— Я спрашивала у васъ о погодъ, а вы отвъчали, что не замътили се.

»Въ самомъ дълъ? « Вплытельмъ усмъхнулся. »Признаюсь, г-жа Шульце, что я отвъчалъ очень глупо.

— Ничего: маленькая разсъянность. Это со всякимъ случается. Вотъ еще недавно вздумалось мнъ итти къ старой знакомкъ, совътницъ Шницеръ-Памеръ....

» Боже великій! « думалъ Вильгельмъ — »что это такое! «

Хотите ли знать, отъ чего такъ странно, необыкновенно вбъжаль въ комнату Вильгельмъ?

Въ эти три дня, пока не видался съ Генріэттою, онъ успълъ перемънить свой чердакъ на небольшую, прелестную квартиру въ лучшей части города; превосходно обмеблировалъ ее; лучшій портной замъниль его платье прекраснымъ моднымъ платьемъ; деньгамъ не видно было конца, мечты были еще безконечнъе: слава, любовь, счастье, Генріэтта. На другой день послъ переселенія, директоръ театра прислаль ему на новоселье дорогой сервизъ, самъ завернулъ посътить его. Поэты и привычные гости директора успъли отнять у него цълое утро. И Вильгельмъ совству не замътилъ въ нихъ ни глупости, ни ничтожества: онъ видълъ людей страстныхъ къ поэзіи, къ театру, умныхъ наемнымъ умомъ, ловкихъ условною въжливостью! въ первый разъ въ жизни съ нимъ говорили о литературъ, о поэзіи, сказывали ему всь литературныя тайны. Все это, какъ новость, имъетъ прелесть, неизяснимую для юнаго литератора. Въ газеть успъло явиться литературное извъстіе городоваго Жоффруа, что спектакли начнутся новою оригинальною трагедію, твореніемъ юнаго поэта; что онъ, Жоффруа, слышаль ел чтеніе и поздравляеть публику съ новымъ превосходнымъ явленіемъ; что онъ надвется подарить публику отрывкомъ изъ трагедіи, ибо юный поэтъ, конечно, позволить ему украсить этимь его листы. Знаете ли, какое непостижимое очарование заключено въ печатномъ объявлении вашего имени, когда въ первый разъ видите вы свое имя въ печати? О! тутъ кажется вамъ, что каждая буква пляшеть, какъ Дервини подъ дудку Виландова Оберона, кажется, что они играютъ съ вами въ анаграму, становятся одна на мъсто другой, передвигаются, сдвигаются, колдують о вашей будущности... Нъть! никогда не стану я говорить юношь: »не печатайте вашего имени, пока не станете писать хорошо!« -Я скажу ему: »печатай, дитя мое, и нужды нътъ, что ты пишешь вздоръ, печатай пока молодъ, и гляди по цълымъ часамъ на подпись своего имени; такихъ минутъ немпого въ жизни; дорожи ими! — Для печатанья есть также разочарованіе, какъ для поцелуя любей, какъ для всего другаго въ міръ. И когда вы станете писать хорошо, когда не только имя ваше внесуть въ Словари и Исторіи Литературы, но даже выскажуть всъ глупыя подробности вашей жизни — върьте, что тогда весьма неръдко вы со вздохомъ вспомните слова царя Соломона о суеть мірской. Не говорю о дуракахъ и дурныхъ писакахъ - не объ нихъ ръчь: они также бывають счастливы, печатая до самой смерти, какъ счастливъ бываеть глупець съ

Ч. Т.

своею нельною женою, проживши 20-ть льть и радуясь на изсколько неопрятных дуралеевь, которыхъ прижилъ съ своею супругою въ эти 20-ть льть.

Ла, Вильгельмъ испыталь наслаждение: видьть имя свое въ печати. И отъ всего, отъ всего такъ полна была душа его, что переполнилась и хлынула черезъ край. — »Къ Генріэтть!« вскричаль онь - »Посль докончу все, съ чемь хотьлось бы мнъ явиться къ ней. Три дия ждеть она - върно ждеть, и горюеть, и не знаеть, что сдълалось съ моимъ Арминіемъ! Бъгу къ ней, скажу: »вивать, Арминій побъдиль! И я разскажу ей все, все! И чего мнъ ждать еще: я потребую Генріэтты у ея доброй матери... Какъ только пережить мнь то мгновеніе, когда я упаду къ ногамъ этой старушки, и Генріэтта, раскраснъвшись, стыдясь, любя, не смъя говорить, не смъя молчать, упадеть въ мон объятія!... Голова кружилась у Вильгельма; въ глазахъ у него становилось темно... Онъ велълъ подать кабріолеть, небрежно одълся, побъжаль изъ комнаты, и вдругъ остановился: »Если ихъ нътъ теперь дома? Не послать ли къ нимъ спросить? - Нетъ! онъ дома!... Опять остановился Вильгельмъ: »Какъ

начать? Приготовить ли имъ нечаянное изумленіе, вдругь потребовавь отъ матери руки Генріэтты? или прежде говорить о неожиданномъ успъхъ Арминія. Велилій Боже! только бы не задохнуться отъ счастья близъ порога жилища Генріэттина, только бы перешатнуть черезъ этоть порогъ, и умереть уже потомъ, устремляя послъдній взоръ на моего ангела Генріэтту!

Бъги, спъни, мечтатель! тебя встрътили вопросомъ о петодъ, о здоровъъ, и въ доказательство, что разсъянность бываетъ со всякимъ, начали разсказывать о г-жъ Шницеръ-Памеръ! А онъ боялся умереть онъ восторга, и теперь сидитъ подлъ столика, и барабанитъ пальцами марнъ терпънно...

Воля ваша, мм. гг., Судьба иногда безжалостно шутить съ людьми!

А опа, эта Генріэтта, молчить, какъ Судьба. Все безотвътно.

— Г-жа Шульце, почтенная, милая г-жа Шульце — сказаль наконець задумчиво Вильгельмъ, перебивая разсказъ старушки о разсъянности г-жи Шницеръ-Памеръ.

Старушка терпъть не могла, когда перебивали ел разсказы. Вильгельмъ въ другой разъ попадалъ сегодия въ эту бъду: онъ перебилъ своимъ приходомъ важный разсказъ о сватовствъ Готтлиба; теперь самовольно нарушаетъ другой, хотя и не столь любопытный, но также разсказъ. Первое можно было простить, какъ нечаянность; но чъмъ извинить второе, явное нарушение порядка разговоровъ!

»Ну, что же, погтенный, милый, е-нг Рейхенбахт? « повторила она слова Вильгельма съ досадою, видя, что Вильгельмъ остановился.

— Не нозволите ли вы миъ прочитать вамъ одно письмо, которое писалъ я сегодня, и еще пе кончилъ?

»Я боюсь читать чужія письма.« Право, старушка не была такою своенравною и сердитою, какою хотьла показаться; но воть что дълаеть досада!

Вы не повърите, какъ эти немногія слова опечалили Вильгельма. Сердиться опъ не могъ...

— Чунсія! — повториль онъ. — До сихъ поръ я осмъливался думать, г-жа Шульце, будто я не вовсе вамъ чужой... унымо проговорилъ Вильгельмъ, и не зналъ, что прибавить еще.

Старушкъ стало совъстно. »За что я оскорбляю этого бъднаго молодаго человъка? « подумала опа, и желая скрыть свое смущеніе, паклонилась къ своей работъ.

Между ею и Вильгельмомъ билось въ это время одно сердце — сильно билось опо, но не смъло говорить, не знало даже, надобно ли ему говорить. У этого сердца были на стражъ два проворные глаза, и чьи глаза Любовь не научаетъ говорить безъ словъ! Сердце это чувствовало, что теперь надобно бы утъщить бъднаго Вильгельма, хоть какимъ нибудь безмольнымъ словомъ. Глазки тихо подглядъли то мгновеніе, когда старушка наклонилась къ своей работъ, и быстро оборотились въ это мгновеніе на Вильгельма. Боже мой! ихъ взоръ встрътился со взоромъ Вильгельма, и чего не высказаль ему этотъ бъглый, тайный, грустный, умоляющій взоръ!

»Вильгельмъ! « говорилъ онъ — не сердись на мою добрую маменьку.

»Ты не чужой, ты родной ей и мнъ, и больше нежели родной: л люблю тебя!

»Скажи: зачъмъ не быль ты у насъ три дня, и какъ тебъ не совъстно, милый Вильгельмъ!

»Говори же, говори скоръе: что твой Apминій? «

И будто все это высказаль одинг взоръ, про-

должавшийся одно мгновеніе? Увъряю васъ въ этомъ, потому что все это понялъ и выразумъль Вильгельмъ. Если одна каракулька Египетскаго обелиска могла высказывать Кирхеру цълыя строки смысла, и на одну черту Брамы не достаетъ цълой жизни размышленія Индійскихъ философовъ, почему взору любви, участія, состраданія не высказать всего, что нашель въ немъ Вильгельмъ?

И чего стоиль Генріэтть этоть взорь! Сколько надобно было смілости рышиться на него, искусства скрыть его оть матери, жизни — выразить имъ все, чего не уміла бы сказать Генріэтта продолжительнымъ разговоромя!

И этотъ взоръ оживилъ, утъщилъ Вильгельма, возвратилъ ему всъ его радости, расплатился съ нимъ за всю грусть, за всю досаду. Онъ опять былъ тотъ же Вильгельмъ, который спъщилъ къ Генріэттъ отъ избытка сердца, отъ того, что ему надобно было подълиться жизнью съ Генріэттою.

А мы съ такимъ безчувствіемъ смотримъ на глаза человъческіе, на этотъ обломокъ неба на землъ; мы такъ безразсудно расточаемъ наши взоры на ничтожество бытія, на мелкость жизни, насъ окружающую. Блаженъ сберегающій

взоры свои для неба, для любви, для одного прекраснаго!

— Сударыня! — сказаль Вильгельмъ, и голось его выражаль и тонкую насмышку, и чтото сердечнос, такъ что полное выражение его
походило на брань, которую ласково говорить
мать, называя сына своего дураткомъ, маленькимъ шалуномъ, несноснымъ забілкою... Милая, почтенная г-жа Шульце! Если я самъ хочу читать вамъ мое письмо, не значить ли это,
что вы не будете знать его украдкою отъ меня, противъ моей воли? Я хочу слышать ваше мнъне, просить вашего совъта — будьте
добры, будьте такъ ласковы...

»Какое же это письмо, Вильгельмь?«...Старушка забыла уже о словь: *гузной*, и о томь, что называла Вильгельма *г-мг Рейхенбахомг*. Право, она была такая добрая...

— Вы услышите.

»Къ кому же оно?

— Къ моей матери.

Да, Вильгельмъ ръшился прочитать письмо, которое писаль онъ къ матери поутру и не успълъ кончитъ. Одъваясь, онъ положилъ въ карманъ сюртука своего — вы будете смъяться надъ Вильгельмомъ? — положилъ листокъ

газеты, гдь Жоффруа ихъ города писаль объ его трагедін. Письмо къ матери лежало подль листка, на столъ. »И его возьму я съ собою - и когда буду говорить съ Генріэттою, пусть сердце мое будеть закрыто священнымъ именемъ маменьки моей!« — Такова была мысль Вильгельма. — Но когда его встрътили такъ холодно, когда неожиданный пріемъ вдругъ застудилъ всв восторги въ душв его, всв слова на его губахъ, и онъ не зналъ, что теперь начать ему говорить — сердцу Вильгельма сдълалось тяжко, больно. Онъ взялся рукою за свое сердце, и подъ рукою своею ощупалъ письмо, которое положиль въ карманъ сюртука. » Мать моя! будь моимъ вдохновеніемъ, благослови меня въ эту минуту! твоя душа услышить мою душу, отзовется ей, если правда, что для души не существуеть пространство! — Я прочту имъ, что писаль къ тебъ«...

 Къ вашей матушкъ? О! я всегда уважала ее — сказала старушка.

»Вы полюбите ее, когда узнаете ближе, полюбите, если позволите мнъ говорить вамъ объ ней, объ этой обожаемой мною, драгоцънной для меня матери; позволите сказать вамъ все, чъмъ я обязанъ ей, что она дълала для меня; цълой жизни моей педостаточно для заплаты ей за любовь ко мнъ.

Съ жаромъ говориль это Вильгельмъ; у старушки наверпулись слезы; Генріэтта, не боясь болье ничего, подняла на Вильгельма глаза и смотръла на него полнымъ выраженіемъ любын. » Нътъ! я не могу не любить человъка, который такъ говоритъ о своей матери! « готова была сказать она, если бы мать ея ръшилась опять напоминать ей объ осторожномъ поведении, о скрытности съ мужчинами.

Вильгельмъ вынуль письмо, развернулъ и читалъ:
"Давно, милый единственный другъ мой, мать мол добрая! я не писалъ къ вамъ, и не отвъчалъ вамъ даже на два послъднія письма ваши.
Что сталъ бы я писать? Что я здоровъ? Но отъ чего быть миъ больному? — Что я счастливъ? Нътъ! я солгалъ бы вамъ! А писать, что жизнь мол, бъдная жизнь моя протекаетъ въ работъ, изсушающей душу и сердце, въ угнетающихъ педостаткахъ, въ глупыхъ мечтахъ и надеждахъ несбыточныхъ — для чего говорить вамъ обо всемъ этомъ, для чего терзать сердце ваше? Пустъ лучше мучится оно неизвъстностью о судьбъ моей, нежели извъстностью о несчасти. Скажу вамъ откровенно, ми-

лая маменька, что въ послъднее время обстоятельства мои дошли до величайшей крайности: работа миъ опротивъла, бъдность угнетала меня; всъ средства были истощены, безжалостные книгопродавцы, жалуясь на педостатокъ денегъ, на упадокъ торговли, едва давали миъ на пропитаніе за мою работу; уроки мои шли худо, потому что разстроенная голова моя не могла миъ помогать въ этой ничтожной работъ; чувствуя всю безполезность монхъ уроковъ, во всъхъ отношеніяхъ, я возненавидъль глупое занятіе учителя. Между тъмъ, я задолжалъ...

— Г-нъ Рейхенбахъ! не уже ли въ самомъ дъль вы были въ такомъ состояния?« воскликнула мать Генріэтты, отчасти сердитымъ, отчасти укоряющимъ голосомъ.

— Да, г-жа Шульце.

» Какъ же было не сказать мнъ? Не уже ли у меня не нашлось бы нъсколькихъ талеровъ...

— Подать мит милостыню? — спросиль, улыбаясь, Вильгельмь.

» Милостыню — можно ли! « воскликнула Генріэтта невольно.

Есть какое-то тайное паслажденіе даже увеличивать въ глазахъ другихъ бъдствіе и погръщность свою, если мы увърены, что бъдствіе прошло, а погръщность исправлена. Это наслаждение испытываль теперь Вильгельмъ.

— Какъ же иначе, милая, добрая Генріэтта? И что сказали бы вы мпѣ, г-жа Шульце, если бы я тогда открылъ вамъ весъ ужасъ моего положенія? Вы видъли бы во мпѣ безумнаго шалуна, жалкаго бѣдняка...

»Но теперь дъла ваши?« спрашивала старушка, забывая спросить о причинъ крайности, до которой доведенъ былъ Вильгельмъ.

— Вы увидите. »Между тъмъ я задолжалъ, и не видълъ средствъ выплатить....

»Какъ же это можно? г-нъ Рейхенбахъ...

— Мив надобно было пить и всть — отвычаль Вильгельмъ съ горького улыбкого. Глаза Генріэтты были полны слезъ. »И онъ мив ничего не говориль! « думала она — »и еще притворялся такимъ веселымъ, счастливымъ «....

Несправедливая! близъ тебя опъ точно бываль весель и счастливъ, въ самыя ужасныя минуты своего бытія!

»Предчувствую упрекъ вашъ, милый другъ, маменька: не уже ли онъ могъ забыть въ это время, что у него есть мать; что она готова раздвлить съ нимъ последній кусокъ хлеба и всякую горесть! — Нетъ! не обвиняйте меня:

у меня оставался драгоцівный талисмань, данный мив вами противь отчаянія: это была Впра, крыпкая, безсмертная выра, что Богь не попускаеть быдствію до конца; что никто еще не видаль дитей праведника прослицих хлюба подъ окномь людей немилосердыхь; что отець мой, праведникь въ небесных селеніяхь, блюдеть сына своего на земль, видить его и благословляеть; что Богь не лишить меня радости быть утьхою вашею въ преклонныхъ вашихъ льтахъ. И посль ссго я не хотъль отягчить своею горестью и безъ того тяжелой жизни вашей.

— Вильгельмъ! такія чувства дѣлаютъ вамъ честь — сказала старушка, стараясь скрыть свое чувство. Генріэтта едва переводила дыханіе.

»Честь? Я не думаль объ ней, « сказаль Вильгельмъ.

Молчаніе. Онъ началь снова читать.

- »И еще была у меня, подруга-утышительница, неоставлявшая меня....
- Не уже ли дочь моя? »Не уже ли я?« вдругъ подумали старушка и Генріэтта. »Ради Бога, скоръе, скоръе« готова была воскликнуть Генріэтта.

»Эта подруга была ча неистребимая страсть къ Поэзін, милая маменька, та страсть, которая увлекла меня отъ занятій, предназначаемыхъ мив рожденіемъ; увлекла отъ васъ, заставила другихъ говорить, что вы потворствуете мнъ, что я погибну, пропаду отъ вашего излишняго снисхожденія къ моей вътренности. Она отвратила меня потомъ отъ ученья въ университеть, и заставила меня жить здысь, въ удаленіи отъ васъ и отъ всего міра, на чердакъ, питаясь почти хлъбомъ и водою, и уносясь въ міръ мечтаній. Вы неоднократно спрашивали меня въ письмахъ: пишу ли я еще стихи? Вы повърили мнъ, что я стараюсь приготовиться ученьемъ къ выполненію обязанностей мосй жизни. Вы думали, что подъ этимъ словомъ я разумълъ приготовление себя къ какому нибудь званію, должности? Нъть! назначеніемъ жизни моей почиталь я $\it \Pi$ оэзію, и не обманываль вась. На вопросъ вашь о стихахъ — я молчалъ. »Пишу ли еще стихи!« А ихъ только и писаль я, и все остальное считаль я ничтожнымъ, постороннимъ, и все ученье устремляль къ одному - Поэзіи! Я пережиль много съ того времени, какъ разстался съ вами, пережиль въка... Но, простите меня, милая маменька! я не стану говорить вамъ о томъ, чего не поймемъ мы другъ въ другъ: вамъ душа моя, вамъ сердце мое; но о томъ, что почиталъ я назначеніемъ жизни, о мечтательномъ
бытіи мосмъ въ міръ, недоступномъ для каждаго пепоэта — позвольте мнъ молчать... Тысячи плановъ, тысячи предпріятій, неудачъ оскорбленій, сознаніе въ своемъ ничтожествъ,
терзали, радовали, мучили меня, дълали блаженнымъ, дълали несчастиъйщимъ изъ людей.
Весь міръ, вся жизнь поглощены были для меня міромъ безумія и мудрости, звуковъ и словъ
— міромъ, вселенною Поэзіи.... я не существовалъ для другаго«....

Пламенно читаль все это Вильгельмъ, и взоръ его обхватываль въ одно время письмо и лица Генріэтты и матери: душа смотръла его глазами — она дальновидна; и Вильгельмъ видълъ участіе старушки, трепетъ Генріэтты, пока читаль о своемъ вещественномъ бытіи, о своей доброй матери. Но когда онъ перешель въ міръ своего поэтическаго бытія, взоръ его замѣтилъ, что выраженіе лица Гепріэтты и матери ея вдругъ измѣнилось. Онъ положилъ письмо на столъ, и съ удивленіемъ смотрѣлъ на нихъ.

Старушка казалась строгою и смущенною. Генріэтта побльдньла. И ясно прочиталь Вильгельмъ на лицъ первой досаду, сожальніе, даже какое-то чувство оскорбительнаго презрънія; на лицъ другой — печаль, глубокую печаль, которая поднялась изъ сердца, и выразилась въ физіономіи, незнающей науки скрывать свое чувство.

Переведемъ это на понятный языкъ.

»Такъ онъ безумный стихотворецъ, бъдный сочинитель, занимающийся ие хлибиою елупостью, по словамъ моего Готтлиба? Такъ отъ
этого происходили и бъдность его, и бездъльство,
и крайность, и то, что онъ пенавидълъ полезныя занятія учителя, порицалъ университеты
и ученье? И вотъ, только-что попалъ онъ на
своего конька, такъ и поскакалъ Богъ въдастъ
куда! Правда, онъ добрый сынъ; да что доброта
безъ ума? А умъ и стихотворство, — сума нищаго, всегдашняя вывъска ихъ....

Такъ думала мать Генріэтты.

»Обманцикъ! Не онъ ли увърялъ меня, что я была его вдохновеніемъ, что вся жизнь, все бытіе его принадлежатъ мнъ? И что жетеперьговорить онъ? Когда онъ упомянулъ о подругъ — сердце сказало мнъ, что это была я, и — въ

первый разъ оно обмануло меня! Что мнь въ его поэзін! Что ему до меня, если онъ съ первымъ дыханіемъ отданъ этой проклятой поэзін! Я не понимаю того, что говорить онъ; и если онъ весь принадлежить ей, и не довъряетъ тайнъ души своей даже своей матери, повърить ли ихъ бъдному уму бъдной дъвушки....

Генріэтта! на что умъ? Генріэтта! никто не понимаєть этого таинственнаго міра: его только гувствують... Не обвиняй Вильгельма! Поэзія сго живеть, дышить тобою; для него преобразилась она въ тебя: ты, она — для него нераздъльны. Но Генріэтта ничего не слушаєть!

— Простите маленькой мечтательности, г-жа Шульце — сказаль Вильгельмь. Вижу, что здъсь надобно пропустить мнв нѣсколько строкъ. — Старушка, молча, наклонила голову. Вильгельмъ разсѣянно искаль въ письмѣ: гдѣ опять вступаеть онъ въ міръ вещественный, нскаль и не находиль. Жизнь и Поэзія разсорились въ немъ, разорвали его бытіе; голосъ его потеряль увлекательное свое выраженіе. Онъ хотъль вступить въ этотъ вещественный міръ поэтомъ побъдителемъ, и долженъ быль начать вещественными выгодами, какія доставила ему поэзія.

Больно? А вы еще хотпте, чтобы Поэзіл была дружна съ Жизнію!

»Наконецъ, мой *Арминій* быль кончень, и представиль его въ дирекцію театра....

— Позвольте, г-нъ Рейхенбахъ: что это за Арминій? — спросила старушка съ любопытствомъ.

»Трагедія, которую наконець успѣль скропать я« — сухо отвъчаль Вильгельмъ, пораженный прозою вопроса.

— Трагедія! Но дня три тому, вы читали намъ прекрасные стихи объ Арминів, храбромъ рыцарв, который разбилъ Римское войско, и такъ сильно любилъ свою — не знаю, баронессу или принцессу Веледу?

Генріэтта покраснъла. Ей досадны были вопросы матери, которая не знала грознаго Арминія, и думала, что Германія съ начала міра была населена баронами. Глаза Генріэтты обратились на Вильгельма, но въ нихъ видно было уже одно доброе участіє; они говорили ему: » я чужая тооей Поэзін и твоему Арминію; но скажи однакожъ, что сдълалось съ нимъ? « Только это, и тихую печаль, готовую радоваться даже и гумсему счастью, видълъ и понялъ Вильгельмъ.

»Это была моя трагедія « — отвычаль онъ на вопросъ старушки.

— Такъ вы написали трагедію? Да это, говорять, дъло не маленькое, весьма важное. И ваша трагедія хороша? Какъ, напримъръ, она противъ Коцебу, или....

»Объ этомъ должны судить другіе «... Скоро и неразборчиво, съ нетерпъніемъ, досадою, опять началь читать Вильгельмь: »Порадуйтесь, милая маменька, благословите мой успъхъ: онъ неожиданный, блестящій! Не говорю о выгодахъ жизни; но онъ оправдалъ мою увъренность въ самомъ себъ: съ восторгомъ слушали чтенје моего Арминія г-нъ директоръ театра, лучніе артисты, литераторы, бывшіе у него; меня осыпаютъ похвалами; говорятъ, что нослъ Шиллера ничего не видала Германія подобнаго; самый лестный отзывъ напечатанъ былъ въ здышней газеть; публика ждеть съ нетерпъніемъ, когда дадутъ мою трагедію. Если бы я въ половину върилъ похваламъ, то ихъ достаточно бъ было ослепить меня. Признаюсь въ слабости: это радуетъ меня; и когда вчера прошелъ я нечаянно по гулянью, и вокругъ меня шептали, повторяли имя мое, имя вашего сына, маменька --

когда я слышаль слова: поэтг — прекрасно — Арминій....

Весело подняла голову старушка. — Поздравляю васъ, г-нъ Рейхенбахъ, сердечно поздравляю!

» Состояніе мое вдругь и совершенно перемънилось. Мнъ выдали за *Арминія* единовременно 2000 талеровъ

— Двъ тысячи, г-нъ Рейхенбахъ!

»Кромь того предлагають бенефисъ, или 10-й процентъ, считая съ 21-го представленія, въ теченіе трехъ льтъ. Директоръ просиль еще меня принять званіе переводчика при театръ, и сказалъ, что г-нъ вице - суперъ - директоръ, баронъ фонъ-Калькопфъ желаетъ меня видъть, и готовъ сдълать для меня все, что только можетъ....

— Его Высокопревосходительство, Баронъ фонъ-Калькопфъ? Да, чего не можеть онъ? — Работа выпала изъ рукъ старушки.

»Обо мнъ говорили при дворъ, на большомъ праздникъ, который давалъ Его Свътлость въ загородномъ домъ своемъ Монбижу, и Его Свътлость изъявилъ свое желаніе читать мою трагедію, и хотъль даже назначить день для представленія его высокой особъ

Генріэтта была бльдна, неподвижна. Старушка хлопнула руками, успъвъ только выговорить: »Его Свътлость!«...

Вильгельмъ положилъ письмо на столъ, и съ горестью думалъ: »Такъ вотъ что приводитъ ихъ въ восторгъ! Она готова была назвать меня сумасшедшимъ негодяемъ, а теперь готова кланяться мнъ.... И это мать Генріэтты!

Все, и досады, и размышленіе, и чтеніе, прервано было кашлемъ за дверью; дверь отворилась; г-жа Шницерь-Памеръ, любимая, почетная гостья и знакомка г-жи Шульце, предстала своею высокою и худою совътническою особою. При видъ ея, г-жа Шульце забыла Вильгельма, и Арминія, и Его Свътлость.

» Ахъ! г-жа совътница!

— Ахъ! моя почтенная г-жа Шульце! Насилу дотащилась я къ вамъ....

»Ръдкая, нежданная гостья!

— Почтенная, любезная г-жа Шульце!

Старухи цъловались. Гепріэтта низко присъла, стоя подлѣ матери, вытерпъла прикосновеніе двухъ костяныхъ губъ къ своимъ розовымъ губкамъ, и, какъ будто забывши о Вильгельмъ, спросила у матери: »Маменька! прикажете приготовить кофе?« — Да, поскоръе, поскоръе И безъ цикорію — тихо прибавила она. — Какъ молнія мелькнула Генріэтта изъ комнаты и сильно хлопнула дверью.

» Ахъ! « вырвалось изъ устъ г - жи совътницы.

Извините: это вътренница моя, Этхенъ побъжала....

»У меня такъ ужасно разстроены нервы, г-жа Шульце; всякій стукъ меня пугастъ; всъ двери у меня смазывають масломъ, и служанки ходять въ чулкахъ, чтобы не стучать башмаками....

- Извините.

»Помилуйте, да что за бъда! Въдь молодость не заставить ходить тихо — и мы въ старое время прыгали, а не сходили съ лъстницъ....

— Правда, правда, г-жа совътница! Но что ваша почтенная племяница?

»Сейчасъ отъ нея. Знаете, ръдко выходя изъ дома, я собираю вдругъ много дълъ: и родныхъ посьтить, и друзей старыхъ повидать (старушки кланяются другъ другу) и дъла пообдълать. Да, что! Моя племянница плохо меня слушается, почтенная г-жа Шульце, плохо, очень плохо. Вотъ я вамъ сказывала уже, что было у меня съ нею двъ недъли тому....

Только туть, обводя глазами, чтобы узнать:

нътъ ли лишнихъ людей, и чтобы не проговориться между этими лишними людьми, совътница увидъла Вильгельма, вспомнила, что этотъ неизвъстный молодой человъкъ ей не поклонился, и испытующимъ взоромъ обглядъла его съ ногъ до головы. Потомъ оборотилась она съ такою миною къ г-жъ Шульце, что лицо ея представило собою вопросительный знакъ? —

» А, позвольте мнъ порекомендоватъ вамъ, г-жа совътница, очень любезнаго молодаго человъка, сына моей старой знакомки, г-на Рейхенбаха....

- Фонг-Рейхенбаха?
- »Нътъ! батюшка его былъ богатый капиталистъ, какъ мой Готтлибъ.
 - Былъ. Такъ, г-жа Шульце. А его милость?
 »Опъ сочинитель, и недавно весьма хорошо написалъ трагедію одну.
- Такъ, г-жа Шульце. И взоръ совътницы опять выразилъ вопросъ: что же онъ, женихъ вашей дочки?

» Его Высокопревосходительство, г-нъ баронъ Калькопоъ отмънно милостивъ къ г-ну Рейхенбаху.

— Его Высокопревосходительство! — Совътница оправилась. — Знаменитый вельможа! Онъ быль въ большой пріязни съ моимъ покойнымъ

Совътникомъ; управляль тогда.... Если бы моему покойному Совътнику не помъщала бользнь, онъ былъ бы теперь.... Мнъ пріятно, г-нъ Рейхенбахъ.... Позвольте мнъ....

И совътница надулась и отвернулась отъ него. Не только не кланялся при входъ ея Вильгельмъ, но и теперь стоялъ въ сторонъ, кусалъ погти, не слыхалъ, какъ она начинала съ нимъ говорить.

Испуганная гивьомъ совітницы, г-жа Шульце громко заговорила съ Вильгельмомъ. » Г-нъ Рейхенбахъ! что вы задумались? Г-жа Совътница фонъ-Шницеръ-Памеръ вамъ кланяется.

Вильгельмъ опомнился, и съ изумленіемъ смотрълъ на совътницу.

»Извините, г-жа совътница — ласково, въ полголоса, сказала г-жа Шульце — въдь онъ сочинитель!

Въ переводъ, это значило: онъ немножко сумасшедний.

Совътница была довольна извиненіемъ, и съ видомъ состраданія и снисхожденія обратилась къ Вильгельму, который вспомпилъ наконецъ, что надобно поклониться, и потомъ сълъ на стулъ, сложа руки на груди.

[—] Скажите, г-нъ Рейхенбахъ — вотъ вы сами

сочинитель: что это вы нынѣ, г-да сочинители, не сочинлете Геллертовыхъ басенъ? Право, такая бѣда: нечего дѣтямъ учитъ; съ малолътства вытвердятъ Геллертовы басни наизустъ, еще грамотъ не зная, а потомъ и не за что взяться, когда они примутся за настоящее ученье.

Советнице, какъ умной женщине, хотелось завести *литературный* разговоръ. Умный человекъ тотчасъ пойметъ, чемъ можетъ доказать умъ свой.

»Въ этомъ виповаты, сударыня, наши дамы, отвъчалъ насмъщливо Вильгельмъ. »Для чего не угодно имъ родить хоть по одному Геллерту въ годъ? Они родятъ только г-дъ совътниковъ, г-дъ рекетмейстеровъ, интендантовъ, и другихъ чиновныхъ особъ. «

Совътница, въ изумленіи, оборотилась къ матери Генріэтты. »Прекрасное время, сказала она — »какъ много гуляющихъ; думаю отправиться на булль-пратеръ « Это значило: съ вашимъ сочинителемъ не стоитъ терять время!

— Какъ, г-жа совътница? Вы уже хотите итти!

»Я боюсь помѣщать вашей бесьдь съ почтепнымъ вашимъ гостемъ.

АББАДДОННА.

сочинение

николая полеваго.

Toutes les pages de la vie humaine sont dignes d'être lues. Le sage nous instruit, le gai nous amuse, l'imprudent nous enseigne ce qu'il faut éviter, l'absurde nous guérit du spleen.

Каждая из страниць человтеской жизни достойна быть прогитанною. Ульная наугаеть нась; веселая забавляеть; безразсудная изъясняеть намь, чего надобно избъгать; нельпаявылечиваеть нась оть сплина.

издание второе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ. 1840.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тъмъ, чтобы по отпечатапін представлено было въ Ценсурный Комитеть узаконенное число экземпляровъ. Москва. Іюня 9 дня 1839 года.

Ценсоръ и Кавалеръ И. Снегиревъ.

АББАДДОННА.

часть п.

... He that plays the king, shall be welcome; his majesty shall have tribute of me: the adventurous knight shall use his foil, and target, the lover shall not sigh gratis; the humorous man shall end his part in peace; the clown shall make those laugh, whose lungs are tickled o'th'sere; and the lady shall say her mind freely, or the blank verse shall halt for't. — What players are they?...

Hamlet, Act. II, scene 2.

... Игранощій роли Королевскіл — добро пожаловать: готовь принять Его Милость; и странствующій рыцарь найдеть работу своему конью, своему мену; любовникь будеть вздыхать не даромь; весельгаку — свобода доигрить ролю свою до конца; шуть смыши, а любовница высказывай всю свою душу — сколько позволять эти нельные стихи. — Да, гто это за актеры.

(Гамлеть) Шекспиръ.

авваддошна.

ГЛАВА І.

Новая квартира Вильгельма была такая веселая, такая милая; окна изъ его комнаты отворялись въ цвътникъ; все было вокругъ него такъ чисто, опрятно, свътло, уютно. Маленькая гостиная, маленькій кабинеть съ каминомъ, диванъ, кресла, зеркало — игрушки! Но не уже ли только дъти любять игрушки?

Что же? Какъ онъ грустенъ, бъдный Вильгельмъ! Долго вечеромъ сидълъ онъ, облокотясь на окошко и безъ мыслей глядя въ цвътникъ; безпокоенъ послъ того былъ сонъ его; рано проснулся онъ. — Осенняя, туманиая погода стояла на дворъ.

»Какъ странно — думалъ Вильгельмъ —

одинъ ли разъ бывало на моемъ бъдномъ чердакъ, что я возвращался домой промокшій до костей, не зная есть ли у меня крейцеръ въ карманъ на завтрашній день, и — я бываль счастливъ и доволенъ, потому что возвращался от Генріэтты, просидъвъ съ нею вечеръ! И въ чемъ проходилъ этотъ вечеръ? Иногда не удавалось мнв сказать съ нею ии одного слова; но она была түтэ, взглядывала на меня, когда я говориль съ ея матерыю, и мать ничего не понимала изъ моихъ словъ, но все понимала она, тогда мол Генріэтта. Какъ свътлълась тогда передо мною моя будущность, какою яркою зарею радости горълъ тогда востокъ моей жизни! — Правда, никогда не бывалъ я счастливъ вполнъ: тучи грустныхъ помышленій облекали собою зарю мою; существенность моя была такъ бъдна... Но солнцемъ сіяло тогда передо много вдали одно, и въ этомъ одномъ были всв блага земли и неба: Генріэтта твоя! Ищи славы для любви, върь любви для славы. Любовь! она исчезла дымомъ, едва вихрь извъстности началъ расправлять мои крылья. А слава? Не уже ли я ступиль уже на ен скользкую дорогу? Бъдна же слава, если она такъ мало наполняеть собою душу.

Моя душа не полна, одинока, запустъла. Гдъ высокое самосознание генія, какое долженъ онъ ощущать при взглядъ па свои творенія? Гдъ увъренность въ силахъ на будущіе подвиги? Арминій мой, чемъ больше смотрю на него, представляется мив какою-то пыткою ума, чемъ-то мозаическимъ, систематическимъ. Онъ не вылетьль изъ груди моей, какъ вздохъ по небу, какъ привыть любви вылетаеть изъ груди человъка! Міръ будущихъ созданій тъснится передо мною; но какъ они нелсны, темны, какъ мелки и ничтожны! Все чужое въ нихъ, все было сказано прежде меня. Что это? Крошки послъ роскошной трапезы Шекспировъ и Гёте; въ нихъ одно усиле: стараться не писать такт, какъ писали они, великіе - вотъ все, до чего старается теперь достигнуть умъ человъка. И отъ чего быть ему самобытнымъ? Нашъ въкъ — монета, истертая употребленіемъ, обръзанная, вытравленная Жидами и мъновщиками. Мы сами родимся холодно, систематически; мы плачемъ въ нашей колыбели, а не производимъ звуковъ гармоническихъ. Пчелы не летають нынъ на уста младенца-поэта съ своимъ медомъ: гдв отыскать имъ колыбель его въ нашихъ городахъ! Только любовь могма бы еще воспламенять поэта на созданія чудныя... Но гдъ искать ее?... О Генріэтта!

Бъдный Вильгельмъ разссорился съ міромъ и со всъмъ, что есть въ міръ, разссорившись съ самимъ собою.

- Но, не уже ли искать любви для вдохновеній и покупать вдохновеніе на любовь?
- Подарите ее мнъ, и геній мой затрепецетъ крыльями отъ ея нежданнаго прикосновенія.
- Чъмъ я виноватъ передъ тобою, Генріэтта? Не ты ли обольстила меня своею душею и заковала меня въ цъпи? Мнъ не разорвать ихъ!
 - Но что такое говорила она?

Каждое слово Генріэтты старался онъ привести себь на память, какъ ученикъ заданные уроки. Какъ взвъшиваль онъ ся каждое слово, какъ отыскиваль онъ двоякій смысль въ каждомъ изъ нихъ...

— Мы не рождены понимать другь друга, сказала она, и она боится, что половина моего бытіл принадлежить Поэзіи. Ты хочешь одна владьть мною? Да, это ревность, Генріэтта?... Могло ли такое чувство внъдриться въ твою душу? Нъть довъренности, пъть любви. Не уже ли и ты эсенщина...?

Что разумьть Вильгельмъ подъ этимъ словомъ — не знаю; кажется, что-то оскорби-

тельное; но зналь ли онъ женщинь? Къ сожальнію, есть слова, которымъ люди придаютъ извъстное значеніе, хотя не объяснили еще для себя сихъ словъ, и употребляютъ ихъ столь неопредъленно, что они похожи на ръку, по которой плаваетъ все, что вамъ угодно. Всъ говорятъ: эсенщина, и не видятъ, что это слово гізроглифъ, многозначительнъе Мемоисскаго скарабел.

- Я самъ не понимаю, чего хочеть теперь душа моя! воскликнуль Вильгельмъ. Пойду, вырву моего Арминія у людей, брошу его передъ Генріэттою, подамъ ей руку, уведу ее къ своей матери, и тамъ, заработывая хлъбъ тяжкимъ трудомъ, топоромъ, лопатою, буду спрашивать ее каждый день: Генріэтта! довольна ли ты? Видишь: я не поэтъ больше; я каменьщикъ, я мощу улицы, рублю дрова.
- И все погибнеть, что хранилось здъсь? Онь указаль на грудь.
- Пойду къ ней, буду хладнокровенъ, буду разсуждать съ нею, докажу ей, какъ она несправедлива, вымъняю ея душу на свою.
- Стало быть, сердце ничего не говорить ей! Стало быть, она ничтожная кукла, какъ всъ другія? Ей надобно растолковать, что такое значить любить, и потомъ съ титуломъ

почтеннаго, умнаго человъка записаться въ ел счастливые супруги? А если бы я былъ тотъ же Вильгельмъ, только сумасшедшій: она съ ужасомъ убъжала бы отъ меня! А если бы я разлюбиль ее, терзалъ, вмъсто награды за ея любовь, сдълалъ ее бъдного невольницею своей страсти — она перестала бы любить меня!

- Перестать любить! Какъ глупо связываются иногда слова, и сколько земнаго въ языкъ человъческомъ, если мы можемъ выражать словами такія отвратительныя нельпости: перестать любить...
- Ахъ! только вчера замътиль я, какъ глупа и ничтожна мать ел! Какое корыстолюбіе обнаружила она, услышавь о ничтожныхъ выгодахъ, которыя доставиль мнв *Арминій*... А въдь Генріэтта догь ел?
- Боже! воскликнуль Вильгельмъ, складывая руки и поднимая глаза къ небу прости мнъ тяжкій гръхъ: я усомнился въ небесномь происхожденіи моей Генріэтты; я забыль, что это ангель души и сердца... Въ прахъ предъ нею все... полно размышлять... Генріэтта! я иду къ тебъ, и на кольияхъ буду слушать, что ты мнъ скажешь... Ты или погубишь меня, или воскресишь: я брошусь въ

міръ и погибну, забывал тебя, или уйду къ матери — плакать вмъстъ съ нею... мать не отвергнетъ меня...

Но, мы не будемъ пересказывать всего, что передумалъ самъ съ собою Вильгельмъ: онъ былъ поэтъ, молодъ, любилъ — проснулся такъ рано.

Время пролетало неприметно. Уже было довольно поздно. — Явились Вейссе и Шпейеръ, издатель городской литературной газеты, объявившій о будущемъ появленіи Арминія, и еще какое-то сухое, вытянутое созданіе.

— Рекомендуемъ вамъ, г-нъ Рейхенбахъ, г-на Федеръ-Фриссена, изыскателя древностей и почтеннаго археолога.

»Я радъ.

— Онъ имъетъ къ вамъ большое дъло.

»Ко мнъ?

— Да, м. г., позвольте мив отнестись къ вамъ съ покорною просьбою. Я составляю Словарь всъхъ писателей нашего государства, и надътось, что вы сообщите мив вашу біографію, роспись вашихъ сочиненій, если можно, экземпляры всего, что вы напечатали...

»Но, помилуйте, что я за важная особа, чтобы меня надобно включать въ Словарь вашъ?

— Мив нвтъ никакой надобности важенъ ли кто или нвтъ; я собираю имена всъхъ, кто хоть что-нибудь писалъ и печаталъ въ нашемъ отечествъ, много ли, мало ли, худо ли, хоро-що ли — все равно. Я не критикъ, я лексико-графъ и библюграфъ.

»Мнѣ казалось бы, что въ Словарь вашъ надобно записывать что-нибудь замвчательное.

— Это не мое двло. Пусть судять и разбирають другіе: я только собираю, и могу сказать, что мой трудь въ этомъ отношеніи превзойдеть все, что только подобнаго было предпринимаемо въ Германіи. Всв наши Словари такъ неполны; библіографіи у насъ почти нътъ. Въ послъднемъ изданіи Словаря современныхъ писателей, изданнаго Дупельшнепомъ, пропущено однихъ нашихъ соотечественниковъ 32 человъка!

»Я не думалъ, чтобы столько всего набралось у насъ писателей.

— Какъ это можно! По моему счету, у насъ печатающихъ на сей годъ 394, и всъ они въ прошломъ году напечатали круглымъ счетомъ $2986\frac{3}{4}$ листа, не считая обвертокъ.

»А многое ли изъ этого доживетъ до потомства? — Это слово: *потомство*, слишкомъ пеопредъленно. Мы ищемъ только опредъленнаго и положительнаго, м. г. —

9 что жь посль этого?

— Изслъдованіе истины.

»Зеркала ея, хотите вы сказать, которое бросила она на землю, улетая въ небо, и которое мы находимъ кусочками.

— Прекрасная мысль! — Сухощавое твореніе выняло книжечку и стало записывать.

»Что вы записываете, м. г.?

— Ваше остроумное слово: я, знаете, составляю маленькій Словарь остроть и апофоегмъ Нъмецкихъ. Это все пригодится. Изъ трудовъ нашихъ составятся потомъ Словари общіе изъ Словарей общихъ Исторіи, Географіи, Статистики. Другіе занимаются въ то же время извлеченіемъ выводовъ и таблицами вычисленій; третьи основываютъ на этомъ философическіе выводы о духъ, правахъ народовъ, состояніи Философіи, наукъ, ходъ Человъчества.

»Не уже ли изъ этого?

— Да, м. г., и потому-то всего важнье точность и върность первоначальной обдълки. Не вившиваясь въ отвлеченныя теоріи, я самъ сочиниль нъсколько таблицъ, которыя имъль

удовольствіе видьть въ Энциклопедіи Іохера и Криница.

»Кажется, нъкоторыя изъ нихъ относятся къ Политической Экономіи, а другія къ Исторіи образованія Германіи? « важно спросиль его Вейссе.

— Да, м. г. — Въ одной вычислиль я количество масла, сожигаемаго у насъ въ фонаряхъ уличныхъ, и вывелъ расчетъ излишка противъ Парижа, руководствулсь таблицами г-на Шаброля; а потомъ, соображая по вычетамъ Мейера, долготу дня и ночи въ разныхъ климатахъ, я сообразилъ, сколько, принимая извъстную степень свъта и толщину свътильни, выйдетъ масла въ Миланъ, Генуъ, Базелъ...

Вельгельмъ улыбнулся. Вейссе продолжаль: »Помнится, вы также привели въ таблицы успъхи образованности въ разныхъ частяхъ Европы?

— Работалъ долго, да матеріяловъ нътъ, а такъ поверхностию считать, какъ Monsieur Дюпенъ, я не хочу. Нътъ! возьмите-ка мои таблицы печатанія книгъ въ Германіи: я исчислиль и доказалъ положительно, что въ Мейнингенъ выходитъ въ годъ по $3\frac{5}{16}$ печатныхъ листа на обитателя, и что если бы кто пибудъ читалъ ежедневно въ теченіе 24 часовъ, про-

износя каждую секунду по одному слову, то могь бы прочесть книги, объявленныя на паскальной Лейпцигской ярмаркт, вт 79 льть, 5 мъсяцевъ и 17 дней; далье, дълая посылку къ
жизни разныхъ званій, я доказаль, что изъ
числа книгъ, выходящихъ ежегодно въ Германіи, должно оставаться непрочитанными 4892
книги — Хе! вотъ, м. г., вычеты — вотъ таблицы! Числа правять міроль; Нътъ, нътъ!
словамь я не втрю — подавай мнъ цифры.

«Это очень любопытно.

— Не просто любопытно, а чрезвычайно важно. Я, напримъръ, доказалъ Вольфово предположение объ Омиръ математически. Вопросъ: существовалъ ли Омиръ? Хорошо! Беру посылку по числу написаннаго славнъйшими поэтами; расчитываю восторгъ каждаго по числу лътъ; дълаю вычетъ ни — говорливости поэтической. Что же? Выходитъ, что написать Иліаду и Одиссею Омиру надобно было 272 года, 5 мъсяцевъ и 6 дней. Егдо, с'est évident: Смиръ не существовалъ.

»Какъ? восторгъ поэта вы подвели подъ вычеть математическій?

 Да въдь поэтъ человъкъ? Опъ не можетъ болъе того, что силы человъка позволяютъ. Я соображаль импровизацію Скриччи, какъ данное, а за тъмъ... Но, извините, мит пъкогда: скоро ли могу я, г-нъ Рейхенбахъ, получить вашу біографію?

» Я не знаю...

— Во вторникъ являюсь къ вамъ. Простите! У меня всъ часы расчислены по таблицамъ Франклина и Жульена.

»Куда вы теперь? « спросиль Вейссе.

- Ко вдовъ нашего покойнаго поэта, столь рано похищеннаго смертію у Музъ и Знаній, г-на Чибчика. Она объщала сыскать его метрику. Вообразите: у Криница на счеть его ошибокъ бездна! Сказано, будто онъ родился въ Нейдорфъ, близъ Хемница, а онъ родился въ Альтдорфъ; отецъ его назывался будто бы Іоаннъ Фридрихъ, а онъ назывался Фридрихъ Эристь; первая ода его принцу Липпе-Детмольдскому поднесена была будто бы 16 іюня 1793-го, а она была уже напечатана 16 октабря 1792 года. Et voila comme on écrit l'histoire! - Потомъ забъту къ человъку: объщалъ достать мив каталогь Михайловской ярмарки 1779 года, безъ перепечатаннаго 81-го листа, на которомъ поставлено изданіе Готшедовой Грамматики, уничтоженное авторомъ и невышедшее въ свътъ, въ слъдствіе чего изъ всъхъ

экземпляровъ каталога выдранъ былъ листокъ, гдъ упоминается объ этомъ изданіи — какая важная находка!

Онъ ушелъ. Вейссе и Шпейеръ, важно сидъвшіе по угламъ, громко захохотали, когда Вильгельмъ печально началъ говорить имъ: « Господа! это убиваетъ меня! Воображеніе поэта въ графахъ — наука изъ этихъ мелочей даръ Божій, умъ употреблять на очищеніе грязи съ мостовой знанія! О, погибните лучше всъ глупости, которыя мы пишемъ и печатаемъ, нежели быть имъ сохраненными Федеръ-Фриссенами, когда современникамъ нъкогда прочитать ихъ, а потомству не стоитъ помнить объ нихъ!... Семьдесятъ девять лътъ прочитать вышедшее въ одну ярмарку... И тутъ Гёте и Чибчикъ....

Вильгельмъ изумился, видя, что его собесъдники хохочутъ. »Шутите вы нашимъ археологомъ! « сказалъ Шпейеръ — »Его пыль повернула голову поэта ... Федеръ - Фриссенъ, просто, дуракъ, хоть онъ и членъ пяти академій, корреспондентъ Бальби, сотрудникъ Криница... Не уже ли, милый поэтъ, вы думаете найдти въ ученыхъ что нибудь другое, кромъ поэнаній и славы Федеръ - Фриссеновъ? Вотъ вы, поэ-

ты, творите, а они только лижуть пыль съ твореній. И все во благо, все хоромо: надобпы зодчіе, надобны и плотники....

И будто это познанія, это литература!
 Господа, это несносно — перестанемъ писать!

»Переставайте, « сказалъ Шпейеръ, »только прежде дайте мнъ отрывочекъ изъ вашего *Ар- минія* въ завтрашній нумеръ.

Ахъ, г-нъ Шпейеръ! я такъ недоволенъ
 имъ — не знаю, что выбрать.

» Что нибудь, любсзный поэть! не бойтесь; въдь въ газетъ прочтуть и забудутъ, пока вы издадите вполнъ; переправляйте потомъ, какъ вамъ угодно.

— Но мив хотвлось бы на пробу вамъ чтопибудь хорошее....

»Приготовьте лучше это къ моему альманаху, г-нъ Рейхенбахъ, « сказалъ Вейссе. »Я ръшительно начинаю печатать его черезъ двъ недъли.

- Развъ есть столько матеріяловъ?

»Какъ же, и какихъ еще! Будетъ портретъ барона Калькопфа — дорого проситъ этотъ проклятый Стеффенсъ, да дълать печего — заглавный гравированный листокъ.... имена преромкія: Гоффманъ, Гёте, Шиллеръ, Жанъ-Поль....

— Не уже ли ихъ неизвъстныя сочиненія? »Да, до сихъ поръ нигдъ не напечатанныя: записка Гёте къ Шиллеру при посымкъ сыру, 5 строкъ; отмътка Шиллера о дорожномъ бъльъ, какое взялъ онъ съ собою, ъхавши изъ Іены въ Веймаръ въ 1798-мъ году; росписка Гоффмана въ выпитыхъ имъ у погребщика пяти бутылкахъ вина — прелестная шутка, пиестъ стиховъ; я самъ заплатилъ за нее два талера! Жанъ-Полева выписка изъ Аугсбургской Газеты, съ припиской....

— Какой припиской?

»Онъ прибавилъ въ концъ: » Что за глупость! « И потомъ его же рукою написано: »Проба пера, « и еще: »Дуракъ, глупецъ.» Видно, что онъ пробовалъ перо: я приложу факъ-симиле съ этой бумажки.

»И это будеть альманахъ вашъ, т-нъ Вейс-

— Да; а стиховъ и прозы дъвать некуда? Дайте мит что нибудь, любезный поэтъ: ваше участіе необходимо. Въдь у васъ, думаю, запасъ порядочный всякой всячины! — вчера досталь я драгоцъплость: стихи покойнаго князя къ г-жъ Клеронъ.

» Хороши?

— Французскія и — нельпость! Важно имя, и въдь посль этого можно будеть поднести князю, а Его Съътлость, хоть не прочтеть, да дасть что нибудь: онъ такой покровитель просвъщенія....

»Будемъ откровенны, г-нъ Вейссе: если вамъ падобны имена, на что же мои стихи?

— При именахъ надобно что-нибудь и хорошее, для тъхъ, которые читаютъ и не даютъ перстней и табакерокъ. Не все записки Шиллеровъ, да стихи князей....

» Полно, альманачникъ! « вскричалъ, засмъявнись, Шпейеръ — стихи г-на Рейхенбаха тебъ надобны такъ же для его имени, какъ и записка Гете о сыръ. Что тутъ толковать въдь мы своя братья, литературщина: объ васъ говорятъ теперь, толкуютъ, разсуждаютъ, г-нъ Рейхенбахъ, и альманачникъ ловитъ любопытство публики вами, какъ рыбу червячкомъ.

— Но, господа, что толковать обо мнв? — съ невольною улыбкой самодовольствія сказаль Вильгельмъ — я еще ничего не сдълаль, обо мнв еще ничего не знають?

»Помилуйте, это къ чему? Тутъ всякій дълаеть свое дьло. Директоръ ищеть добраго сбора, и самая новость — трагедія, оригинальнал, въ Германскомъ духъ, съ именемъ Армиміл, съ Берлихингенскимъ окончаніемъ — уже
приманка сильнал. Вотъ директоръ и трубить
въ газеты и въ упи знатнымъ и знатокамъ, а
имъ не объ чемъ говорить — спасибо есть
предметъ для разговора. Дивятся даже и тому, что явился чудакъ, Богъ знаетъ откуда, и
высидълъ на чердакъ трагедно. Будетъ она
хороша — прекрасно; будетъ дурна — посмъются и забудутъ объ ней и объ васъ. Журналамъ надобно покричать объ ней; альманачникамъ пощипать ее; актерамъ показать новые костюмы; директору прибавить дохода —

— А миъ?

»Ну вамъ слава. Только надобно поступить половиће. На вашемъ мъсть я казался бы теперь дикаремъ, ничего незнающимъ, угрюмымъ, молчаливымъ, ничему неучившимся; жаловался бы на бъдствія, горести, испытанныя мною съ самыхъ юныхъ льтъ; издалъ свою трагедію съ огромнымъ предисловіемъ, гдѣ доказывалъ, что всѣ правила драматическія ни къ чорту не годятся, перебралъ все отъ Делиля до Виктора Гюго, строилъ какую-цибудь систему новъйшей драмы, думая о томъ только, чтобы поговорить, попумьть — шуму, пуму больше. . . .

- А потомъ?

«Потомъ двъ дороги. Съ вашею молодостно, съ вашимъ лицемъ и русыми волосами, роль Жильберта и Чаттертона вамъ чрезвычайно пристанетъ — застрълитесь, умрите — и вотъ Европейская слава, жалобы на прекрасное, рано погибшее дарованіе, опять предметъ для разговоровъ, для газєтъ; объ васъ вспомнятъ, особливо если вы не забудете при смерти оставить элегическато письма.

— Слуга покорный!

»Ну, такъ другая дорога: вамъ легко будетъ уступить дарованіе людямъ, сыскать мѣстечко потеплье; жиниться, быть сыту, потолствть, дремать въ креслахъ учсныхъ обществъ и смъяться надъ молодежью, которая будетъ читать стихи вашей юности, изъ себя выходить отъ досады, смотря на вашъ задумчивый портретъ, сиятый въ молодости и приложенный къ хорошенькому изданію іп 18, кричать: Потибъ въ свътъ, между людьми! Вотъ міръ! Вотъ люди! « и въ свою очередь мечтать, писать и оканчивать какъ всѣ другіе.

— Знаете ли, Г-нъ Шпейеръ, что ваши слова разочарують самаго злаго поэта?

"Ха, ха, ха! пора мнъ одуматься и пере-

стать шалить по вашему. Тьфу пропасть! Не уже ли вы думаете и ППпейеръ не мечталь когда нибудь, не хотълъ быть и Богъ знаетъ чъмъ? Всему сьоя череда, любезный поэтъ! Особливо, когда вы женитесь, да пойдутъ дъти, надобно будетъ припасать кофе женъ, башмаки имъ — право, забудете всякую поэзію.

— И такъ говорили и поступали Шекспиры, Расины, Софоклы?

«А не уже ли иначе? Шекспиръ писалъ отъ того, что краль оръхи, бъжаль, умираль съ голода; Расинъ отъ того, что думалъ попасть въ великіе государственные люди и угодить Помпадуръ и Ментенонъ; а безъ своихъ стиховъ могъ ли онъ попасть ко двору? Онъ быль красивый, ловкій волокита, уміль въ поэтическомъ зеркалъ предстатлять тогдашнія сплетки — Людовикъ воображалъ себя героемъ его трагедій, а Расинъ себя великимъ человъкомъ. Людовикъ сказалъ ему наконецъ, что онъ дуракъ, и всъ стихи Расиновы лопнули. Софоклъ? Не знаю объ немъ ничего, но за то вообще худо върю въ эту поэтическую Грецію, гдв тунелдецъ Діогенъ, изъ своей бочки, ходилъ ползать по переднимъ и прикидывался филосо-ФОМЪ; щеголь и шалунъ Алкивіадъ слылъ героемъ, а народъ, посмъявшись надъ Аристофановою комедіею о Сократъ, ходилъ посмъяться, какъ Сократъ мелетъ всякую чепуху, и Ксантиппа смачиваетъ его Философію изъ своего окошка.

Туть и Вельгельмъ захохоталь.

Послушай, Шпейеръ — сказалъ Вейссе
 ты пастоящій журналистъ, и къ вамъ повернулся изнанкой.

«Не уже ли вы хотите, чтобы я всегда стояль на ходуляхь, и въ книгахъ и между людьми? Вы оба увърены, что я говорю правду, только сами ее не говорите.

 Нътъ! я не върю вамъ — сказалъ Вильгельмъ.

»Такъ будете върпть послъ — не угодно ли о черевонцъ закладу?

— Тогда я застрѣлюсь.

»И прекрасно! Статья въ газету о новомъ Жильбертв и Чаттертонъ. Однакожъ, знаете ли, что это будеть очень глупо? Впрочемъ, сумасшедшіе необходимы въ міръ. Здѣшній свѣтъ домъ сумасшедшихъ: большая часть людей сидитъ въ каморкахъ; остальная служитъ имъ надзирателями, и сбираетъ деньги за то, что показываетъ ихъ любопытнымъ посътителямъ и щечится отъ ихъ содержанія. Но, полно о пустякахъ. Статейку мнѣ въ мой Журналъ! Въдь объщано?

— Опишите нашъ разговоръ.

»Статьи о нравахъ теперь не въ модъ.

- Но можно ли думать о стихахъ, послъ того, что вы говорили?

»Ну, пожалуй, я признаюсь, что шутиль. Не уже ли вы увърились, что и въ самомъ дъль я такъ думаю? Прочтите мысли мои объ Изящномъ въ № 53-мъ; мой разборъ новой драмы Монтгоммери; мою статью...

Вильгельмъ ходиль по комнать и думаль въ это время: «А я, глупецъ, послаль листокъ его, гдъ онъ говорить объ *Арминіи*, къ матери моей, какъ свидътельство на славу ея сына!

— Записка отъ г-на директора. — Вильгельмъ развернулъ ее. Директоръ писалъ къ нему:

«Вчера, мой мюбезный поэть, я имъль случай говорить объ васъ съ моимъ добрымъ и просвъщеннымъ меценатомъ. Что за человъкъ! Онъ нетерпъливо желаетъ васъ видъть, читалъ вашего Арминія, и въ восторть отъ васъ и отъ него. Послушайтесь добраго совъта: идите къ нему сегодня, даже теперь, немедленно —

увидите, какъ онъ приметъ васъ. Вотъ человъкъ выше своего въка. Говоря съ нимъ, забываешь его званіе — но, я виноватъ: не могу вспомнить безъ восторга объ этомъ образцъ государственныхъ людей.«

Слабъ и ничтоженъ человъкъ! Какъ обольстительно привидъніе величія и знатности! Голова Вильгельма вдругъ загорълась отъ мысли, что его зоветъ къ себъ баронъ Калькопфъ, имя котораго до сихъ поръ онъ привыкъ считать неприступнымъ.

- Вы заняты, г-нъ Рейхенбахъ? спросилъ Вейссе.
- »Признаюсь, мнъ надобно итти. Г-ну барону Колькопфу угодио меня видъть. Вильгельму едълалось немножко совъстно: въ этихъ словахъ невольно высказывалось его честолюбіе.
- Г-ну барону Калькопфу? воскликнулъ Шпейеръ. И видъ его, изъ злаго, насмышливаго, сдълался добрымъ Какъ другъ, совътую поспъщить, г-нъ Рейхенбахъ. Вотъ человъкъ!
 - »Благороденъ сказалъ Вейссе.
 - Уменъ прибавилъ Шпейеръ.

»Просвъщенъ, « домолвилъ Вейссе. »Вообразите, что, обремененный дълами, въ его лътахъ, онъ находить время читать, знаеть все современное и ему ничего не скажете новаго. Мы оставляемъ васъ... (Его къ барону! « ворчалъ Вейссе, выходя изъ комнаты).

» Объ отрывочкъ миъ не забудьте. « — Они ушли.

— Они собыотъ меня съ толку! — вскричалъ Вильгельмъ, оставшись одинъ. — Однакожъ, обо мнъ говорять, сказали-они... Этотъ добрый директоръ - какъ онъ услужливъ, какъ онъ винмателенъ! Баропъ Калькопфъ, имя котораго бывало съ такимъ благоговъніемъ произносять вокругь меня - я увижу его, не какъ проситель, не какъ чиновинкъ или знатный человъкъ... Скажите: изъ чего льстить миъ этимъ людямъ? Что вдрутъ ставить меня между ними? Не благородное ли сознание моего дарования, не уважение ли къ человъку, ничьмъ не отличенному кромъ дарованія? Знакомство съ этимъ человъкомъ, такимъ сильнымъ вельможею.... Всторону честолюбіе: сколько добра, сколько пользы могу я сдълать, если баронъ удостоитъ меня своей дружбы, если позволить мив говорить откровенно. Что потеряю я, если это не понравится ему? Не я искаль его, а онъ меня. Скромно и благородно явлюсь я между ними,

между этою знатью: онъ вельможа — я поэть! Всякому свое мъсто. Мысль о преобразовании академій и училищъ... Да ее надобно обработать, подумать надъ нею...

Ахъ Генріэтта! — щепталь Вильгельмъ, подвязывая галстухъ.

— Какой злой насмышникь этоть Шпейерь — говориль онь, надъвая жилеть. — Онь правь, однакожь. Съ этой стороны смотрыть, конечно, все вздоръ; но самь онъ не высказываеть ли себя и настоящаго взгляда въ своихъ остороумныхъ, прекрасныхъ статьяхъ, гдъ такъ живо говорить его настоящая мысль?

»Записка оть г-жи Элеоноры. Служитель подаль ее, и сказаль, что отвъта не надобно.

Съ любопытствомъ вертълъ въ рукахъ Вильгельмъ эту записочку, искусно сложенную треугольникомъ, смотрълъ на маленькую щегольскую печатку, безъ девизовъ, съ простою ръщеточкою, на подпись, написанную ловкимъ Англійскимъ почеркомъ: Monsieur Monsieur Reichenbach. Только теперь вспомнилъ онъ объ Элеоноръ.

»Да, я и забыль объ этой странной женщинь! « Нътъ, онъ только не помниль объ ней, но не забыль ее, какъ не забываютъ несбыточнаго сна, не помнять его подробностей, но всегда сохраняють въ памяти своей этотъ сонъ.

Вильгельмъ не понималъ связей безъ любви, понималь любовь только такъ, какъ она представлялась ему въ Генріэтть. Всь другія женщины посль Генріэтты не существовали для него, не существовали никакія отношенія къ нимъ. Но теперь въ первый разъ спрашиваль онъ у самого себя: что за странное впетчатлъніе сдълала на меня Элеонора? — Это не было чувство, похожее на почтеніе — онъ видълъ въ ней любовницу министра; не было желанія нравиться ей, не было впечатльніе любви. Онъ готовъ быль осудить даже самую красоту Элеоноры: красавицей для него была только Генріэтта, красавицей для него могло быть только что-нибудь милое, съ русыми волосами, съ голубыми глазами, съ чистою, невинною душею, что нибудь похожее на Генріэтту...

 И вычно Генріэтта! — Онъ съ досадой разорваль обвертку записки.

»Я надъялась, что любезный поэтъ не откажетъ мнъ въ удовольстви видъть его у меня, и готовилась сдълаться его ученицей, читая съ нимъ роль Веледы. Смъю ли напомнить объ этомъ? Надобно слышать и знать, какъ понимаетъ свое созданіе самъ творецъ его, чтобы выразить потомъ душу его, коть въ грубомъ подражаніи. Извините выраженіе: право, другаго не нашла подъ рукою. Могу ли надъяться вашего посъщенія? я всегда дома по вечерамъ, кромъ тъхъ дней, когда мон роли.

» Р. S. Нашъ вице-суперъ-директоръ желаль васъ видъть. Позвольте дружески замътить, что онъ ужасно занятъ и ужасно разсълнь. Если замътите его разсъянность, можете сказать ему, что вы тотъ сочинитель, о которомъ я имъла честь говорить съ нимъ.«

— Не хочеть ли она покровительствовать мнѣ! Она еоворила съ своимъ любимцемъ обо мнѣ, и онъ всполнить мое имя потому, что она еоворила обо лить! Ей буду я обязанъ милостью барона!

Вильгельмъ бросилъ записку. «А если я такъ мало дорожу вами, и тобой и барономъ, что не пойду къ нему? Вы оцъняете дорого моего Арминія: узнайте же, какъ далеко мы другъ отъ друга — вы и я... Что мнъ до этого за дъло....

» Не уже ли она такъ привыкла повелъвать и видъть, что все ползаетъ передъ нею? Да,

она такъ глядитъ; розговоръ ея съ добрымъ директоромъ, и эта наглая записка... Пойду къ ней, и покажу, какъ гордо смотритъ независимый поэтъ на женщину, которая...« Вильгельмъ не кончилъ своей мысли. Ему стало совъстно.

Онъ провель рукою по лбу. »Для чего разрушать всв приличія? Не итти къ барону было бы грубо. Подумають, что я въ самомъ дъль прикидываюсь Діогеномъ, какъ совътоваль мнъ Шпейеръ. Пусть все скроется подъ наружностью обыкновеннаго. Оригиналъ такъ же глупъ, какъ дуракъ.«

Онъ пошель. Сколько ни уминчайте, а все, что превосходить насъ, чъмъ бы то ин было, но превосходить, невольно заставляеть уважать себя. Я не могу смотрьть безъ какого-то уваженія даже на танцовщика по веревкъ, на Раппо, когда онъ играеть дюжиною ножей: онъ дваеть то, чего я не могу, онъ превосходить меня, и гордость моя смиряется. Какъ ни философствуйте, робость и уступка неизбъжны, когда вы приближаетесь къ чему нибудь выше васъ, въ чъмъ бы то ни было. Тъмъ сильнъе это чувство, когда предметь вашего уваженія всъ согласились считать превосходнымъ. Уничтожьте всякія отличія, и увърьте людей, что

длинный носъ есть величайшее отличіе въ міръ. И завтра же сами вы будете смотръть на длинные носы съ негольнымъ уваженіемъ, и Армяне будутъ для васъ первыми красавцами къ міръ. Дъло въ идсъ, не въ формъ. Знатность окружена огромнымъ: у нея все такъ огромно: и домы, и великольпіе. Она очень хорошо знаеть, что безъ этихъ огромностей иной захочетъ помъряться съ нею, плечомъ къ плечу, и даже найдетъ, что знатный ниже его ростомъ. Но когда опъ растягивается отъ швейцарской, черезъ свою переднюю и залу, до своего кабинета — это исполинъ, а вы карло — Мирмидонъ, затерянный въ львиной кожъ Геркулеса.

Хотите ли уберечь для самихъ себя свое достоинство? Не ходите ни въ переднюю вельможи, ни въ кладовую богача. Ни туда, нк сюда не пустятъ васъ, пока вы не сожметесь въ маленькаго человъчка, и не забудете, что и вельможа и богачъ также бываютъ ростомъ два аршина съ вершками — иногда менъе....

Сколько разъ прохаживалъ прежде Вильгельмъ мимо палатъ барона Калькопфа и равнодушно смотрълъ на огромныя колонны этихъ цалатъ, на зеркальныя ихъ окна, бархатные занавъсы, золотой гербъ съ княжескою короною. Онъ гордо ходилъ мимо, какъ будто говоря: »Здъсь живетъ первый министръ, но мнв нътъ въ немъ надобности. »Теперь онъ шель кв нелу, и Вильгельму казалось, что самыя колонны дворца баронскаго готовы сказать ему: «Прежде всего сознайся, что баронъ первый министръ государства, а ты ничтожный мъщанинъ.« Мысль: онъ вельможа, а л поэтъ — замерзла въ его душъ при другой мысли: »ты идешь къ министру, властителю милліона людей, тебъ подобныхъ. Если ты идешь къ нему, ты сознаешь свою зависимость отъ него: ты ищешь въ немъ, и не онъ къ тебъ, а ты къ нему идешь — приличія требують понравиться и угодить ему. — Атмосфера переднихъ уже въяла на Вильгельма и заражала его.

Множество каретъ у подъвзда, громадное крыльцо, множество людей съ крестами, звъздами, въ мундирахъ, на крыльцъ и въ мрихожей, великольпный швейцаръ, огромная зала, гдъ, молча, тихо стоятъ и сидятъ посътители и просители; движеніе чиновниковъ, ихъ портфели, набитые бумагами, ихъ шопотъ, ихъ двловый, занятой видъ, перспектива богато - убранныхъ комнатъ въ объ стороны, роскошь уборовъ;

всюду что-то рабольпное, безмольное, покорное кому-то одному; и этоть одинг, невидимый, таинственный, заставляющій все двигаться, шевелиться, ждать...

Приближались ли вы ко всему этому? Видали ль вы все это вблизи, не заходя за кулисы, но смотря на сцену изъ уголка передней, гдъ вамъ отводять мъстечко, менъе нежели на кладбищъ?

Улетая въ умозрънія, философы ищуть и не находять причинь: отчего обольстительны знатность и величіе, до того, что всякая твердая нога скользить и гнется на ихъ паркеть, всякая броня мудрости разсыпается въ прахъ отъ ихъ волшебнаго прикосновенія? — Пусть пойдуть они въ переднюю знатнаго человъка, пробудуть въ ней одно утро; и я увъренъ, что, возвратясь домой, теоретикъ издереть свой умозрительный трактать; и если онъ не найдеть причины въ собственной своей душь, то, по крайней мъръ, много обольстительныхъ идей улетить изъ его головы, и качая головою, онъ скажеть: бъденъ человъкъ! - И онъ прибавить къ этому вопросъ: »Не уже ли въ самомъ дълъ таковы причины? «- Хорошо: заставьте его ходить въ переднюю двв недъли, онъ не станетъ говорить о бъдности человъка, но — попроситъ должности въ передней, и будетъ увъренъ, что лучшая сторона въ міръ простирается отъ передней до кабинета вельможи.

Философъ промънялъ свою канедру на плюмажъ пера; историкъ вымънялъ званіе министра на свою Философію Исторіи. О! какъ строго судите вы ихъ! - Но, прокочуйте двъ недъли въ передней, и пусть спросять васъ: что, если бы изъ этого уголка вдругъ перебросили тебя въ святилище кабинета вельможи, куда даже и войдти тебъ такъ трудно, что ты скоръе можешь взобраться на вершину Монблана? Что если бы ты, такъ какъ ты есть, вдругь сдълался таинственнымъ кумиромъ этой передней?—Если послъ этого совъсть позволить вамъ бросить камень въ Кузена и Гизо — я позволяю вамъ бросить его прямо имъ въ лобъ. Но, берегитесь, чтобы онъ не отскочиль въ вашъ лобъ. Я не совсемъ верю системъ Азаиса, но иногда думаю, что она не совстмъ не права.

Впрочемъ, всъ мон выводы идутъ изъ разсказа о Вильгельмъ. Робко прижался онъ въ уголокъ, и его смълыя философическія и поэтическія выходки такъ улеглись въ душть его что ихъ вовсе не было слышно. Тихо стояль онь и внимательно смотрыль. Въ передней барона Калькопфа было въ этоть день полное засъдание, полная сливсь одеждз и лицг, племент, нарытій, состояній. Даже самая Поэзія явилась сюда въ лицъ Вильгельма.

Тутъ узналъ Вильгельмъ, почему столь великими почитались нъкоторые люди, неотличенные ни чиномъ, ни породою, секретари, каммердинеры, которыхъ имена произносились съ такимъ почтеніемъ въ народѣ, о которыхъ говорили, что сперва ихъ надобно просить, имъ надобно кланяться, а потомъ людямъ выше. Горделиво, въ своей стихіи плавали они здѣсь, каммердинеры, какъ хозяева, и секретари, какъ дъйствуюнція лица среди своихъ бумагъ, которыя они раскладывали, перекладывали, разбирали, отбирали, разсуждая, чъмъ должно безпоконть барона Калькопфа и чъмъ не должно его безпокоить.

«Эту просьбу вы отложите до будущаго доклада: я не хочу занимать теперь министра вздорными предложеніями человъка, который жалуется, что рейхъ-вице-контролеръ не выдаетъ ему денегъ по подряду 1789 года. Онъ можетъ подождать.

»Этотъ проекть возвратить съ надписью, что

проситель должент обратиться къ нисшимъ мъстамъ, для разсмотрвнія предварительно въ нихъ: справедливо ли мивніе его объ акцизномъ сборъ съ трубъ и окошекъ?

»Эту бумагу обратить съ надписью, что проситель утруждаеть министра не дъльнымъ прошеніемъ — объясненій ненужно.

»Это прошеніе оставить впредь до удобнъйшаго времени.

»Эту тетрадь объ улучшеній торговли и земледълія отдать обратно, съ тьмъ, чтобы проситель представилъ практическія доказательства своихъ мнъній.

Тутъ былъ Страшный Судъ всему, прежде нежели что нибудь могло достигнуть до взора и вииманія баронова. Эака, Миноса и Радаманта передней, секретарей барона, окружала толпа людей, умолявшихъ только о томъ, чтобы позволили ихъ смиреннымъ просьбамъ и прошеніямъ представиться передъ высокіе взоры баронскіе, какъ тъни въ адъ просятъ Харона, чтобы онъ только позволилъ переъхать имъ черезъ Стиксъ, не говоря уже о томъ: въ рай или въ адъ пойдутъ онъ за ръкою—только бы не скитаться по берегамъ Стикса.

II не смотря на то, что въ глазахъ всъхъ

совершалась и ръшалась участь просьбъ и прошеній, другая толпа столла съ чисто переписанными, готовыми, маленькими и большими просьбами, прошеніями, предложеніями, объясненіями, записками, дожидаясь появленія барона, и хотьла ему вручить свои бумажные запасы, которые должны были перейдти потомъ въ руки судей передней. Это походило на меледу. Но никто не думалъ объ этомъ.

Туть узналь Вильгельмъ удивительное дьло, что люди, казавинсся въ другихъ мъстахъ великими, имъютъ способность въ передней барона дълаться пигмеями, получаютъ особенное свойство, приписываемое Рускими Лъшему, который идетъ въ травъ — съ травою ровенъ, идетъ въ лъсу — съ лъсомъ ровенъ. Гордые, великолъпные растгеры, и десятки господъ гофъ, минцъ, сель, вассеръ, гаусъ-ратовъ, во всякомъ другомъ мъстъ ходившихъ съ поднятою кверху головою и, по крайней мъръ, цълою головою превышавшихъ все ихъ окружавшее, здъсь не дорастали до плеча каммердинера, и ходили съ глазами потупленными въ землю, робко, на цыпочкахъ.

[—] Увижу ли я сегодня Eго Превосходительство?

[»]Кто вы, м. г.?» холодно спрашивалъ сек-

ретарь какой-то, черезъ плечо взглядывая на вопрошателя.

— Я штатсь - рать фонь Кнабенау, правитель Эйхвардена, и прівхаль сюда (сюда — это слово было выразительно: онъ точно вхаль для передней) уже съ недвлю; но все еще не могу имъть чести быть допущеннымъ къ Его Высокопревосходительству.

Это быль начальникъ города, гдв жила мать Вильгельма: онъ помнилъ г-на штатсъ-рата фонъ Кнабенау, помнилъ, какое великое лицо разыгрываль онъ въ Эйхварденъ!

— Баронъ занятъ. — Подождите. — И фонъ Кнабенау отступилъ почтительно.

»Сдвлайте милость, м. г., то, о чемъ просиль я васъ вчера.

— Чтобы доставить вамъ особенную аудіенцію? Теперь нельзя. баронъ что - то не въ духъ, и я не смъю говорить ему объ васъ.

И съ трепетомъ отступилъ проситель. Это быль съдой старикъ, съ огромной звъздою на груди. Отъ того, что баронъ не въ духъ, остатки съдыхъ волосъ его зашевелились на головъ, какъ будто онъ стоялъ на электрическомъ изолиръ.

Третій великій человъкъ — опять звъзда —

робко вошель, оглядьлся, улыбнулся, и тихо потрепаль по плечу секретаря.

— A! это вы? Баронъ назначилъ вамъ явиться въ субботу, въ 8-мь часовъ утра.

»Боже мой! Сегодня вторникъ! Дъла, нетерпящія, крайнія...

Вамъ сказано было пожаловать вчера въ
 9-ть часовъ.

»Со мной случилось ужасное несчастие: сынъ мой вчера умерь. « Старикъ не смълъ однакожь показаться печальнымъ. Онъ улыбался.

- Жалью, но мы не виноваты.

»Но — думаль Вильгельмъ — зачъмъ же Кнабенау бросаеть дъла, оставляеть свой городъ, и недълю странствуетъ въ передней? Не уже ли не могъ онъ, исправляя свою обязанность, обойдтись безъ представленія барону, съ которымъ о дълахъ могъ переписываться?

»Зачъмъ на барона иногда находитъ прикоть: быть не въ духть, когда отъ этого останавливаются дъла?

»Не уже ли баронъ ведетъ свою жизнь въ такой работъ, что расчитываетъ по часамъ, съ къмъ ему видъться, и хоть бы умирало цълое семейство у человъка, назначеннаго къ свида-

нію, пропустивъ часъ свой, онъ долженъ ждать цвлую недвлю другаго часа?

Вильгельмъ скоро разглядълъ, что и въ передней есть свои отличія, преимущества, условія; есть свои ловкіе и неловкіе люди, свое раздъление мъстъ, свои неопытные и бывалые люди. Тутъ подлъ кабинета происходила дъятельная работа, было сильное движение секретарей и дъловцевъ, приходили, уходили, приносили бумаги, портфели, двигался целый міръ. Часть передней къ дверямъ унизана была просителями, и между этими просителями развивался цълый міръ страстей. Изученіе характеристики было тутъ весьма любопытно: одинъ задумчиво считалъ цвѣточки на трафареткѣ потолка, и губы его шевелились, вытверживая, что будеть онь говорить Его Высокопревосходительству; другой сидълъ гордо, смотрълъ на всъхъ, какъ будто давая знать: »мнъ не откажуть, « и только пощупываль, туть ли, за назухою, его просьба; третій сидъль, опустивь руки на колъни и свъсивъ голову, разсуждая самъ съ собою, разводя руками, соображая все, и улыбался, когда по соображеніямъ выходило хорошо; четвертый вынималь безпрестанно свою бумагу, развертываль ее, разсматтривяль, пряталь, онять вынималь; пятый, казалось, забываль о происходившемь вокругь его, печально стояль подль дверей, не чувствоваль, какь его толкали входящіе и выходящіе. Противоположность ему составляло довольное собою лицо старика, который заняль первое мѣсто, какь опытный посѣтитель передней, самонадъянно нюхаль табакъ, говориль съ сосѣдями, и утверждаль, что баронъ наткнется на него перваго, проходя изъ кабинета на крыльцо.

Отдъльно, составляя собою высшій раздъль передней, въ боковой заль, собралась полузнать, г-да раты десяти названій. Это были также просители: тоть искаль ласковаго взора, иной ръшенія, иной мьста, иной укрыленія на мьсть; но они не смышивались съ толпою, завоевавшею мьста подль дверей у входа. У нихь быль свой разговорь, свои двленія, своя печаль, своя радость.

Тамъ гордо стоялъ одинъ и увърялъ, что ему нътъ никакого дъла, только надобно повидаться и ъхатъ; другой разсказывалъ, какое важное дъло имъетъ онъ къ барону; третій позволялъ себъ дремать послъ сытнаго завтрака; четвертый разсыпался въ разсказахъ, какъ

вчера весело было у Его Свътлости, и какъ милостивъ былъ къ нему Его Свътлость... И не смотря на всъ милости, онъ поглядывалъ съ улыбкою на баронскаго каммердинера.

»И весь этотъ народь пришель сюда съ дълами, съ просьбами — думалъ Вильгельмъ — всякій изъ нихъ знаетъ даже свое привычное мъсто. Зачъмъ л пришелъ? Гдъ люе мъсто? Что буду я говорить барону, и гдъ миъ стать? Нътъ ли гдъ-нибудь отдъленія Поэзіи? ... «Ему показалось совъстно быть бездъльникомъ между этимъ дъловымъ народомъ. Онъ переносился мысленно въ свой свободный пріютъ, въ свое раздолье поэтическое, гдъ такъ смъло вызывалъ къ себъ на судъ королей и людей великихъ, вертълъ въками и тълами, жилъ, мыслилъ, чувствовалъ. Зачъмъ онъ здъсь въ передней, гдъ ничего не понимаетъ, не знаетъ, гдъ ему такъ неловко, и гдъ онъ успълъ уже сдълаться предметомъ насмъщки?

Да, усптать. Не зная ни нравовъ, ни обычаевъ переднихъ, при самомъ входъ Вильгельмъ спросиль у пъвейцара: »Дома ли Его Превосходительство? « Швейцаръ оглядълъ его съ ногъ до головы, улыбнулся и отвъчалъ: »Не знаю. — Могу ли я его видътъ? « спрашивалъ Вильгельмъ. — »Не знаю, « повторилъ швейцаръ, и еще разъ огля-

лълъ его съ головы до ногъ. Вильгельмъ готовъ быль сказать ему, что онь дуракъ, и спышиль итти впередъ. Но куда тутъ итти? Вверхъ, внизъ, направо, налъво? И онъ принуждень быль обратиться къ одному изъ баронскихъ лакеевъ, перебъгавшихъ, переходившихъ по дорогь. »Вы съ просьбой?« спросиль его лакей, зъвая подъ носъ поэта. - Нътъ; барону угодно было меня видъть, и воть я здъсь, явился къ нему. — »Такъ вамъ назначенъ часъ? « - Нътъ. - И лакей оглядълъ его съ ногь до головы. « — Не книгу ли поднести? « — Нътъ! — » Не купець ли вы съ товаромъ? « — Нътъ, ньть! Поди и доложи барону, что Рейхенбахъ явился и желаеть его видьть. - Лакей улыбнулся. — » Что ты? « спросиль его товарищь. — «Воть какой-то г-нъ Рейхенбахъ хочетъ, чтобы л доложиль объ немъ барону. —

Какой-то! И такъ имя поэта Рейхенбаха не гремить еще здъсь; оно неизвъстно здъсь. Лакей провель пальцомъ по лбу, какъ будто спрашивая своего товарища: «Какова-то голова у этого господина? « — Оба засмъялись и спокойно удалились. А Вильгельмъ остался одинъ на лъстницъ, среди мраморныхъ каріатидъ и колоннъ, толкаемый людьми, которые

ими ему на встрычу, шли за нимъ; онъ пошелъ за другими, и очутился — въ передней.

Что это такое? У кого тутъ спрашивать? Онъ идетъ прямо и говоритъ первому: Дома ли Его Превосходительство? - »Не знаю, « отвъчають ему. Человъкъ, у котораго спрашивалъ Вильгельмъ, былъ одинъ изъ десяти чиновниковъ, перебиравшихъ бумаги; поэтому заключиль Вильгельмъ, что этоть человькъ долженъ быть туть свой, и можеть наконець сказать ему: дома ли баронъ и можеть ли онъ его видъть? — »Онъ еще не выходилъ.« Отвътъ былъ непонятенъ Вильгельму. » He выходиль! Что такое: не выходиль? — Но могу ли я его видъть? — Опять и этотъ человъкъ улыбается, какъ швейцаръ; и онъ, какъ лакен, оглядываеть Вильгельма съ головы до ногъ. »Разумъется, можете. « — Такъ сдълайте одолженіе, скажите барону, что Рейхенбахъ пришелъ. « — Прикажите о себъ долоэкить — воть дежурный! — Чиновникъ указаль на молодаго человъка въ мундиръ.

»М. г., вы дежурный?

[—] Что вамъ угодно? — Онъ не вставалъ съ креселъ, въ которыхъ развалился.

[»]Я Рейхенбахъ.

[—] Очень радъ.

[»]Чортъ побери!« готовъ быль воскликнуть Виль-

гельмъ — » Видно здъсь никто не читаетъ газетъ и журналовъ, не знаетъ литературныхъ
новостей, и не слыхивалъ имени творца Арминія, на котораго полагаетъ такую надежду
славы отечества цълое государство!« — Онъ
не зналъ, что если бы Кальдеронъ и Шекспиръ
явились и сказали свои имена, то въ передней
барона никто не вскочилъ бы отъ удивленія,
и что при имени Гёте тогда только встали бы
съ креселъ, когда бы онъ прибавилъ къ имени
Іоганнъ Вольфгангъ: » фоиз-Гёте, Тайный Совитишкъ Саксенъ-Вейларскій. «

»Не льзя ли извъстить барона, что я пришель по его желанію?

- Онъ приказываль вамъ явиться?
- »Онъ не приказываль миъ, а изъявляль желаніе видіть меня.
- Все равно. Не можетъ же онъ *просить* васъ. Върно вамъ назначенъ часъ?

"Hara.

- Какое же имъете вы дало до барона?

Что сказать Вильгельму? »Я сочиниль трагедію, которую читаль баронь, и я пришель показать лучезарное лице творца этой трагедіи, которою восхищался баронь.« Говорить о себь, что онь поэть, когда моди, слыша имя его, не знають этого имени и холодно слушають это имя. И кому же открывать въ себь великую тайну поэта? Этой холодной, мундирной рожиць, которая допрашиваеть его, и требуеть отвъта: зачъмь ее тревожать?.. Глупо, глупо! И почтеть ли она все Вильгельмово объясненіе за дало? — Поэть, трагедія? — спросить она — а что за дъло до этого барону?

Вильгельмъ молчалъ.

— Если у васъ есть просьба, или вамъ надобно объясниться съ барономъ, извольте подождать; онъ, въроятно, сегодня приметъ всъхъ просителей.

И проситель Вильгельмъ удалился въ уголъ и замъчалъ, что дълается вогругъ него. Другіе просители видъли что-то странное въ поступкахъ Вильгельма, переглянулись; но прошла минута, и все пришло въ порядокъ. Сто человъкъ во всеобъемлющей передней баронской сидъли, стояли, писали, выходили, приходили; и все дълалось своимъ чередомъ, и все было спокойно, какъ на кладбищъ.

Въ противоположномъ углу залы, Вильгельмъ увидълъ наконецъ ивсколько человъкъ, непохожихъ ни на просителей, ни на величественныхъ

ратовъ. Что это за народъ? Нъкоторые были одъты небрежно, въ сюртукахъ; другіе сидъли раскинувнись; какой-то старикъ, въ шитомъ мундиръ, сидълъ между ними; и старикъ, и эти люди позволяли себъ говорить громче другихъ. Наконецъ Вильгельмъ замътилъ у двухъ изъ нихъ книги въ рукахъ; у одного портфель, изъ котораго вынималъ онъ не просъбы, но рисунки, и всъ эти люди составляли что-то общее между собою.

»Г-нъ Бріарсонъ! « сказалъ старикъ въ шитомъ мундиръ, продолжая разговоръ свой съ человъкомъ, вынимавшимъ рисунки изъ портфеля. — Бріарсонъ! — повторилъ Вильгельмъ самъ себъ Какъ, не уже ли это тотъ славный путешественникъ, о которомъ теперь пишутъ во всъхъ газетахъ, который такъ безстрашно пробрался въ Абиссинію и Зангъебаръ? Онъ здъсь? Но что за народъ его товарищи?

Невольно подвинулся Вильгельмъ къ этому уголку, желая разглядъть Бріарсона. Задумавшись, толкнулъ онъ кого-то сицъвшаго на стулъ, оглянулся и увидълъ безногаго инвалида, съ ветхомъ мундиръ, съ нъсколькими медалями, съ деревяшкою и костылемъ; подчявъ свою серебряную голову, беззаботно сидълъ этотъ

нивалидъ. Взглядъ на него внушалъ невольное почтеніе. Вильгельмъ извинился.

»А что вы миъ сдълали? « спросилъ инвалидъ.

- Кажется, нечаянно я толкнулъ васъ....

»Благодарю за въжливость — ничего, я привыкъ къ толикамъ, при которыхъ и не извиняются. Что вы стоите? Сядьте, вотъ стулъ подлъ меня. Если вы ждете барона, такъ вамъ не скоро дождаться его — устанете.

— Благодарю. — Если не ошибаюсь — сказаль Вильгельмъ, смотря на мундиръ и медали старика — эта медаль должна быть....

Лицо старика ожило. »Эту медаль, молодой человъкъ, надълъ на меня старый Фрицъ собственною рукою, подъ Дрезденомъ, въ 1760 году; вотъ эта вылетъла на грудь мою подъ Ауэрштедтомъ; а вотъ эту нашелъ я подъ Грауденцомъ, расплатившись за нее ногою.

 Боже мой! И вы не прикажете доложить о себъ барону поскоръе....

»Въдь онъ знаетъ мое дъло, и л жду ръшенія. Дъло у меня презатруднительное, скоро его ръшить не льзя! « Старикъ усмъхнулся.

— Если бы я смълъ спросить....

»А вотъ видите! « Старикъ хлопнулъ по своей мъдной табакеркъ. »У меня отнимають по-

Ч. П.

ловину пенсіи. По новому какому-то уставу, кто имъетъ у себя кормильца какого нибудь, тоть не можеть получать полной пенсіи, сльдующей однимъ безприотнымъ и одинокимъ старикамъ. По изысканіямъ подъячихъ оказалось, что я не одинокъ, что у меня есть правнукт, молодой человъкъ. Да, дъло въ томъ, что этотъ правнукъ, одинъ сынъ отъ трехъ моихъ внуковъ, которыхъ всъхъ прибраль Господь, больной и разслабленный, и я самъ кормлю его. Такъ по бумагамъ - то я виноватъ, а по настоящему правъ. Милостыни просить я не хочу, требую должнаго: отдайте мнв мои 40 талеровь пенсіи, бомба вась побери!« Онъ стукнуль въ полъ костылемъ, такъ что сосъдъ его, на досугь разсматривавшій свою просьбу, вздрогнулъ.

— А дъти? У васъ нътъ уже дътей?

Дъти? Хе! послъдній внукъ мой скончался, 18-ть льть тому. Въдь миъ 90 льть.... Много? Да, много! Воть ужъ сколько переъль я дароваго хльба въ послъднее время! Что дълать — живется да и только!

И вы должны ходить сюда, ждать здъсь?
 »Трудно, да нельзя иначе. Идуть справки,
 выправки, и я не виню барона. Почему знать

ему, что л не бездъльникъ какой-нибудь, и не лгу о себъ, чортъ знаетъ чего? Впрочемъ, что же такое? Только трудно на лъстинцу взбираться, а то здъсь тепло, дождь не каплетъ, сидинъ спокойно. Сижу, смотрю, вспоминаю, какъ, бывало, дрались мы тамъ, какъ биваковали здъсь. Да я ли одинъ жду? Посмотрите-ка, сколько г-дъ ратовъ и всякой всячины сидятъ и ждутъ. Мнъ дороги 20-тъ талеровъ, а вотъ, напримъръ, ученый-то народъ забылъ про науку, да ждетъ себъ. — Старикъ указалъ на уголъ, гдъ былъ Бріарсонъ, люди съ книгами и человъкъ съ рисунками.

»Видно, вы еще новичекъ здъсь, продолжалъ старикъ, »и ничего не знаете? Я здъсь бывалый, и вотъ въ два мъсяца прихожу въ 18-й разъ, и ночти всъхъ знаю, кто гостить по моему у Его Высокопревосходительства. Вотъ, въ мундиръ, предсъдатель какаго то ученаго общества; а этотъ, съ большими бакенбардами, какойто путешественникъ, тздивний далеко — вотъ, что привезъ чучелу крокодила и показывалъ за деньги... этотъ сухой старикъ съ книгой, мой сосъдъ, профессоръ Шрейбгудъ.... Все это такіе потаскуши по нереднимъ — полдия таскаются къ знатнымъ, полдия пишутъ....

Я отыскаль наконець уголокь, гдь таитесь вы въ передней, бъдныя Науки, бъдная ученость! — думаль Вильгельмъ. — Бріарсонь въ передней! Шрейбгудъ, изслъдователь Кароагенскаго языка! это ты? Примкну къ нимъ и стихотворца.

Стукъ сабли и шпоръ громко раздался по лъстницъ; двери съ шумомъ растворилисъ; весь мірь передней взволновался; кто дремалъ, тотъ проснулся, кто сидълъ, тотъ всталъ; секретари заткнули перья за уши; изъ высшаго отдъленія передней столпилось въ дверяхъ нъсколько звъздъ; нисшіе просители сомкнулись кръпкою стъною. Самъ говорливый инвалидъ поднялся на деревяшкъ.

Сквозь толпу просителей, расталкивая ихъ, пробивался человъкъ высокаго роста, въ егерьскомъ платьъ, съ блестящею шапкою. Смъло прошелъ онъ по комнатъ, стуча саблею, до самаго кабииста. Дежурный торопливо подбъжалъ къ нему.

»Скоръе доложите! Отъ Его Свытлости.

— Записка?

»На словахъ! Да, скоръе, скоръе! Скажите: присланъ егерь — скоръе...

Дежурный ввернулся въ кабинетъ. Недоступ-

ная дверь кабинета миновенно растворилась, Егерь ушель въ кабинеть, и дверь зотворилась опять.

Волненіемъ увлечень быль Вильгельмъ съ своего мъста, старался выбиться изъ толны просителей, и очутился подлъ уголка Наукъ и Знаній.

Опомнившись отъ прихода княжескаго егеря, въ этомъ уголкъ опять спокойно занимались разговоромъ.

 Вы, върно, явились съ нового вашею книгою, Г-нъ Шрейбгудъ? — спрашивалъ старикъ въ мундиръ.

Точно-такъ, г-нъ вице-интендантъ! Драгоцънное открытіе въ Персеполисскихъ развалинахъ — два кирпича, присланные въ музей Его Свътлости, суть предметы моей книги.

— Я давно слышаль о вашемъ трудъ. Любопытно. Чего же хотите вы отъ барона?

»Просить, чтобы экземплярь быль поднесень Его Свътлости.

—Его Свътлость, върно, приметь съ особеннымъ удоволствіемъ.

»Надъюсь. Я работаль три года, и доказываю, что Гротефендъ рышительно ошибся въ значении словъ: Khschhersche Khschenion gehre... А вы, г-пъ вице-интендантъ?

 Я съ просъбой къ барону: посътить сегоднишие засъданіе нашего общества.

»Да въдь онъ кашъ почетный гепералъ-бешитцеръ.

— Именно. Сегодия г-нъ Бріарсонъ хотвав читать свое важное разсужденіе о Нильскомъ иль (Бріарсонъ учтиво наклониль свою голову), а членъ нашть г-нъ фонъ-Ринконфъ о вытираніи ахроматическихъ трубъ грецкою губкою — важное, совершенно новое открытіе! Кстати, мы (Бріарсонъ опять наклониль голову) хотвли представить свой вояжёрскій портфель... Но, жаль, время проходить — мнъ надобно бы поспъщить...

» Куда - же?

— Сегодия прохождение Меркурія черезъ солице, и я упускаю повърку этого явленія, столь ръдкаго; думалъ скоро отдълаться... Впрочемъ, посъщение барона поваживе для насъ прохожденія этого Меркурія. Мы хотимъ просить себъ повый штатъ... Сами разсудите! — Шрейбгудъ безмольно соглашался. И въ это время —

Дверь кабинста быстро растворилась. Стуча

н гремя прошель егерь. Дверь затворилась за нимь. Явился каммердинерь барона »г-нь штатсь-рать фонь-Кнабенау!« провозгласиль каммердинерь. Согнувнись тремя верблюжьими горбами, опустивь голову въ половину тыла, на цыпочкахъ, тихо ушель фонь-Кнабенау въ кабинеть. Зависть изобразилась на лицахъ многихъ, и ясно выражала общую мысль: »Счастливецъ!« — Туть —

Новое явление каммердинера. » Его Высокопревосходительство приказаль мив объявить, что опъ сегодия занять дълами и пикого видъть не можеть.«

Боже! громовый ударъ не поразиль бы болье присутствовавшихъ, всъхъ, кромъ Вильгельма. Опъ одинъ спокойно стоялъ и смотрълъ, какъ вытяпулись рожи у многихъ, какъ вылетали вздохи, поднимались глаза къ небу. Казалось, сама передняя вздохнула отъ горести.

»Маршъ, маршъ!« громко сказалъ инвалидъ, оборотился и пошелъ первый. За нимъ, въ смъщенномъ безнорядкъ поплелись звъздоносцы и бъдные просители. Только немногіе изъ самыхъ упорныхъ пи за что не хогъли уступить столь легко поля битьы; опи окружили дежурнаго каммердинера, секретарей. Жужжаніе словъ сливалось въ звуки: »Важное, необходимое, сдълайте милость, могули безпокоить — « Ръшенія давали дежурный, каммердинеръ, секретари, всъ вдругъ. И изъкучи упорныхъ, какъ кометы, начали отрываться одинъ за другимъ люди и исчезать за дверьми передней.

Жестоко пустьло народонаселение передней, когда какой - то вассеръ - гофъ - кригсъ - рать ухвативъ каммердинера, съ жаромъ говорилъ ему, не смотря на слова: »Нельзя, нельзя«... Рука Шрейбгуда уже трепала по плечу каммердинера съ другой стороны, заставила его оборотиться, и Шрейбгудъ, вталкивая въ руки его книгу въ сафьянъ, убъдительно просиль отнести къ Его Высокопревосходительству эту книгу. Едва повернулся каммердинеръ въ третью сторону, вице-интенданть ухватилъ его за петлю фрака и втискивалъ въ руку его какую-то бумагу. Насильно принимая книгу и бумагу, каммердинеръ оборотился на четвертую, последнюю сторону, какъ будго хотьль высказать кому-нибудь свою досаду: »Ужъ эти мив ученые, чорть ихъ побери! Нъть народа навязчивъе «... И глаза самовластнаго провозгласителя передней нечаянно встрътили спокойное лицо Вильгельма, который не зналъ что ему дълать: итти ли, дожидаться ли, говорить ли? — Онъ видълъ себя совершеннымъ невъждою въ обычаяхъ передней.

Въролтно, необыкновенное явленіе неискательства и спокойствія обратили вниманіе каммердинера на Вильгельма.

— Вамъ что угодно? — спросилъ его каммердинеръ. Важная эта особа былъ тучный, самодовольный, гордый негодяй.

»Я хотьль имьть честь быть представленнымь Его Высокопревосходительству.« Видите, какъ въ самое короткое время Вильгельмъ уже научился говорить языкомъ передней. Ты правъ Шекспиръ: That monster custom (это гудовище привытка)!...

— У васъ есть отъ кого-нибудь письмо?

» Нъть; но Его Высокопревосходительству говорили обо мнъ, и онъ приказалъ мнъ явиться.

— Кто говориль объ васъ?

»Слава и Поэзія!« хотьль отвъчать Вильгельмъ, и — »г-нъ директоръ театра« сказаль онъ. — Нельзя! — промоленлъ хладнокровно каммердинеръ. Вильгельмъ оборотился и хотъль итти.

*Ахъ! позвольте: не вы ли сочинитель новой трагедін?» спрашиваль каммердинерь, останавливая Вильгельма.

- Насилу догадались! готовъ быль воскликнуть Вильгельмъ; по онъ покраснълъ, когда каммердинеръ, съ дружеского довъренностью, сказалъ ему въ полголоса: »Въдь вы знакомы г-жъ Элеопоръ, и объ васъ она говорила Его Высокопревосходительству?«
- Да прошенталь Вильгельмъ, въ замъшательствъ.

» Чтожъ вы давно не сказали! Его Высокопревосходительство спранциваль объ васъ. Пожалуйте за мною.

Онъ отвориль дверь въ кабинетъ, и все сдълалось такъ скоро, что Вильгельмъ былъ уже въ святилищъ передней, лицемъ къ лицу передъ ел кумиромъ, и не зналъ еще, что тутъ ему говорить и дълать, рядоваться ли, стыдиться ли того, какъ попалъ онъ въ кабинетъ.

Кабинеть, куда такъ страстно летъли желанія просителей и всъхъ посьтителей передней,

была огромиая зала, съ каминомъ впереди, съ множествомъ столовъ, столиковъ, конторокъ, шкафовъ съ книгами; столы были завалены бумагами; шторы въ окнахъ спущены; иъсколько драгоциныхъ копій съ извъстныхъ статуй стояли по угламъ: тамъ Лаокоона душили эмъи, здъсь стыдилась венера Медицейская, туть Апполонъ Бельведерскій смотрель въ следь за стрелою, улетвинею съ его лука, а въ четвертомъ углу безрукой, безногой и безголовой торсъ Микель-Апджела занималь мъсто. Надъ шкафами висьми картины, эстампы: это была канцелярія и галантерейная лавка въ картинной галерев. Ближе къ дверямъ стоялъ посреди комнаты огромный письменный столь, со всеми прихотями, показывавшими, что на немъ ничего не ининуть: выдвижными ящичками, ящиками, пупитрами, подевычниками, часами, кукла ми, печатями десяти сортовъ, бумагами, стройно раскладенными, аплатками, и проч. и проч. -Наконецъ, украшеніе кабинета довершаль г-нъ штатсъ - ратъ фонъ - Кнабснау, вытянувшись въ золотомъ своемъ мундиръ подлъ дверей, держа плюмажную свою шляпу подъ мышкою лъвой руки, и заложивши три пальца правой

между пуговицами мундира. — Вильгельмъ сталъ съ другой стороны дверей.

Онъ искалъ глазами: гдъ же этотъ таинственный кумиръ кабинета, этотъ покровитель Наукъ и Музъ, господинъ Баронъ фонъ и Принцъ фонт, великодушный, знаменитый человъкъ, просвъщенный и всезнающій до того, что ему не скажете ничего новаго, начиная съ Бальзакова романа до важнъйшей тайны Европейской политики; недоступный до того, что легче отнять у Англичанъ Гибралтаръ, нежели пробраться въ его кабинетъ; могущій до того, что одно имя его заставляеть сваливаться очки съ носа Генріэттиной матери, г-на фонъ-Кнабенау недълю добиваться его взора, а извъстнаго въ цълой Европъ г-на фонъ-Тухбухлейна, вице-интенданта общества геолого-космографо-орографическаго, забывать о прохожденіи Меркурія черезъ солнце, и наблюдать выхождение барона въ переднюю.

Подлѣ камина шевелился, и чѣмъ-то занятъ быль, наклонившись къ огню, старикъ, въ бѣломъ, спальномъ сюртукѣ, съ зеленымъ зонтикомъ на глазахъ. Когда оборотился онъ, можно было видъть въ немъ ветхіе остатки человка, истомленные лѣтами и страстями, моръ

щиноватые, плъшивые; клочки съдыхъ волосъ его были растрепаны, ротъ сморщился безъ зубовъ; щеки безъ румянъ были блъдны; губы его отвисли, и кряхтя двигался баронъ фонъ-Калькопфъ къ великолъпной конторкъ, о которой мы уже говорили. Тутъ можно было узнать, что занимало его подлъ камина: онъ — зажигалъ сигарку.

»Франсуа!« говориль этотъ старикъ, не обращая вниманія ни на Кнабенау, ни на Вильгельма, и обращаясь къ каммердинеру, стоявшему впереди ихъ — »сигарки эти никуда не годятся. Воть я три закуривалъ — дрянь, братецъ, и дурно курятся. Онъ лжетъ, что это Гаванскія!

— Прикажете перемънить.

Непремънно, братецъ; брось ему ихъ — онъ мошенникъ. Ну! что это у тебя?

 Книга, Профессоръ Шрейбгудъ просилъ вручить вамъ.

»Онъ самъ тутъ?

— Самъ.

»Хорошо; брось ее вонъ туда, и скажи, что я очень благодаренъ, и исполню, о чемъ онъ просилъ меня; но не могу его видъть теперь — занятъ.

- Бумага г-на Тухбухлейна.
- Что такое?
- Говоритъ, что проситъ Ваше Высокопревосходительство въ засъданіе.
- »Ну его къ чорту скажи буду...
- Сочинитель... Каммердинеръ указалъ на Вильгельма.
- » Что, какой сочинитель? « Старикъ съ досадой вынулъ сигарку изъ рта своего.
- Г-жа Элеонора пробормоталь каммердинерь, подходя ближе къ старику.

»Ахъ! да, да, да,!« — Ласково оборотился баронъ къ Вильгельму. — »Радъ познакомиться съ вами, г-иъ ноэтъ! Добро пожаловать... побесъдуемъ... — Онъ протянулъ къ нему руку, пожалъ два пальца Вильгельмовой руки, и придвинулся къ Кнабенау: »Вы что скажете хорошаго?«

Кнабенау хотьль отвычать. »Франсуа!« Старикъ оборотился къ каммердинеру. »Одъваться мит — мою новую охотинчью пару, фіолетовую — караковаго приготовить мит — Ну! г-пъ Кнабенау... Франсуа! мои Польскіе ботипки съ золотыми шпорами...

Каммердинеръ вышелъ.

— Hy! г-пъ Кпабенау — пачалъ еще разъ старикъ.

» Глубочайшее и усердное высоконочитаніе, которымъ я преисполненъ къ высокой особъ Вашего Высокопревосходительства...

— Давно вы гдвсь?

»Недъля, какъ я прівхалъ, и въ первый же день имълъ счастіе явиться... Каждое слово сопровождалось низкимъ поклопомъ, и, казалось, Кнабенау вовсе потерялъ способность стоягь прямо, но превратился въ параболу.

— Да, да, я такъ запять — воть и теперь, падобно ъхать; сегодия травля въ Розенвальдъ...

»Если позволите...

— Радъ, радъ, примите ко миѣ послѣ завтра — иътъ! въ субботу, въ 10-ть часовъ... Благодаренъ... Старикъ кнепулъ головою, и Кнабенау, изогнувникъ, вышелъ.

»Ну, г-иъ поэть « — сказаль тогда старикъ, оборотясь къ Вильгельму, »вы написали трагедію? Садигесь « — Старикъ съль на табуретъ подлъ конторки и указалъ Вильгельму на другой табуретъ. »Проклятыя спгарки! не курятея! — Ну, очень радъ! Какъ титулъ?

— Арминій — отвъчаль Вильгельмъ.

»А, да, это нашъ Германскій Арминій, великій Армииій, описанный Саллюстіемъ.

— Тацитомъ — промолвилъ Вильгельмъ.

»Да, да, Тацитомъ. Прекрасно, очень радъ! Вы романтикъ или классикъ?

— Я осмъливаюсь не быть ни тъмъ ни другимъ, не находя истины въ ихъ спорахъ, и думая, что истиная Поэзія...

»Просто, хороша? Вы правы; но когда идеть сраженіе, надобно пристать къ той или другой сторонь. Demimesures никуда не годятся. — Такъ въ политикъ, такъ въ любви.

— Такъ думалъ Наполеонъ.

»Да, да! Пу, кстати о любви: были-ль вы когда нибудь влюблены? А?

Вильгельмъ смъщался. Старикъ улыбнулся.

- »Какъ же быть поэтомъ, и не любить? Нельзя, нельзя! Я самъ писывалъ стихи и влюблялся, и влюблялся для того, чтобы писать стихи. Теперь мнъ не до того.
- Ваше Высокопревосходительство выражаете поэзно въ дълахъ вашихъ.

Старикъ еще улыбнулся. »Гдъ вы учились?

— Я только готовился еще вступить въ университетъ. — Вильгельмъ польстилъ, солгалъ, и подумалъ: »Не уже ли здъсь воздухъ такой,

что невольно заставляеть лгать и говорить лесть? «

»Да на что поэту ученье — и то правда! Надобенъ восторгъ...

— Одъваться готово — сказалъ каммердинеръ, входя въ кабинетъ.

»Ну, извините, мой любезный поэть; радъ познакомиться съ вами.

Вильгельмъ отклапивался и пятился къ дверямъ. »Если могу быть вамъ полезнымъ — ска- «жите миъ . . . Слуга вашъ . . .

Свиданіе съ просвъщеннымъ челогькомъ, вельможею, на ряду стоящимъ съ своимъ въкомъ, меценатомъ, которому не скажете пичего новаго, кончилось. Всъ мысли Вильгельма такъ растерялись, что онъ явился въ переднюю смущенный, разстроенный, и, къ чести его скажемъ, не отъ безпокойства о томъ: угодилъ лионъ баропу Калькопфу своими немногими словами.

Псредняя была пуста. Только молодые чиновники барона оставались въ ней, убирали бумаги. Они окружили Вильгельма ласково и привътливо.

— Баронъ тдетъ?

»Да, онъ приказаль подать одъваться.

 Позвольте просить васъ удостоить меня вашимъ знакомствомъ — говорилъ одинъ.

»Извините, я совсьмъ не зналъ, что говорю съ литераторомъ, столь отличнымъ, и не отличилъ его отъ другихъ просителей — говорилъ дежурный, пожимая руку Вильгельма.

— Вы, кажется, написали комедію? »Будуть ли ее давать на театры?

Вильгельмъ пробормоталь нъсколько учтивыхъ словъ, и спъщилъ итти. На половинъ лъстницы догналъ онъ своего знакомца, Фридриховскаго инвалида. Старикъ отдыхалъ на ступенькъ, и весело насвистывалъ маршъ.

 Что съ вами сдълалось?—заботливо спросилъ Вильгельмъ.

»Ничего — да нога, бомба ее побери! мъшаетъ итти! Переступлю ступеньку и отдыхаю. Лъстницы для меня хуже баттарей, а здъсь такая высокая.

— И васъ нъкому свести?

» Да, кому же меня водить! Отъ этихъ лакеевъ баронскихъ жди толчка, а не помощи. Они вездъ негодяи, особливо у знатныхъ людей.

— Позвольте мнъ.

»Вы хотите? « Слезы навернулись на глазахъ старика. Молча подаль онъ руку Вильгельму.

»Идите смълъе—говорилъ онъ, видя, что Вильгельмъ ведетъ его тихо и осторожно—»мнъ надобно только на кого-нибудь опираться.« Инвалидъ и Вильгельмъ молчали. Мальбрует вт похода попхалт, лироит тоит - тоит - тоит - тоит - толоса, стуча деревяникою по ступенямъ. «Благодарю! теперь маленький отдыхъ, и маршъ маршъ!

Не надобно ли вамъ напять фіакръ?
 »Э! пътъ! Только бы съ лъстницы, а тамъ я,
 еще промарширую хоть десять верстъ.

Вильгельмъ не оставляль однакожъ веселаго философа, и въ это время замътиль опъ какого-то разодътаго въ мундиръ человъка, который
нетерпъливо ходилъ внизу лъстищы. Онъ не
ошибается: это Кнабенау.

Легкая колясочка остановилась тогда у крыльца. Какъ перушко слетъль съ нея какой-то каммергеръ и столкнулся съ Кнабенау.

- А, это вы г-иъ штатсъ-ратъ!

»А, это вы, г-нъ каммергеръ! отвъчаль Кнабенау, дружески и горделиво пожимая ему руку. Вильгельмъ едва узналъ Кнабенау, потому что видълъ его теперь прямаго, какъ трость, высокаго, поднявшаго голову. — Что вы здъсь дъласте?

»Жду своей кареты. Швейцаръ! послушай, братецъ: чтожъ карета?

Кучера вашего нътъ! Эй! скоты, карету
 г-на штатсъ - рата фонъ Кнабенау!

»Ну, зачемъ вы здесь?« продолжаль каммергеръ.

 Представлялся Его Высокопревосходительству.

»Какъ вы съ нимъ?

— О, превосходный человъкъ! Обласкалъ, какъ нельзя больше, долго говерилъ, разспрашивалъ обо всемъ, просилъ еще придти и назначилъ особенное свиданіе.

»Поздравляю васъ, г-нъ штатсъ - ратъ! Извините, спышу къ барону.

— Да что вы?

»Перемъна въ расположени охоты: вмъсто Розенвальда назначено въ Лауенсбергъ, и всъ кавалеры должны явиться съ Испанскими перьями. Вотъ и карета ваша, adieu!

Каммергеръ побъжалъ наверхъ. Кнабенау гордо вступилъ въ свою карету. Швейцаръ отдалъ ему честь дубинкою. Заслушавшись разговора Кнабенау съ каммергеромъ, Вильгельмъ не замътилъ, что инвалидъ его уже уплелся. Онъ увидълъ его вдали, бодро ковыляющаго, и задумавшись отправился домой.

Волшебное зеркало, мелькнувшее передъ глазами Вильгельма въ это утро, вертълось передъ нимъ, какъ калейдоскопъ. Сколько новыхъ впечатльній, сколько измѣненій души испыталь Вильгельмъ въ пьсколько дней, съ тѣхъ поръ, какъ съ своего укромнаго чердака пошель къ директору, съ рукописью своего Арминія, до этого времени, когда провелъ опъ нѣсколько часовъ въ передней перваго министра и удостоился ласковой бссѣды этого великаго, могущаго вельможи...

Если онъ не понималь измъненій Кнабенау, бывшихъ въ его глазахъ, еще менъе понялъ онъ что-нибудь, когда чрезъ недълю прочиталъ въ газетъ слъдующее: »Профессоръ Шрейбгудъ, столь извъстный своими учеными трудами нашимъ просвъщеннымъ читателямъ, подарилъ ученый свътъ новыми изслъдованіями о Персеполисскихъ куненформическихъ буквахъ. Надъясь познакомить читателей нашихъ въ слъдующихъ нумерахъ съ важнымъ сочиненіемъ г-на Шрейбгуда, не можемъ скрыть своего удовольствія и не извъстить ихъ, что сочиненіе г-на Шрейбгуда было поднесено Его Высокопре-

восходительству г-ну барону Калькопфу. Удостоивъ особеннаго вниманія сочинителя, Его Высокопревосходительство имълъ счастіе представить трудъ г-на Шрейбгуда Его Свътлости; который благоволиль приказать купить для разсылки въ ученыя общества 15-ть экземпляровъ, а г-на Шрейбгуда соизволилъ удостоить пожалованіемъ золотой табакерки.« — Далье следовало известие о заседании геолого - космографо - орографическаго Общества. Послъ исчисленія читанныхъ въ немъ журналовъ засьданій, отчетовъ о деньгахъ, присланныхъ книгахъ, чучелахъ, грибахъ, каменьяхъ, слъдовало замъчание: »Сіе засъдание было удостоено посъщенія Его Высокопревосходительства, г-на Генераль - Бешитцера Общества, г-на Барона фонъ - Калькопфа. Всъ члены были изумлены глубокими познаніями, какія показаль Его Высокопревосходительство, словесно излагая свои замьчанія, касательно читанныхъ въ Обществъ статей. По поводу статьи г-на профессора N. N. объ уродливомъ теленкъ, онъ изволилъ объщать доставить недавно родившагося въ помъсть Его Высокопревосходительства теленка о шести ногахъ и трехъ головахъ. Общество, принимая съ глубочайшею благодарностью сей даръ, въ лицъ свосто Вице-Интенданта, г- на Штатсъ-Рата фонъ-Тухбухлейна изълвило сердечныя чувства, какими проникнуто оно за милостивое вниманіе знаменитато покровителя просвъщенія, и положило внести всъ сіи, столь драгоцънныя событія, въ Записки Общества.«

TAABA II.

Не льзя ли принять за достовърное той мысли, что есть рышительныя мгновенія въ жизни человъка, въ жизни народа, можеть быть, въ жизни цълаго человъчества - мгновенія, для которыхъ впереди и назади тянется время часами, недълями, мъсяцами, годами, въками. Наступило, пролетьло въковое это мгновеніе, и задача цълыхъ годовъ, стольтій, цьлой жизпи человъка и народа, ръшена безвозвратно. Поставьте 999, 999 и не приложите къ нимъ еще одной единицы — не будеть милльона. Вся мудрость человъческая не состоить ли въ отгадкъ этого мгновенія, этой последней единицыя къ милльону? Такъ есть точки въ перспективъ, съ которыхъ рядъ безобразныхъ, повидимому, громадъ является стройнымъ цълымъ.

Многіе ли живописцы умъютъ сыскивать эти точки, и какъ ръдки Гонзаги и Гране! Но что они такое? Великіе знатоки перспективы.

Все въ отношеніяхъ; все въ насъ, а не внъ насъ. Кому не случалось бывать нъсколько разъ въ однихъ и тъхъ же обстоятельствахъ, и потомъ, когда эти обстоятельства улетали на крыльяхъ времени, хладнокровно разсматривать прошедшее, и дивиться: какъ странно одно и то же представлялось ему различно? Однажды, прошедшее казалось утомительнымъ, грустнымъ путемъ черезъ пропасти и бездны; настоящее чъмъ-то нохожимъ на переходъ черезъ гнилой мостикъ по ръкъ, киплицей волнами; будущее огромною горою, съ молніями и льдами на вершинь, съ дремучимъ льсомъ и разбойниками у подошвы. Въ другое мгновеніе, то же прошедшее являлось страною живописныхъ ужасовъ, оставляющее въ душъ странника только живыя впечатленія; настоящее веселою переправою въ легкомъ челнокъ между цвътущими берегами; будущее широкою дорогою къ счастио черезъ горы, правда, закрывающия нашу будущность, но сквозь эти горы пробить путь непобъдимою волею человъка, и цълые утесы надають передъ нимъ, очищая ему дорогу.

Между тьмъ, и тамъ и здъсь, все внъ насъ было одинаково; только мы сами были различны.

Такъ случилось и съ Вильгельмомъ. Онъ потерялъ точку своей перспективы; былъ недоволенъ, несчастливъ въ самомъ себв, и все облеклось передъ нимъ въ туманъ неудовольстія и печали.

Прежде, съ чердака, міръ съ людьми казался ему именно страною живописныхъ ужасовъ, смъщеніемъ свъта и тъни; Поэзія была путеводною звъздою къ славъ; Любовь была геніемъ - хранителемъ въ пустынъ бытія. Все это разочаровалось для него теперь въ мелочахъ литературныхъ, въ сплетняхъ ученыхъ, въ переднихъ вельможи, въ своенравіи и капризахъ дюбимой ымъ дъвушки. Онъ увидълъ, что для славы и любви его надобны холстинныя кулисы, статьи Шпейера, безсмысленный говоръ толпы, поклоны министру, талеры директора, позволеніе глупой старухи, холодныя объясненія о сватовствъ... Міръ сдълался виновать во всемъ, и положение Вильгельма представилось ему со всъхъ сторонъ такимъ глупымъ, такимъ нельпымъ - какъ торжественная ода какогонибудь Рамлера, или Готшеда.

Бъда въ томъ, что стоитъ только дурно и невесело взглянуть просыпалсь, етать съ постели лъвой ногой, по старой примътъ стариковъ, и — цълый день пропалъ: все пойдетъ на перекоръ, неладно и глупо. Такъ и въ жизни: стоитъ разъ взглянуть на нее косо, и все въ ней перекривится передъ нашими глазами, на долгое время.

До сихъ поръ Вильгельмъ испытывалъ только борьбу съ самимъ собою. Онъ спориль
противъ своей непреоборимой наклонности къ
поэзін, сомнъвался, рынался, откладывалъ рышеніе. Онъ боролся съ недостатками веществсиной жизни, но ни отъ кого не зависъла
его воля. Теперь воля его была скована: онъ
не могъ оставить Гепріэтты; не могъ воротиться назадъ съ поприща, ему открытаго. И началась борьба сомнъній, недовърчивости, спора съ судьбой, начались упреки въ томъ, что
судьба жестоко обманула его!

Чъмъ болъе приближался часъ торжественнаго появленія его Арминія передь публикою, тыть страшнье казалось ему это тысячеглавое, рыкающее привидьніе — Публика, прихотливое, неопредъленное, странное созданіе, уродъ и красавецъ, шалунь и мудрецъ, старикъ и

дитя, смъщение всякаго добра и зла! Никогда прежде сомнъние въ своемъ даровании не тревожило Вильгельма: теперь оно терзало его.

Онъ также содрогнулся, начиная разглядывать вблизи извъстность, младенчество славы: это быль скелеть съ насмышливою маскою на лицъ, въ великолъпной, но засаленной одеждъ, въ бархать съ пестрединными заплатками. Вильгельмъ представлялъ себъ прежде Славу очень просто: на голосъ Поэзіи откликнутся сердца людей тъми звуками, которые сокрыты въ сердцв каждаго. Люди поблагодарять Бога, что среди ихъ явился вдохновенный провъщатель тайнъ сердца и души, понятныхъ и неизъяснимыхъ, всеобщихъ и недоступныхъ, и свободное мъсто будетъ ему дано среди людей. Сильные встрътять его, какъ друга; страдальцы увидятъ въ немъ утъщителя. Теперь видълъ онъ въ дружбъ сильныхъ что-то похожее на канцелярскій обрядь, съ какимъ они принуждены дълать все; въ другихъ видъль онъ нечто безсмысленно-любопытное — не болье. Говорили объ его Арминіи, ждали новаго прекраснаго созданія, какъ говорять о привозв свъжихъ апельсиновъ, какъ ждутъ полученія новыхъ Французскихъ картинокъ, чтобы апельсины проглотить, картинками обклеить ширмы. Но Вильгельма приводиль въ отчаяние взоръ на избранныхъ, товарищей его, поэтовъ, ученыхъ, литераторовъ. Еще не со всъхъ сторопъ зналь онъ ихъ, еще не начинали они терзать его — онъ не зналъ еще ихъ зависти, иснависти, но уже они ходили передъ нимъ въ домашнемъ платъъ, не скрывали тайнъ своихъ, и сложивъ съ себя фольговые вънцы и мишурныя одежды, представлялись какимъ-то цехомъ ремесленниковъ, поставщиковъ, подрядчиковъ, которые бились изъ крохъ насущнаго хлъба, походили на поэтовъ, какъ пъяница походитъ на веселаго человъка, на ученыхъ, какъ ткачъ Гобеленевыхъ обоевъ походить на Рафаэля.

А чьмъ казались ему теперь Генріэтта и любовь? Этого не зналъ и самъ Вильгельмъ. Двадцать разъ перемънялъ онъ свое миъніе. То Генріэтта была ангелъ свъта, которому недоступны страсти земныя, у котораго надобно вымолить позволеніе безмольно обожать его. То Генріэтта была своенравная женщина, подвластная мелкимъ страстямъ, непонимающая вдохновительной любови поэта, женщина, для которой любовь была холоднымъ расчетомъ на счастье, а не бурнымъ, увлекающимъ по-

рывомъ, не вихремъ огненнымъ, отъ котораго кружится голова, кипитъ кровь, и сердце требуетъ горя, горечи, потому, что ему мало радости любить и быть любимымъ.

Черезъ три дия Вильгельмъ шелъ вечеромъ къ Генріэтть. Въ рукахъ его былъ узелокъ съ чайнымъ приборомъ: ему надобенъ былъ предлогъ явиться къ матери Генріэттиной. Такъ странно измѣнились его отношенія, что онъ не понималъ: какъ можно посѣтить старушку безъ всякаго дъла? »Иду! « говорилъ онъ, и останавливался — »Не пойду!« и шелъ. Кому дорога къ жилищу милаго не казаласъ то безкопечнымъ адомъ, то изумительно-короткимъ раемъ — тотъ не любилъ...

Онъ засталь Генріэтту и мать, какъ всегда, за работою. Старушка встрътила его съ веселымъ ласковымъ лицомъ; Гепріэтта встала, также ласково и учтиво, съ своего мъста; но не говорила ни слова, ничего не говорилъ и взоръ ся.

Туть ничего не поняль Вильгельмъ. Онъ не зналъ, о чемъ начать говорить ему. Г-жа Шульце избавила его отъ труда. Началось извъстіемъ о смерти знакомой имъ женщины, о бъдной участи сиротъ, послъ нея оставшихся; потомъ о дорогихъ временахъ; потомъ— но Виль-

гельмъ такъ задумался, что не слыхалъ о чемъ послъ сего говорила старушка.

Въ минуты наружнаго безиувствіл не всегда человікъ бываетъ безиувственъ. Глухо-нѣмые, потерявъ слухъ и способность говорить, изумляютъ чувствомъ осязанія. У человѣка, пораженнаго тяжкою горестью, нервы дѣлаются такъ раздраженны и натянуты, что онъ слышитъ и чувствуетъ то, чего не слышитъ и не чувствуетъ самый здоровый весельчакъ. Только отказываясь отъ разсудка, люди становятся леновидлицими.

Старушка встала съ своего мъста и вышла изъ комнаты. Вильгельмъ замътилъ движеніе Генріэтты: она хотъла встать и ити за матерью; видълъ и взоръ ея: этотъ взоръ сказалъ ему многое, и еще болье досказалъ отвътный взоръ матери. — »Пощадите меня! Отказавшись отъ моей любви, я не хочу входить въ ваши непонятные для меня замыслы! « — Дура! Я приказываю тебъ остаться и уладить дъло, а при этомъ мое присутствіе совсъмъ лишнее. — Такъ понялъ Вильгельмъ безмольный разговоръ между матерью и дочерью, и

Сердце поворотилось у Вильгельма. Онъ былъ увъренъ, что старуха стала за дверью и под-

слушиваетъ. И Генріэтта согласилась быть участницею такого заговора! Но свътлый, блиставшій сквозь слезы взоръ Генріэтты объяснилъ Вильгельму, что она была только жертвою.

- Вы, кажется, хотъли итти за маменькою?
 сказалъ ей холодно Вильгельмъ.
 - »Нътъ! я спъшу кончить мою работу.
 - Стало быть, я худой отгадчикъ.

Генріэтта не отвъчала. Тысячи словъ вертълись и мъшались въ головъ Вильгельма, и мъшали одно другому явиться въ какомъ нибудь порядкъ.

— Мић страшно казалось обезпокоить васъ чъмъ нибудь — я могъ думать, что мое при-сутствие безпокоитъ васъ.

»Вы ничъмъ меня не безпокоите.

— Смъю надъяться послъ этого, что вы простили мнъ мои прежил дурачества.

»Я прощаю всъхъ и во всемъ.

— Даже лишая ихъ наслажденія— просить прощенія вашего?

»Передо мной никто не можеть быть виновать.

— И я?

»Всего менье.

Вильгельмъ не зналъ еще, что въ игрѣ такими разговорами женщины непобъдимы. Онъ уступилъ и смышался.

— Не уже ли Генріэтта не замъчаетъ, что мы говоримъ другъ другу: 661. — сказалъ онъ, какъ будто разговаривая съ самимъ собою.

»Кажется, такъ и надобно говорить.

— Надобно, Генріэтта? Давно ли начала ты слідовать тому, что падобно, и забыла, что внушаєть тебі сердце твое!

Со страхомъ оборотила къ нему Генріэтта глаза и руки, какъ будто умолял не вспоминать пичего, или сказывая, что есть свидътели ихъ разговора. А! и она сбилась съ толку.

Вильгельмъ тихо поднялся, безмолвно сталъ подлъ нея на колъни, и прижалъ руку ея къ губамъ своимъ. »Ради Бога!.. « шептала Генріэтта, вырывая руку свою.

— Если я виновать... Если ты любишь, любила меня, Гснріэтта! — Эти слова были совсьмъ беззвучны: тайна любви, когда она хочеть, чтобы никто не слышаль словь ел, кромв той, или того, кому говорять ихъ.

» Все кончилось, г-нъ Рейхенбахъ— я была безразсудна, глупа...

TO LAND HARD THE

[—] Генріэтта!

Она молчала. Вильгельмъ сълъ на свое мъсто; равнодушный, холодный видъ Генріэтты поразилъ его. — Въ самомъ дълъ все кончилось! — прошепталъ онъ. Да, да! я и забылъ было...

- Я оставиль маменьк вашей письмо громко сказаль онь. Надыось, что это письбыло прочитано.
 - » Не мною.
 - Не вами?
- »Да, я читала его маменькъ, по ел приказаийю.
- И не хотъли понять его?
- »Оно не ко мив писано.
 - Оно писано къ матери моей!
- »И очень любопытно.
- Генріетта!
- »Почему жъ мив знать: не отрывокъ ли это какой нибудь изъ вашихъ согиненій!
- Генріэтта! это ужасно: оно писано ко моей матери!
- »Признаюсь, я не такъ бы писала, и не показала бы никому того, что пишу.
- Скажи, Генріэтта: кто оклеветаль меня передь тобою?
- » Воображение ваше клеветало прежде на ваше сердце, и я ему върила.«

— Научи меня своему языку.

» Языку сердца? — Оставимъ разговоръ нашъ, г-нъ Рейхенбахъ... «Она встала.

— Вы хотите итти? Вы боитесь остаться со мною?

» Нисколько! «И горделиво съла на свое мъсто Генріэтта. — Повърьте, г-нъ Рейхенбахъ, что никакое безразсудство не можетъ повредить намъ, если мы сами въ немъ не участвуемъ.

Вильгельмъ схватилъ свою шляпу. Генріэтта поблъднъла.

»Вы идете? спросила она.

— Какая вамъ надобность, иду или остаюсь я— глупецъ, безрасудный, сумасшедшій... Онъ рваль шляпу руками.

»Вы — поэть.

— Еще ядовитая насмышка! Хорошо, Генріэтта, я останусь— я отмицу тебь, буду умыть отметить.... Едва не заплакаль Вильгельмь.

»Стою ли я мщенія вашего?

Старуннка вдругъ закашляла, скрыннула дверью и явилась. Видъ ел показываль явное неудовольствіе. Съ веселою улыбкою всталь со стула Вильгельмъ, взялъ узелокъ, бывшій въ углу, принесенный имъ.

— Позвольте мнъ, г-жа Шульце, попросить у васъ прощенія, и хоть отчасти вознаградить убытокъ, причиненный вамъ моею неловкостью.

Онъ развязаль узелокъ. Въ немъ былъ превосходный, дорогой кофейный сервизъ, чашки съ позолотою, съ живописью.

— Мив пріятно, г-жа Шульце — сказаль Вильгельмъ — представить вамъ въ замънъ вашихъ Саксопскихъ старинныхъ чашекъ, вотъ эту бездълку.

»Какъ, г-нъ рейхеибахъ, вы не забыли объ этомъ?

— Можно ли забыть, почтенная г-жа Шульце! Бездълка эта, конечно, не замънитъ вамъ потери....

»Какъ не замънить!

— Съ прежними чашками соединены были для васъ драгоцъппыл воспоминанія о вашемъ супругь. Желаю, чтобъ эти чашки заставили васъ, напротивъ, забыть о моихъ глупостяхъ.

»Помилуйте, г-нъ Рейхенбахъ! Что за узоры, что за цвъточки, что за позолота! Г-нъ Рейхенбахъ, позвольте попенять вамъ: въдь этакія чашки, въроятно, не дешевы....

— Бездѣлка, г-жа Шульце, если только это доставляетъ вамъ хоть маленькое удовольствіе.

»Но можно ли до такой степени не жальть денегъ!

- Онъ мнъ легко достаются. Впрочемъ, я худо понимаю, я долго думалъ о томъ, что мнъ дълатъ, и наконецъ ръшительно пришелъ объясниться съ вами. Выслушайте меня.
- Прежде всего, извините ради Бога, что внезапная перемъна моихъ обстоятельствъ такъ меня обрадовала, что я прибъжалъ къ вамъ въ послъдній разъ какъ одурълый, надълалъ столько проказъ, оскорбилъ достойную всякаго уваженія г-жу совътницу Шницеръ-Памеръ. Не можете ли вы сдълать мнѣ величайшаго одолженія: исходатайствовать прощенія у почтенной г-жи совътницы?

»Только? «спросила старушка, и видъ ел показывалъ обманутое ожиданіе.

— Нътъ, не только, г-жа Шульце, — но укаженіе, какое должны мы оказывать къ людямь пожилымъ и почтеннымъ, представляетъ мнѣ шутку мою надъ г-жею совътницею такимъ непристойнымъ поступкомъ, что съ тъхъ поръ, какъ я позволилъ себъ эту шутку, признаюсь, совъсть не даетъ мнѣ покоя.

»И! г-нъ Рейхенбахъ!

- Ахъ, нътъ, г-жа Шульце! Вдова чинов-

ника столь почтеннаго, ваша старинная пріятельница....

»Да что вы такъ безпоконтесь о совътниць? Между нами сказать, старая сплетница эта рада будеть простить васъ, если напонть ее хорошимъ кофеемъ, да подарить ей что-нибудь, не дорогое, а такъ — какую нибудь вещицу, любопытную и курьёзную. Мы, конечно, съ ней старыя знакомыя; но признательно сказать, въ жизнь мою не слыхала я отъ нея добраго слова о людяхъ, и сама не видала добра ни на желъзный грошъ. Да, я лучше пойду попрошу милости, вотъ у моего сосъда столяра, даромъ что снъ бъдыякъ и перебивается со дня на день, а ужъ ни за что не соглашусь просить чего - нибудь у совътницы.

— Вы успоконваете меня, почтенная г-жа Шульце, на счеть г-жи совътницы. Позвольте жъ мнъ сказать еще, ч о я ожидаю отъ васъ, какъ отъ старой пріятельницы моей маменьки, добраго и полезнаго совъта.

»Рада служить вамъ.

— Свътъ нынъ сталъ не таковъ, какъ прежде; старыя прекрасныя времена прошли и кончились, кажется, безъ возврата. Во всемъ такая дороговизна; люди сдълались такъ недовърчивы, такъ педоброхотны, что вмъсто добра жди отъ нихъ худа. При такихъ тяжелыхъ обстоятельствахъ каждому изъ насъ надобно подумать, да и подумать о будущемъ, и очень позаботиться о своей участи.

»Въ первый еще разъ слышу я отъ васъ сужденія столь благоразумныя, г-нъ Рейхенбахъ, и никогда прежде не думала я, чтобы вы столь хорошо смотръли на дъла и людей.

- Съ каждымъ днемъ мы становимся старъе, и естественно разсудительнъе и благоразумнъе, почтенная г-жа Шульце. И къ чему же миъ прежде было заботиться о своей участи, когда я инчего не видалъ впередъ? Теперь иное дъло. При помощи Божіей, я надъюсь вскоръ устронть свой каррьеръ.
- »Право? И каррьеръ, върно, прекрасный?
- Теперь отъ меня зависить выборъ; но я не смъю, не умъю ръшиться, безъ совъта людей почтенныхъ и опытныхъ. Отецъ не оставиль мнъ денегъ. Что дълать?

»Охъ! не обвиняйте памяти своего родителя, г-нъ Рейхенбахъ!

— Избави меня Богъ; но въдь и я не виноватъ въ томъ, что родился бъднякомъ? Угодно было Провидънію не дать мит ничего, когда ино-

му предоставило Оно только одинъ трудъ въ жизни — родиться, чтобы послъ того сдълаться княземъ, графомъ, богачемъ, и Богъ въдаетъ чъмъ.

»Не жалуйтесь на Провидъніе. Не уже ли вы думаете, что у знатныхъ, да у богатыхъ ньть своего горя? Повърьте, что на долю каждаго судьба отмъриваетъ порядочный клинъ терпънія. Пасторъ нашъ недавно говориль такъ прекрасно, что каждому при рожденіи судьба назначаеть нести свой кресть. Воть, напримъръ, говорилъ онъ: одному нъчего варить въ желудкъ, а у другаго отъ излишка не варить желудокъ. Разсудите: кому легче? По моему мнънію, бъдняку, потому, что на нъть суда нътъ, и лучше переносить, когда ни чъмъ пособить не можно Позвольте, какъ онъ туть изъясниль, такъ хорошо и прекрасно... Да, легче переносить то, чему пособить не льзя, нежели имъть всъ средства пособить себъ и не быть въ состояніи пособить. Но я перебиваю ваши ръчи...

— Мнъ пріятно слушать ваши благоразумныя наставленія. Обращаюсь къ прежнему. Ни на что не жалуясь, никого не обвиняя, я благодарю Бога за то, что Онъ даль мнъ нъкоторыя способности, и тъмъ доставиль мнъ случай быть

полезнымъ себъ и другимъ. Само Провидъніе вело меня къ тому, что я не сдълался ни чиновникомъ, ни купцомъ, но сдълался литераторомъ. Вы знаете, г-жа Шульце, что это такое?

» Худо понимаю. Литераторомъ, то есть, такимъ человъкомъ, который читаетъ лекціи, учитъ?

— О, нътъ! это профессоры, учители; но литераторы такіе люди, которые, безъ всякаго особеннаго званія, далають кишеи.

»Такъ не уже ли и стихотворцевъ надобпо называть литераторами?

— Какъ же, г-жа Шульце: въдь и они дълаютъ книги, только въ стихахъ, такъ какъ кузнецъ дълаетъ ножикъ, щипцы, слесарь замокъ, каретникъ карету, сапожникъ сапоги.

»Давно думала я, и хотъла спросить у васъ: что это за чудная склонность такая, и какъ научаются люди дълать книги?

— Такъ же, какъ раждаются кузпецы и слесаря, раждаются и стихотворцы и литераторы; способность особенная, г-жа Шульце. Вашъ сосъдъ недавно сдълаль замокъ о семи ключахъ; меня хоть убей, я не сдълаю и объ одномъ ключъ; но за то могу написать семь книгъ, когда ему не написать и семи строкъ. »Не мое дъло судить. Конечно, кому Богь даруеть какую способность, тотъ ей и слъдовать долженъ. Но, воля ваша, мой такой совъть, что это ремесло не жлибное, и такъ говариваль мой покойный Готтлибъ. Почему было не выбрать вамъ лучше званія чиновника, куппа?

— Но, что бы я быль за чиновникъ, безъ связей, безъ рекоменлацій, безъ денегъ? Въкъ биться за переписываніемъ бумагъ, всю жизнь корпъть въ канцеляріи, для того, чтобы съ съдыми волосами просить милостыни — незавидная участь!

»Правда ваша: безъ рекомендацій, связей, случая, что и служить. Вотъ хоть бы нашъ общій знакомый, г-нъ Тифтикъ, который контролеромь по сбору каменьевъ на мостовую съ пріъзжающихъ — работящій, умный человъкъ, и мъсто почетное, а какъ часто онъ пощелкиваетъ зубами...

— Вотъ, сами вы изволите видъть. Быть купцомъ, конечно, рекомендацій не нужно; за то купецъ безъ капитала— мъщокъ безъ денегъ. Право, также не завидная участь высохнуть словно перо, сидя съ перомъ въ конторъ какого нибудь богача, который, при отпускъ вашемъ въ гошпиталь на старости, и двухъ талеровъ не придастъ къ заслуженному жалованью.

»Но въ томъ и другомъ случав, г-нъ Рейхенбахъ, бережливость, аккуратиость, солидность въ дълахъ могутъ составить репутацію дъловаго человъка, и дать ему средства на старости льтъ скопить себь необходимое.

— Прежде, такъ было. Но теперь народъ сталъ ловокъ, смышленъ, а времена худыя. Едва ли кто теперь разбогатъетъ изъ купеческихъ прикащиковъ, или мелкихъ чиновниковъ. Дъловаго народа такая пропасть. Судите: за что прежде ткачу давали по 3 копфштика, за то не дадутъ теперь и 3 хъ зильбергрошей.

»Правда, правда! Нътъ ужъ теперь не выколотишь на наковальнъ такого домика, какой выколотиль себъ нашъ Шмидбухъ...

— Именно. Притомъ, съ перемъною временъ, слова почтеннаго вашего супруга теперь не совсъмъ сдълались върны. Дъло въ томъ, что при такихъ временахъ, какъ нынъ, когда дъловому человъку приходится плохо, бездълью сдълался полный разгулъ, народъ жадничаетъ всякато вздора, и стихотворцамъ теперь такое житье, что лучше всякаго почтеннаго слесаря и булочника.

[»]Правда, правда! Да однимъ ли имъ...

— Ваша правда; однимъ ли имъ! Танцовщикамъ, танцовщицамъ, модисткамъ, фиглярамъ, философамъ, лекарямъ...

» Справедливо. Посмотрите вокругъ себя: всякая мъщанка на гулянь одъта какъ знатная дама, всякая дрянь идеть въ модный магазинъ. А какія деньги, говорять, наживають теперь актеры, да актрисы — и подумать страшно! Ну, а лекаря? Послъ холеры и не говори они, будто что-нибудь знають - но между тъмъ не оберутся денегь отъ нынъшняго хилаго народа: какой башмачникъ въ наше время не болень, будто знатный баринь, кто не лечится и какой лекарь не вздить въ коляскъ? Что-жъ, r - нъ Рейхенбахъ — если вы можете быть стихотворцемъ и дъланьемъ книгъ наживать добрыя деньги, да жить порядочно — будьте стихотворцемъ, литераторомъ. Въдь никакое ремесло не безчестно, если деньги достаются не даромъ, а трудомъ, и не ко вреду ближняго.

— Туть вопросъ мудреный: не даромъ ли, и не со вредомъ ли ближняго добываетъ деньги стихотворецъ и литераторъ. Впрочемъ, никто не спрашиваетъ, какъ кто нажилъ деньги...

»Разумъется. И помните ли... Но ньть, вы

уже не застали покойнаго Якоба, придворнаго шута нашего покойнаго стараго князя: этоть человъкъ 20-ть лътъ ходиль въ дурацкой шапкъ съ побрякушками и въ пестромъ кафтанъ. Шутками нажилъ онъ себъ имъніе, купилъ помъстье Литтенвальдъ, сдълался барономъ Якобомъ фонъ-Литтенвальдъ, и на дочери его женился первый кофишенкъ князя, а сынъ теперь, кажется, первый смотритель надъ княжескими лимонами и апельсинами. А самъ-то баронъ — однажды я встрътила его и не узнала — толстаго, въ огромномъ парикъ и въ коляскъ четвернею, съ гербами!

— Вы предупредили мои слова ванимъ разсказомъ. Такъ, какъ поступилъ баронъ Якобъ фонъ-Литтенвальдъ, надобно поступить, миъ кажется, всякому стихотворцу и человъку легкаго ремесла: нажить себъ деньги, составить хорошее состояніе, и потомъ сдълаться дъловымъ и дъльнымъ.

»И будто можно?

— Легче, нежели вы думаете. Надобно вамъ сказать, что вотъ я теперь могу написать стиховъ, сколько вамъ угодно. И не смъпию ли? Людямъ это такъ правится, что самые зпат-пые не стоятъ ни за чипы, пи за дружбу. Это

понятно, г-жа Шульце: никто не отказывается отъ чашки кофе, или рюмки мороженаго на гуляньт, а многіе ли дадуть бъднять какому нибудь крейцерь, или краюшку хлъба? Тенерь... Но, извините — вы что-то хотъли сказать — я перебиль вашу ръчь.

»Нътъ! я только согнала муху; онъ къ осени дълаются такія назойливыя — никакъ не отгонишь! Продолжайте, г-нъ Рейхенбахъ.

— На чемъ же остановились мы?

»На томъ, что знатные люди бываютъ нынѣ друзьями стихотворцевъ, и за ничто даютъ имъ чины и всякое добро.

— Точпо. Глупо цълый въкъ оставаться шутомъ, или стихотворцемъ; но скажите: не умно ли поступитъ тотъ, кто, побывши въ подобной должности нъсколько времени, добудсть что ему надобно, раскланяется съ своею дурацкою шапкою и съ стихами, и сдълается помъщикомъ Литтенвальдскимъ? Прошу сказать: скоро ли доберется до такого помъстья какой нибудь контролеръ, или купецъ?

»Истинно, истинно!

— Кажется, что такъ, г-жа Шульце. Теперь скажу вамъ о себъ, что мнъ объщаютъ все, что угодно, и моими стихами восхищаются всъ наперерывъ.

»Xa, xa, xa!

— Смъйтесь, г-жа Шулце, а дъло такъ. Я могу показать вамъ условіе, по которому директоръ театра заплатилъ мнъ 2000 талеровъ за мою трагедію; я могу показать вамъ письмо секретаря барона Калькопфа, который предлагаетъ мнъ мъсто смотрителя за чернилицами въ министерской канцеляріи, съ 1000-ю талеровъ жалованья и чиномъ каждые два года. Годъ, два, три, четыре, пять — я, съ туго набитымъ кошелькомъ, дъловый чоловъкъ — чортъ побери стихи...

»Готова обнять вась, г-нъ Рейхенбахъ.

— Благодарю васъ, почтенная Г-жа Шульце, и вы мив позволите послв такого лестнаго изъявленія вашего дружескаго участія, предложить вамъ надлежащимъ порядкомъ то, что составляеть одно изъ лучшихъ моихъ желаній — честь быть сыномъ вашимъ?

Генріэтта оставила свою работу, быстро поглядѣла на Вильгельма, ничего не сказала, ни сколько не измѣнилась въ лицѣ, и опять принялась за иголку.

— Вы такъ благоразумно разсуждали, г-нъ

Рейхенбахъ, что я не могу отказать въ моемъ согласіи на предложеніе ваше. Признаться, съ Генріэттою я говорила мимоходомъ — такъ, мимоходомъ . . .

»Маменька! я имъла честь сказать вамъ мои мысли: вашъ выборъ долженъ все ръшить. Г-ну Рейхенбаху надобно жениться, и дъло это до меня нисколько не касается.

Какъ: нисколько не касается, дурочка?
 Да, ты главное лицо въ нашей комедіи.

»Если вамъ н г-ну Рейхенбаху угодно меня ввести въ эту комедію, я должна зависъть отъ воли вашей, маменька.

Вильгельмъ кусалъ ногти, едва скрывая свое бъщенство, и думая: »Она поняла все!«

— И такъ, со стороны милой дочери вашей нътъ препятствій — сказаль онъ. — Позволите ли мнъ послъ сего надъяться, г-жа Шульце, что я могу почитать это важное дляменя дъло почти окончаннымъ, а себя благополучнъйшимъ изъ смертныхъ?

»Если вы мнѣ позволяете рѣшать, то я возражу одно: для полнаго порядка дѣла надобно согласіе вашей маменьки, г-нъ Рейхенбахъ. Это необходимо.

[—] Благоразумно, г-жа Шульце.

»Знаете ли, какой важный шагь дылаете вы? И при немъ можно ли забыть великое слово: »почитай отца твоего и мать твою, да благо тебъ будетъ и долгольтенъ будень на земль!« Спроситесь у маменьки вашей, получите ея согласіе, и тогда... хоть я и не сомнъваюсь въ согласін г-жи Рейхенбахъ...

»Говоря по прежнему, я сказаль бы, что мнъ извъстно сердце ея, извъстна любовь ел ко мнъ, что счастье мое есть ея счастье - но теперь я не осмълюсь всего этого говорить. Позвольте миъ писать къ ней, увъдомить ее.

- Кажется, родство съ нами не нанесетъ ей безчестія. Мой покойный Готтлибъ оставиль дочери честное имя, и я успъла по смерти его такъ вести себя, что конечно самый злой языкъ не пошевелится сказать что-нибудь обо мнь, либо объ Генріэтть.

»Боже мой! кто сомнъвается въ этомъ! Но предоставимъ все будущему, и дадимъ полную волю на ръщеніе маменькъ моей.

— Ахъ! вы меня растрогали, г-нъ Рейхенбахъ! Признаюсь, не ожидала я такого благоразумія, такой удивительной разсудительности.

» Можно ли иначе поступать, почтенная г-жа Шульце, тому, кто почти опредъленъ Смотрич. п.

5

телемъ за чернилицами въ канцеляріи Его Высокопревосходительства барона фонъ - Калькопфа! Вы не повърите, какъ постарълъ я въ самое короткое время — не скажу поумнълъ я быль вътренный мальчишка, но теперь другое, совствы другое... Ахъ! какая разница, хоть и не перестаю все - таки предаваться мечтамъ воображенія. Мнъ мечтается, напримъръ, какъ можно быть современемъ счастливымъ, имъя прекрасный домъ, хорошій экипажъ, порядочную услугу, когда притомъ всякій снимаетъ шляпу и при каждомъ словъ прибавляеть: Ваше Благородіе, Господинъ Совътникъ фонъ-Рейхенбахъ! Не правда ли, сударыня — онъ оборотился къ Генріэтть — это такъ хорошо, что плакать хочется - разумъется, отъ радости?

— Да, это должно быть очень пріятно.

»И притомъ избранное общество, вечера, собранія, гдѣ при всей веселости вы замѣтите строгую экономію хозяевъ, совершенный порядокъ, даже въ расположеніи кусочковъ буттеръброда по числу гостей; гдѣ веселятся отъ всей души, и въ то же время оглядываются, чтобы не стать спиною къ какому-нибудь Совѣтнику, и не забыть въ котильонъ дочери какой нибудь г-жи Совътницы; гдъ все такъ чинно, благопристойно...

— Воть, что мпѣ всегда не нравилось въ наникъ биргеръ-клубахъ, г-нъ Рейхенбахъ: тутъ
многимъ позволяютъ много свободы. Какойнибудь филистеръ толкаетъ подъ бока мать,
прыгая съ дочерью, такъ, что становится досадно смотрѣть... Отъ этого я не люблю часто
заглядывать въ наши клубы. Прежде совсѣмъ
не такъ бывало... Да, что и говорить: такіе
ли и танцы бывали въ старину, какъ нынъ! Наши менуеты, что за прелесть такая! Поклонамъ
конца пѣтъ; учтивостямъ, нѣжностямъ, взглядамъ тоже. Съ тѣхъ поръ, какъ ввелись вальсы, повъръте, головы больше стали кружиться
и время стало хуже.

»Многіе утверждають, г-жа Шульце, что, для общаго благоденствія, снова надобно-бъ было ввести въ употребленіе парики и фижмы. И, если угодно, это отчасти и правда: не слишкомъ распрыгается мужчина, когда боится разстроить свою прекрасную высокую прическу, или дама, когда едва бокомъ проходить въ двери...

Вы подсмънваетесь надъ старымъ временемъ...

- »О, совсемь неть! Да, кстати, сударыня; позвольте мнь попросить васъ посмелться надъ глупостью нашего времени, позвольте попросить васъ пожаловать въ театръ, когда станутъ давать мою трагедно.
- Въ театръ? Ахъ! я ужь и забыла, когда бывала въ театръ, а Генріэтта еще съ роду не посъщала театровъ.

»Да, въ самомъ дълъ, я было совсъмъ и забылъ. Тъмъ пріятные мнъ будетъ доставить вамъ это удовольствіе, сударыня.

- Какъ маменькъ будетъ угодно.

»Почему жъ намъ не повхать? Кажется, тутъ ничего не будетъ неприличнаго: ты будень съ матерью... Только какъ домой пробраться, ночью!

- У меня будеть карета не безпокойтесь. Вы увидите любопытное зрълище: весь дворъ, министровъ, дамъ, наряды, освъщение ну, и трагедію мою. Ложа у насъ будеть прекрасная. Не уже ли вамъ не любопытно будетъ, Генріэтта, посмотръть даже и на дамскіе наряды?
- »О, съ удовольствіемъ! « Она улыбнулась; но послѣ того встала и немедленно ушла изъ комнаты.

— Глупецъ! — думалъ Вильгельмъ — что ты сдълалъ! Какое нелъпое намъреніе раздосадовать, огорчить Генріэтту, отмстить ей своєю холодностью, своими поступками и словами...

Что если послъ этого ты навсегда потерялъ ее?

Холодный потъ выступиль у него на лбу отъ внутренняго страданія.

— Терзать милое это созданіе, разрушать радости бытія, которыхъ и безъ того такъ мало въ ел жизни, и уничтожать, осмънвать всъ милыя, кроткія мечты ел о будущемъ... Но не сама ли она виновата? Это тихое, кроткое, созданіе не показало ли своего несноснаго упрямства, нестерпимыхъ прихотей? Не становился ли л передъ нею на кольни, не умолялъ ли простить меня, если только л виноватъ? О великій Боже! —

Однакожъ мщеніе далеко увлекло Вильгельма— въ этомъ невольно сознавался онъ самъ себъ. Проклятая вспыльчивость, проклятая горячая кровь! Въ минуту гнъва, минуту забывчивости, когда кровь кипить и волнуется, и бъетъ такъ сильно отъ сердца въ голову, кажется, недостаетъ словъ, которыми можно выразить досаду, человъкъ готовъ сердиться на самый языкъ, который такъ въжливъ и ласковъ;

ему хотьлось бы рыкать по львиному, и какъ тигру сверкать глазами въ то же время.... И кто не раскалвался потомъ за свои минуты забывчивости, кто не хотълъ бы годомъ жизни выкупить иной часъ!... Но прошедшее невозвратно. Капля капаетъ и въчность ее поглошаетъ.

Вильгельмъ сидълъ блъдный, безмолвный, не слыхалъ, что говорила г-жа Щульце. У него оставалось еще не много разсудка; онъ могъ понять, что еще полчаса, и вся репутація благоразумнаго человъка, пріобрътенная съ такимъ трудомъ отъ г-жи Шульце, разлетится прахомъ; могъ понять, что ему надобно было поскоръе раскланяться съ старушкою. И онъ спъшилъ раскланяться, съ отчанніемъ въ сердцъ, едва понимая, что дълаетъ.

Въ съняхъ увидълъ этъ Генріэтту. Она стояла къ нему спиною, и видно было, что опа плакала, что она старалась осущить глаза свои отъ слезъ, и возвратиться съ видомъ спокойпымъ.

[—] Генріэтта! — онъ схватиль ел руку.

[»] Вы элой человека, г-нъ Рейхенбахъ! « отвъчала она — слезы градомъ лились изъ ел глазъ. »Этого я не знала прежде.

Какъ молнія мелькнула она и скрылась. » Нътъ, Генріэтта! я не злой человъкъ, но — глупецъ, большой глупецъ! « И онъ удалился скорыми шагами.

TAABA III.

Если есть върное и удачное уподобление свъта чему нибудь, то, конечно, уподобление его театру. Въ самомъ дълъ, посмотрите, какъ они между собою похожи. Хотите ли видъть върное различіе міра Древнихъ и міра Новыхъ? — Вспомните о театръ Грековъ, съ открытымъ небомъ вмъсто потолка, съ его дневнымъ сіяніемъ, вм'ьсто лампъ и кенкетовъ, съ его масками, котурнами, амфитеатрами, звучащими стънами; сообразите съ нимъ наши театры, съ ихъ вечерними освъщеніями, кулисами, оркестрами, отгородками, гдв по ствнамъ помвщаются зрители, креслами, стульями, капельдинерами, занавъсами, разъъздомъ каретъ, буфетами, аффишами, билетами. Какъ прежде не пришло въ голову теоретикамъ и подражателямъ Древпихъ подобное сравнение? Послъ него не надобно было писать тысячи четырехъ сотъ томовъ о разниць драмы древней и новой; о томъ, что Абинянинъ въ своемъ хитонъ, подъ Абинскими портиками, нисколько не походилъ на напудреннаго посътителя Пале-Рояльскихъ галерей, и что увърять въ родствъ ихъ, все равно, что увърять въ волокитствъ Алфея за Сеного, вмъсто Аретузы.

Но одно ли это! Сколько философскихъ идей было выводимо о томъ, что люди, какъ актеры, не тв за кулисами, какіе являются на сцень; что такъ же и въ міръ, какъ на театръ, видимъ людей на ходуляхъ: одни властители, другіе герои, третьи вельможи, четвертые нищіе, пятые умные, шестые дураки; но — Идите съ лироль, благотестивые ліряне! контилась коледія — и все кончилось, всъ равны за кулисами гроба, когда падаеть могильный занавъсъ, заступъ стучитъ у дверей, и герои и дураки, вельможи и умные ъдутъ въ свои настоящія квартиры на дрогахъ, похожихъ на актерскіе экипажи. Но загляните еще въ театръ: передъ вами великолъпный чертогъ, сады Армидины, все весело, радостно, поетъ, плящетъ... Разъ два! Раздался свистокъ — сады ушли подъ полъ, чертоги

улетьли къ потолку - гремитъ громъ, бурл, шумъ, смятеніе, корабль бьется въ волнахъ, трещить, разбивается — кругомъ угрюмыя скалы, мрачное небо. Не то ли самое въ міръ, по свистку времени? Но чего бонтесь вы, разсматривая, что тамъ, гдв прежде цвъли города, бъльлись флоты, высились мраморные домы, кипъло веселое народонаселеніе, тамъ нынъ царствуеть чума, вътеръ развъваеть пески пустынь, море заражаеть гнилостью, разбойникъ стережеть одинокаго путника, и проводникъ робко указываетъ ему и печально говорить: »Пальмира, это Тиръ, это Эфесъ, это Кароагенъ, Вавилонъ « — чего боитесь вы? — Перемънились декораціи, актеры ушли, смінились другими, и только!

Отставной актеръ дъйствительнаго міра, Оксенштирнъ, философъ подъ старость, какъ многіе дълаются мудрецами, когда нътъ зозможности дурачиться, вывелъ цълый рядъ уподобленій міра театру. Справьтесь объ этомъ въ книгъ, которая издана въ Рускомъ переводъ, подъ именемъ Мильній иравоучительных на разные слутаи, съ правилами и разсужденіями, и напечатана въ типографіи Окорокова, въ Москвъ, въ 1792 году. Это очень любопытно. Оксенинтирнъ утверждаетъ, будто міръ разыгрываетъ драму: Впеное тоже; будто глупость въ міръ передвигаетъ кулисы, умъ снимаетъ со свъчь, мудрецы сидятъ, смотрятъ и молчатъ, дураки сидятъ, смотрятъ и хлопаютъ, потому, что большая часть актеровъ худо знаютъ свои роли и плохо играютъ, и проч. и проч. и не знаю: правда ли все это? —

Но гробовой мастеръ всего менъе думаетъ о суеть міра, обивая бархатомь и позументами маленькій домикъ какому-нибудь непомъщавшемуся на тысячь верстахъ человъку; а могильщикъ и не подумаетъ о бренности людей и дълъ, работая заступомъ, когда все вокругъ него плачеть, и пыльныя глыбы, стуча о гробъ, говорять: прощай! оставшимся на земль. Такъ и въ театръ: никто не помышляетъ о подобін міра театру и театра міру, никто не занимается поучительными и нравоучительными сравненіями никто. Директоръ расчитываетъ барыши отъ сбора; режиссеръ миритъ за кулисами Нерона съ Лодонскою, которые подрались, завтракая вмъсть; продавецъ билетовъ считаетъ деньги, пока покупатели ихъ пересчитывають ребры другь у друга; капельдинеръ сметаетъ пыль съ кресель, на которыхъ развалится зівающая

льнь зрителя; подпольный работникъ чиститъ лампы и пачкаеть свою рожу — всъ заняты — отъ поэта, мучимаго неизвъстностью успъха, до собирателя булавокъ по ложамъ, у котораго не достаеть еще дюжины булавокъ на гривенный хлъбъ.

Но на этой изнанкъ театра сколько любопытнаго! Туть прочь всв обольщенія. Что это за пыльныя холстины, что это за обломки бревенъ, обрубки досокъ, запачканныя лъстницы, груды хлама? Боже мой! это бурныя моря, льса дремучіе, сады очаровательные, гдь вчера отчаявался Танкредъ, вызываль бъса Фрейшицъ, умирала Фиделіо, при звукахъ Россини, Вебера, Бетховена. А это что за небритый, нечесаный, дурно одътый народъ; что за лоскутья графленой бумаги разбирають они при сальныхъ огаркахъ, и что за нельпая пискотня раздается отъ ихъ скрынокъ, флейтъ, гобоевъ? Это вчерашніе очарователи ваши, люди, которые восхитять васъ сегодня согласіемъ музыки, выразять страсти своими скрыпками, и заставять подъ такть летать Зефировь и Нимфъ по сценъ, и Юпитера приноравливать свой громовый голосъ подъ меру речитатива.

Полное разочарованіе! Это анатомическій те-

атръ, не храмъ Изящнаго - туть анатомять -созданіе поэта. Темно, какъ въ головь педанта; чуть во мракъ блистаютъ тусклые огарки; занавъсъ поднятъ и висить угломъ сверху; сцена открыта до самой кровли театра и до кирпичныхъ, неподдъльныхъ стънъ его - скелетъ очарованія, ужасный скелеть, и толпа людей, которые должны передавать твореніе поэта зрителямъ, кажутся студентами Медико-Хирургическихъ лекцій; они держать въ рукахъ разрубленное на части тъло поэта - тетрадки, роли свои, и зъвал, разговаривая, смъясь, невнимательно ломають прекрасные стихи драмы, пока суффлеръ въ отчаяніи кричить изъ своей канурки, что Юлій Цезарь вреть безъ милосердія; Дездемона хохочеть; Отелло, поправляя свой галстухъ, говорить очень спокойно: »Достань миъ яду какого нибудь, Яго — въ эту же ночь — не хочу объясияться съ нею она можетъ опять очаровать меня - яду, и въ эту же ночь «...

Время, назначенное для представленія Арлинія, приближалось; все было готово; роли выучены; начались репетицін. Вильгельмъ явился въ театръ, и сидъль въ ложъ директора; толпа актеровъ и актрисъ тъснилась на сценъ, гдъ репетировали вдругъ новую оперу, старый водевиль и *Арминіл*. Пожавъ руку Вильгельму, директоръ убъгалъ изъ ложи, прибъгалъ опять, спорилъ, приказывалъ, сердился, смъялся.

- Что-жъ не начинаютъ Арминія? »Г-жа Элеонора не прівзжала.
 - Чтобъ.... Репетируйте Палага.

Облокотясь локтями на край ложи, задуминью сидълъ Вильгельмъ, и въ смъщенномъ шумъ, шарканьъ, чиханьъ, смъхъ, хохотъ, нескладицъ музыки размышлялъ, когда доносились къ нему, вмъстъ и поперемънно, то клочекъ куплета, то лоскутокъ аріи, то обрывокъ разговора — настоящая олла потрида Искусства и Жизни.

»Судья на взятки не пошель—

Ну, воть бъда, бъда какая!

Какой осель, какой осель!

Что за привычка предурная:

Ръшить дъла на чистоту,

Смотръть на правость только дъла«....

— Не то, не то! Начинай снова. Тра-ла-лала-а, а, утъ, ре, ми...—

»Не говори ты мнъ объ ней: въ три мъсяца опа стоитъ мнъ сто талеровъ« — И если хочешь плутовать, Умъй концы умнъе прятать! —

»Мальвина, Мальвина! того ли ждаль я за сію любовь, за сіи мученія, каковыми ты истерзала вст помышленія любящаго тебя Эдуарда!« — Прекрасныя устрицы, и какъ дешевы... и Шабли какое! —

Арсена! ты-ли? --»Боги! Роландо!«

— Тактъ не выдержанъ — разъ, два, три, разъ, два, три! — »Завтра въ полночь, въ улицъ Ферронери! Пароль: кровь и трупъ! « — Увъряю тебя, что всего за мной осталось три партіи и одна бутылка! — »Все-ли въ добромъ здоровьъ? — И вы здъсь!« — Что за прелестная погода! — »Только на три дня, сдълай милость! — Ха, ха, ха!...—

Между тымъ въ ложъ директора былъ свой отдъльный міръ.

»Почему не хотите вы играть въ завтращнемъ водевилъ?

— Г-нъ директоръ знаетъ причину.

»Если я васъ спрашиваю, слъдовательно, не знаю.

- Я боленъ.

»Върно, прихотями г-жи Анджели?

— Я простудился и кашляю.

»Прошу безъ отговорокъ.

— Если такъ, то позвольте сказать, г-нъ директоръ, почему вы согласились на передачу роли, когда ее выучила дъвица Анджели?

»Я, сударь, просиль объ этомъ директора. Роль кокетки совсъмъ не годится для нея.

— Я не съ вами говорю, г-нъ Шперлингъ; вы псиавидите дъвицу Анджели, и важе миъніс, что она дурно выполнитъ роль кокетки, не должно имъть мъста.

»Вы смышиваете роль на сцень съ ролею за кулисами — я не спорю о послъднемъ.

— Вы оскорбляете меня.

Bon jour, mon cher! Что у тебя новаго?

— Ничего, покамъстъ. Говорилъ ли ты барону о княжеской ложъ?

»Да, онъ никакъ не соглашается. Зеркало надобно поставить въ углу, въ отражении. Ея Свътлость терпъть не можетъ свъта съ лъвой стороны.

 Четвертой ноги у слона недостаетъ, г-нъ директоръ.

»Да въдь былъ нанять какой-то дуралей?

 Оказался страшный пьяница, и сегодня съ утра пьянъ; весьма опасно, что испортитъ все; на репетиціи онъ такъ далеко ушелъ впередъ, что разорвалъ слона, и чуть не пова-

»На что тебъ слонъ?

— Въ Шахг надира.

»Найми стараго гофмейстера нашего: онъ превосходно сыграетъ. Что за скотина, mon cher! Ты слышалъ о вчерашнемъ происшестви?

— Ната!

»Прелесть! Когда надобно было пить за здоровья, онъ самъ взялся махать платкомъ артиллеристамъ. Пажи окружили его; спрашивали зачемъ онъ стоитъ у окна; не верили, что по его знаку начнуть палить. Ловкій бъсенокъ, Форшъ горячо заспорилъ съ нимъ, спросилъ: Какъ онъ махнетъ? — »Вотъ такъ! « вскричалъ съ досадою гофмейстеръ. Надобно же, чтобы въ это время князь вль супь. Ты знаешь его привычку: держать тарелку въ рукахъ подлъ самаго рта; и вдругъ - гофмейстеръ машетъ, артимеристы почитають это сигналомъ - пали! бухъ! и стъны задрожали — тарелка выпала изъ рукъ князя отъ испуга и досады-супъ пролился на новый фракъ его — часть попала на сосъдку — та кричить, вскакиваеть; глухой каммергеръ Дурсть сидъль подль нея, пиль красное вино, со страха поперхнулся, вино

хлещеть у него изъ рота, изъ носа, брызжеть на другую сосъдку — и чуть весь столь не полетъль вверхъ ногами.

- Превосходно! Что же потомъ?
- »Ты глупъ!« сказалъ князь чудаку. Опъ поклонился »За то въренъ!« промолвилъ онъ. Всъ захохотали; Форша посадили на хлъбъ и на воду, съ подтвержденіемъ, чтобы впередъ дураковъ не трогалъ.
- Ваше 3-е явленіе III-го действія надобно передвинуть, г-нъ Рейхенбахъ — нивакъ нельзя поставить декораціи явса посль 2-го явленія.

»Да, любезный поэть! я и забыль сказать вамь; подумайте объ этомъ.

 Но эффекть слъдующаго явленія пропадеть.

» Что дълать! Мы недавно переменили сцены въ Шекспировомъ Коріолани, и поставили 2-е явленіе ІІІ-то дъйствія посль 6-го во ІІ-мъ. Кстати, къ хору Бардовъ капельмейстеръ требуетъ еще двухъ стиховъ: не выходитъ дроби для тромбона.

— Но онъ самъ вымаралъ въ началъ два стиха?

»Да, но вы оканчиваете печально:

И, угасал за дубравой, Напоминаетъ радость мив...

»А тутъ слъдуетъ выходъ Марабодуя, и онъ находитъ сущую невозможность тромбоны.... Переговорите съ нимъ.

Между тъмъ на сценъ уже началась настоящая репетиція Арминія. Вильгельмъ ушель туда, прислопился къ кулисъ, смотръль, слушаль, и думаль, видя замаранныя, сырыя стъны, запачканный поль театра, смотря на Арминія въ сюртукъ, Веледу въ шляпкъ, на холодность, съ какою стипывались всъ дъйствующія лица, невнимательность къ ролямъ, и толиу разнообразныхъ лицъ, актеровъ, актрисъ, дилеттанти, аматеровъ, стоявщихъ и сидъвшихъ на сценъ.

Онъ думаль: «Неуже-ли это значить создавать, производить Излициов? На чердакь, на лоскутьяхъ сшивались мысли мои, и сколько разъ отчаявался я выполнить идею, первоначально мелькнувшую въ головъ моей! И теперь эта идея не похожа ли на солнце, срисованное помеломъ съ настоящаго солнца? Тотъ ли это Арминій, какимъ явился онъ мнъ первоначально, въ минуту восторга, когда вдругъ выразились въ душъ моей смълая завязъ

ка, дъйствіе, развязка драмы; когда мит казалось, что я вижу его живаго, ужасъ Римлянъ, грозу Германскихъ льсовъ; слышу вопли поражаемыхъ имъ Римскихъ легіоновъ и побъдную пъснь его воиновъ? Творить ли значить: набирать стихи, марать ихъ, выдумывать, думать о дъйствін на зрителей, объ условіяхъ сцены, о томъ, какъ сжать на пространствь 50-ти шаговъ, въ три часа времени, какъ выразить 50-ю человъками великую драму настоящаго бытія, которая совершалась цълые годы, милльонами людей, раздвигалась отъ Капитоліи въчнаго Рима до льсовъ Панноніи и волнъ Батавскихъ? И этотъ декораторъ, этотъ машинистъ, этотъ плешивый капельмейстеръ, требующіе урьзокъ, выръзокъ, перемънъ - и эти люди въ сюртукахъ и фракахъ, въ шинеляхъ, чепчикахъ, шляпкахъ — имъ выразить, имъ воскресить великое бытіе давно-прошедшаго? Они подымутъ изъ могилы тебя, бранноносный, дикій, неистовый Арминій, тебя, пламенная, вдохновенная Веледа!.. Бъдно Искусство человъка, жалко оно, каррикатура, игрушка праздности людей, минутная прихоть художника... Да! мысль его слетьла съ неба, но люди подрались за нее и втоптали ее въ грязь земную.

Трагедія была прорепетирована дъйствующими лицами. Положили репетировать ее въ слъдующій разъ въ костюмахъ.

- Какъ вы находите? спросиль директорт, подходя къ Вильгельму.
- »Я совершенный невъжда въ сценическомъ искусствъ«, отвъчалъ онъ.
- И не уже ли вы не сдълаете ни одного примъчанія?
 - -» Ничего, г-нъ директоръ.«
- Добрый, милостивый творець! Посмотрите-ка, когда будуть репетировать что-нибудь Вейссево онъ съ ума сходить, бъсится, бранится, ссорится, самъ пищитъ и декламируетъ изъ всъхъ силъ.

Голосъ Вильгельма обратилъ на него вниманіе Элеоноры. Опа была постоянно горда, холодна, казалась королевою среди почтительныхъ подданныхъ, ни съ къмъ не говорила, садилась на стулъ, молчала, когда были не ея ръчи; неохотно вставала, когда надобно было читать ей свою роль; она читала ее тихо, невнятно, вяло.

Быстро взглянула она на Вильгельма. »Васъ ли я вижу, г-иъ Рейхенбахъ? Мы не видались такъ давно...

Въ человъкъ есть какое-то предчувствіе, котораго не объяснить ни Медиципа, ни Психологія. Что это такое? Не уже ли голосъ души?

Въ одно мгновеніе Вильгельмъ успъль вспомнить, что онъ видълъ Элеонору только одинъ разъ, и съ тъхъ поръ не видался съ нею; успълъ вспомнить первое впетчатлъніе свое, то, что сохранялось въ душть его послъ сего свиданія; повърить чувство, испытанное имъ, когда онъ получилъ отъ нея записку. »Прочь отъ этой женщины!« говорило что-то душть Вильгельма.

Но Элеонора подошла къ нему, глядъла на него задумчиво и робко, щеки ся покрылись легкою краскою.

- Я не знала, что вы здъсь, г-нъ Рейхенбахъ. Моя роль шла бы иначе. Я попросила бы вашихъ совътовъ во многомъ.
 - » Могу-ли совътовать...
- Ахъ! оставьте комплименты! Я не должна существовать для васъ иначе, какъ ваше твореніе. Создайте изъ меня вашу Веледу, передайте мнъ ея душу!

»Г-жа Элеонора....

— Оставьте г-жу Элеонору, ради Бога! Чувствую, какъ вамъ, съ вашею поэтическою, свътлого душето, грустно смотръть на всю эту поддълку Искусства. Оно ничтожно, это бъдное Искусство, но кто-же смотритъ на него? Не уже ли душа не можеть понять того, что дълала другая душа, хотя бы въка раздъляли ихъ? Если поэть въ состояни оживить прошедшее стихами, почему не оживить его актеру своею игрою, если онъ вполнъ пойметь мысль поэта? Послъ этого не надобно ни подставокъ, ни декорацій: мъсто душъ поэта, и кто не увлечется ел вдохновеннымь голосомъ?

»Вы изъяснили мив тайну Поэзіи и Искусства, о которой сейчасъ думалъ я.

- Г-нъ Рейхенбахъ! свободны ли вы на два часа?
 - »Я ничъмъ не занятъ.
 - Поъдемъ-те со мною.

Она подала ему свою руку, и машинально повлекся за нею Вильгельмъ. Модная коляска подкатилась къ подъвзду; черезъ нъсколько минутъ они мчались по улицамъ. Элеонора молчала, отодвинувшись въ уголъ коляски; Вильгельмъ прижимался къ другому уголку коляски, безъ мыслей, безъ размышленій.

Онъ ничето не замъчалъ вокругъ себя. Онъ не видълъ и того, что когда коляска остановилась у великольпнаго подъвзда жилища Элеоноры, когда онъ подаль руку Элеонорь и, слегка, какъ вътерокъ, опираясь на его руку, сошла Элеонора, въ это самое время подходили къ нимъ двъ пъшеходки. Одна была старуха, въ старинномъ огромномъ чепчикъ, шла и говорила безъ умолку; другая была молодая дъвушка, и молча слъдовала подлъ старухи. Коляска помчалась прочь, и дъвушка мимоходомъ остановилась, смотръла на богатую лъстницу, по которой шелъ Вильгельмъ, и велъ Элеонору, довърчиво опиравшуюся на его руку. Дверь съ хрустальными стеклами растворилась передъ ними къ верху лъстницы. Дъвушка еще стояла и смотръла.

Старушка прошла уже мимо подъвзда, оглянулась, и не видя своей сопутницы, громко кликнула ее:

»Генріэтта! что ты засмотрълась тамъ?

Молодая дъвушка тяжело вздохнула и поспъшно догнала старушку. Онъ опять пошли рядомъ и скрылись изъ виду.

Да, это была Генріэтта съ матерью своею. Не помню кто сказаль, что не понимаеть ни любви, ни кокетства съ замаранными руками и въ ситцовомъ платьъ. Гдъ недосугъ любить, тамъ нъкогда и горъть страсти. Можно ли цъловать руку, когда она не манитъ къ поцълую своею прелестью? Это неправда.

Но съ молодою прелестною женщиною промчаться въ легкомъ экипажъ, войдти въ ея жилище, гдв окружать вась всв приманки роскоши, състь въ ел будуаръ, гдъ такъ заманчиво скрыть дневный свъть цвътными занавъсками, гдъ вы тонете въ эластическихъ подушкахъ дивановъ, гдъ запахъ цвътовъ лельетъ ваше обоняніе, зеркала отражають переливы свъта и тыни, гдъ затыйливое воображение истощено въ уборахъ стънъ, пола, потолка, гдъ неслышно ступаете вы по Англійскимь коврамь, гдь все говорить воображенію вашему - и если притомъ хозяйка такъ мила, такъ мила, и небрежно сидить подлъ васъ, и глаза ея нъжно устремлены на васъ, когда легкое дезабилье высказываеть вамь половину тайнь ея очаровательной красоты, и рука ея брошена небрежно на диванъ, бълая, пухлая, съ золотыми браслетами рука, и ножка видна вамъ на бархатной скамейкъ.... Бъдная голова ваша! я пожалью объ ней, если она закружится; пожалью объ васъ, если не закружится....

Зная свыть только изъ романовъ, какіе ус-Ч. II.

пълъ прочитать, и составляя себъ объ немъ какія-то свои метафизическія понятія, Вильгельмъ думалъ объ немъ, или слищкомъ хорощо, или слишкомъ худо. Онъ воображаль себъ людей либо ангелами, либо демонами. Опъ не зналъ ни полу-разврата, ни полу-добра; и разврать всегда думаль онъ встрътить отвратительнымъ, отталкивающимъ, добро всегда очаровательнымъ, углекающимъ. Воображая себъ тирановъ Исторіи, Калигулъ, Коммодовъ, Геліогабаловъ, онъ видълъ въ нихъ какихъ-то тигровъ въ человъческомъ образъ, которые самого природого, съ перваго дня рожденія, осужлены пить кровь человъческую, терзать людей для того только, чтобы терзать ихъ. За то въ Ликургахъ, Нумахъ, Генрихахъ Четвертыхъ, онъ видълъ людей безъ крови и желчи, и отъ чистаго сердца върилъ, что они считали каждый день пропавшимъ, когда не сдълали добра. Такъ върилъ онъ возможности Аркадскихъ пастуховъ въ Греціи, патріотизму и геройству варваровъ древней Германіи -- и Богъ знаетъ чему еще върилъ Вильгельмъ. Грибоъдовъ правъ: тепло тому на свътъ, кто всему въритъ. Но жаръ лихорадки не есть еще здоровье.

Вильгельмъ не зналъ - и кто, бывши мо-

лодъ и поэтъ, знаетъ это — не зналъ, что земля только въ воображении поэтовъ бывала Аркадіею, а Неронъ только по миѣнію историковъ зажигалъ Римъ для препровожденія времени, отъ ньчего дьлать; не зналь, что міръ
нохожъ на свътлую лазурь, безпрестанно покрываемую облаками и тучами, и эти тучи
такъ же необходимы, какъ и чистая, свътлая
лазурь небесъ. Онъ не зналъ, что только смъсь
этой лазури съ тучами есть истипная жизнь и
поэзія земной поверхности, какъ величайшая
поэзія невидимой нами внутренности земли есть
огнедышущая гора, гдъ борятся огонь и вода,
два величайние поэта земли нашей.

Онъ не зналь, что змъй-искуситель являлся пашей праматери въ видъ прелестной мудрой змън, въ очаровательномъ саду; не зналъ, что порокъ и допынъ облекается въ чешую змія; что самое зеркало Истины со всъхъ сторонъ обвиваетъ змъл, закусившая хвостъ свой, и что эта змъя разовьется только при кончинъ міра, какъ върили Скандинавы; что падшій духъ можетъ быть такъ же обольстителенъ своею поэзіею, сколько ужасенъ погибелью.

Онъ воображаль себь Элеонору какою - то Фриною древнихъ Грековъ, Нипоною Ланкло, безстыдною, наглою красавицею; воображаль ея жилище какимь-то будуаромъ Восточныхъ гаремовъ, гдъ грубое сладострастіе гордится своимъ безстыдствомъ. Одалиска стараго вельможи, баядерка дряхлаго богача!» вертълось въ головъ Вильгельма. »Что мнъ до того, если ты не продаешь красоты своей первому прохожему за насущный хлъбъ — ты развратная женщина, и святое чувство добра и поэзіи недоступно тебъ!»

Когда въ первый разъ опъ угидълъ Элеонору, только изумился онъ, что видъ ея былъ увлекательно-очарователенъ, что въ глазахъ ел видна была тихая, кроткая задумчивость, что голосъ ея невольно падалъ въ сердце...

Онъ узналъ послъ того всю прозу любви своей къ Генріэттъ, и теперь увидълъ снова Элеонору, опять тихую, задумчивую, какъ мечту поэзіи.

Ничто не напоминало въ ней одалиски и баядерки. Тишина жилища, уединеніе, всюду сльды высокаго образованія, пламенной любви къ искусству — фортепіано и арфа съ твореніями Моцарта и Бетховена; бюстъ Шиллера, въ вънкъ изъ лавровъ и незабудокъ; Эгмонтъ Гётевъ, брошенный на столикъ подлъ дивана; недокончанный рисунокъ съ эстампа Магдалины Корреджіевой, и среди всего этого, сама Элеонора въ простомъ, щеголеватомъ, но скромномъ дезабилье своемъ. И все это, когда въ то же время все окружающее Элеонору вдыхасть упонтельную нъгу чувствъ...

Но опасность Вильгельма только начиналась. Когда Элеонора провела его въ будуаръ свой, который называла своею рабочею комнатою, вбъжала — Лалага, живое изображение Африки.

Прелестное, странное дитя это бросилось на кольни подль Элеоноры, положило кудрявую свою голову на ея кольни, и съ горестно сказало: «Я едва дождалась тебя, Ленора! Ты забыла свою Лалагу!«

— Нътъ, милый другъ! — Элеонора играла золотымь ожерельемъ Негритянки, и съ усмъшкой оборотилась къ Вильгельму.

»Нс повърите, какъ любитъ меня это своеправное, прихотливое твореніе. Я сама не могу жить безъ нея — меня столь немногіе любять...

— Тебя люблю я, любить еще Коко — вскричала Лалага.

»Это мой попугай! »сказала улыбаясь Элеонора, какъ будто не смъла скрывать отъ Вильгельма того, кто любитъ ее. Тогда начался разговоръ, тихій, мечтательный, въ которомъ свътская ловкость, знаніе людей, образованность Элеоноры увлекли Вильтельма; его увлекло и это нъжное чувство поэзін приличій, которое доступно только женщинамъ; грубый голосъ мужчины никогда не выразить самыхъ бездълокъ такъ мило и увлекательно, какъ выражаетъ ихъ женщина своимъ голосомъ.

Сколь многое, о чемъ только догадывался Вильгельмъ, сказывала ему Элеонора, такъ просто, безъ всякихъ требованій! Какъ понимала она жизнь сердца — какъ мило осуждала она въ стихахъ Гёте злую пасмъшку, проглядывавную сквозь восторгъ и добродушіе поэта, какъ досказывала она къ стихамъ Шиллера, чего не умъль сказать себъ самъ этотъ поэтъ, скорбный житель неба, упадшій на землю, отрастившій здъсь крылья свои, и опять улетьвній на небо, едва только могь онъ подпяться на своихъ крыльяхъ. Дикія созданія Жанъ-Поля гармонировались отъ взгляда Элеоноры, и вопль горести Байроновой она преображала въ тихій ропотъ Пери, окованной злыми Дивами.

И когда Вильгельмъ видълъ, какъ ничтоженъ еще его неопытный, юный геній передъ этою женщиною, когда онъ начиналъ стыдиться, что прежде не понималъ ес, когда онъ робълъ, думая, что ся суду подвергается теперь нестройный, неловкій его Арминій — гордость его искала еще себъ отговорокъ, и находила ихъ: »Это понимаетъ она наслышкою, умомь! »Наслышкою! по отъ кого? Умомъ! но развъ умъ пойметь поэта?

Элеонора, какъ будто угадала мысль Вильгельма. Она замолчала, отодвинула отъ себя Лалагу, задумалась.

— Мы и забыли о роль Веледы? -- сказала

Лицо Вильгельма помрачилось. — »Ахъ! она исчезнеть теперь, эта женщина, которая увлекла было меня въ страну какого-то бытіл!« думаль онъ. »Опять увижу я актрису — опять возродить въ душъ моей скорбь мое неокончанное твореніе, и то, какъ эта актриса читаеть его холодно, грубо, не понимая... Здъсь выученное не пособитъ ей.

— Вы будете читать роль Арминія.

Вильгельмъ наклонилъ голову въ знакъ со-

 Начните съ того монолога, послъ котораго является Веледа. Вильгельмъ улыбнулся. »Я, право, не помню стиховъ.«

— Не помните? — Какъ жаль! У меня нътъ теперь списка вашей трагедін. Впрочемъ... — Она потупила глаза — я помню наизусть объроли.

»Можно ли! Какая счастливая память!..

— Не знаю, память ли ... Меня особенно плъняетъ вашъ Арминій ...

. ониоп к атогоном йывдэП«

— Читайте его.

Вильгельмъ началь читать съ замъщательствомъ. Выходъ Dеледы — тихо начала читать Элеонора — но, итъ! она не гитала.

Какой поэть не мечталь о томь, что его созданіе, его стихи будеть читать ангель - дівва красоты, повърять ихъ своею душею, досказывать, чего не сказаль самь поэть, угадывать, что выразиль онь непонятно; кто не мечталь о томь, какъ она оставить поэму его, склопится на свою руку, закроеть глаза, и въ мечть неясной будеть видьть самого поэта, страдать, плакать, радоваться съ нимь, говорить съ нимъ о тайнахъ своего бытія, о мечтахъ своего воображенія! И посль долгой задумчивости, медленно вздохнеть она, взглянеть на его поэму,

какъ на милую подругу свою, и спрячетъ отъ завистливыхъ глазъ любопытства это твореніе, гдъ на страницахъ видны капли слезъ, гдъ сухія въточки, какой нибудь листочекъ, какая пибудь ленточка, какая пибудь незамътная другому отмътка, всегда будуть напоминать ей мипуты бытія, проведенныя съ обольстителемъпоэтомъ....

Кто иногда не говориль самому себъ, въ гордомъ самоувърсніи, смотря на свое созданіе:

Глаза прелестные читали
Уста волшебныя шейтами
Мив эвуки сладкіе мон?

Но не многіе испытали наслажденіе: слышать, какъ передъ самимъ поэтомъ, ему самому читають во эшебных уста его творсніе глаза устремляются на его созданіе!

Бъдный поэть! если тебъ придется передъ людьми читать свою поэму — читай ее лучше самь, заикайся, красньй, перевиряй слова, но — читай самь, а не давай другому — не давай мужчинъ, ради Бога: тебъ покажется тогда, что злой духъ держитъ въ когтяхъ твое твореніе; что онъ насмъшливо пытаетъ его, приреніе; что онъ насмъшливо пытаетъ его, при-

даетъ голосомъ своимъ уродливое выражение твоимъ идеямъ, твоимъ стихамъ, нарочно хочеть смъщить тобою... Тебъ покажется тогда самому смъшно, что ты, когда послъ сытнаго объда, или въ скукъ вечера, или для развлеченія среди мелкихъ заботъ жизни, принялись за тебя отъ нъчего дълать, между картами и зъвотою, ты хочень, чтобы тебя поняли, чтобы люди позволили раздольно явиться передъ ними всемъ мечтамъ твоимъ, вслушивались въ жизнь, дыханіе, трепеть каждаго твоего стиха: ты глупъ, или тщеславенъ до глупости... Лозволь читать стихи твои пере планенному, который можеть еще забыть самого себя передъ людьми; дозволь читать тебя передъ другими еще тому, кто любить: онь станеть выражать тобою себя само---- чо что за дъло? Онъ и тебя выразить прекрасно.

Но, женщинт, но дъвушкъ! .. Ахъ! отними у нихъ свою поэму: передъ другими онт не умъютъ ни понимать, ни читать! Онъ читаютъ такъ, какъ съ метрономомъ разыгрываютъ твореніе Моцарта, или какъ вышиваютъ прелестный рисунокъ въ тамбуръ ...

Если же найдется изъ инхъ не спрацивай о причинъ — найдется такая, одна, которая звуками голоса оживитъ твои слова, освътитъ ихъ огнемъ своего взора и передастъ имъ свое дыханіе, тогда — о, мой поэтъ! — тогда на кольни передъ нею: ты счастливецъ, ты создатель и поэмы и души дъвической!

Говорять, что графиня Джіоли, не зная по-Англійски, понимала все, что читаль передь пею Байронь. «Ты высказываень грусть разлуки, ты описываень радость свиданія, ты изображаень видь безконечнаго моря! « говорила она, не понимая словь, и всегда угадывала върно; и Байронъ преклоияль прем кольна, которыхъ не преклоияль ни предъ къмъ въ міръ, и говориль ей:

.... change "my life!" into "my soul!"
Which, like my love, exists for ever...*

Но, и здъсь разочарованіє: какъ отчуждаєть поэта, какъ оттадкиваєть его душу эта книга, эти листочки, испещренные масломь съ сажею, которые необходимы для того, чтобы поэти-

^{*} Не говори мнъ: » жизнь мол!« Говори: »мол душа! « Душа безсмертна, какъ мол любовь.

ческія думы его переходили въ очаровательные звуки! Тебя не помнять, бъдный поэть! Не на сердцъ, не на скрижаляхъ памяти людей хранится твое вдохновеніе: оно написано, напечатано на листочкахъ, какъ рецептъ лекаря, какъ записка домашняго расхода — не безсмертно оно вмъстъ съ душею человъка: умчись вътромъ, пропади листокъ, и — твое вдохновенное созданіе погибло...

Кто не сжегъ бы своей поэмы, еслибы его твореніе было живо въ памяти людей, какъ народная пъсия, переходило черезъ въка изъ устъ въ уста, какъ переходили рапсодіи Оми-

Но счастливъ и тоть, кто слышить свое созданіе, връзанное въ память хоть немногихъ; кто слышить его повторяемое хоть мелькомъ милою дъвою, пламеннымъ юношею, въ минуты восторга, въ часы грусти. Не оскорбляйте поэта, передавая стихи его безсмысленной телпъ въ видъ поговорки и пословицы; но сохраните его стихи для немногихъ, для тъхъ мгновеній жизни, когда недостаетъ у васъ собственныхъ словъ, когда вы получаете слово въ памяти вашего сердца!

Двойная радость поэту, двойная жизнь его созданію, если безъ листочковъ, безъ книгъ, переданное върной, согрътой сердцемъ памяти, льется его гармопическое твореніе, какъ будто возсоздаваясь мгновенно въ сердцѣ другаго, и если видитъ, слышитъ поэтъ, какъ совершенно это возсозданіе, какъ глубоко връзано каждое его слово въ чужую душу, какъ понятна каждая искра его мысли, часто безотчетная и темная для него самого, безотчетно постигнутая другимъ, постигнутая, можетъ быть, мгновенно, на минуту... Тъмъ дороже, тъмъ выше награда: съ ней сливается мысль скорой разлуки.

О Шекспиръ, Шекспиръ! не ты ли сказалъ, постигая прелесть мимолетнаго наслажденія, отънлемаго мыслью о разлукъ близкой и неизбъжной:

»Ты видишь во мив то время года, когда пожелтвлый листокъ дрожить отъ хелоднаго дыханія зимы, сиротвя на деревъ, нъкогда богатомъ зеленьющими листьями, оживленномъ пъсню птичекъ. Ты видишь во мив вечернюю зарю дня, съ солнцемъ исчезающаго на западъ передъ мрачною ночью, символомъ смерти,

палагающимъ на землю печать молчанія. Ты видишь во мнѣ послѣднія искры огня, которым перебѣгають по холодьющему пеплу, какъ по ложу смерти, и гибпуть отъ того, что нѣкогда составляло ихъ жизнь. Вотъ что видишь ты во мнѣ, и тѣмъ болѣе любишь меня, зная, что вскорѣ потеряешь меня навсегда и безъ возърата! «——

Вильгельмъ услышалъ не актрису, выучившую наизусть свою ролю; Элсонора не читала стиховъ его - нътъ! въ ней ожила, въ ней заговорила Веледа, та Веледа, о которой мечталъ Вильгельмъ, которая, неуловима его стихами, воздушнымъ призракомъ носилась передъ взоромъ поэта въ его уединении. Каждое слово отыскало свои звуки, каждый переливъ страсти, волноғавіней душу Веледы, звучалъ гармоніею поэтическою. Фантастическая жрица Германскихъ льсовъ, вдохновенная провъщательница, такова была она, говоря жельзными словами Тацита: mariti magis quam parentis animo, neque victa in lacrymas, neque voce supplex, compressis intra sinum manibus, gravidum uterum intuens*, когда измъна отцовская передавала ее въ руки

^{*} Оживленная болъе духомъ мужественнаго супруга,

Римлянъ; такова была она, когда подъ священнымъ дубомъ Туископа скрывала на груди Арминія скорбь свою, когда потомъ призывала воиновъ къ побъдъ; когда потомъ безмолвно смотръла на холодный трупъ Арминія, падмато побъдителемъ въ битвъ, и подымая хоругвъ его, звала къ мщенію за Арминія, при унылой пъсни бардовъ, и — безумная, мечтала потомъ о дняхъ пролетъвшаго счастія, о невозвратномъ времени любви....

Вильгельмъ не видаль Элеоноры: это была мечта его, оживлениая въ образъ очаровательной дъвы, забывавшей передъ нимъ все. Трогательная, бъщеная, задумчивая, радостиая, то увлечениая любовью, то восторжениая побъдою, Элеонора не существовала для окружающаго ел. Въ томъ мъстъ, гдъ надобно было пъть хору бардовъ, во время торжественнаго моленія Германцевъ, Элеонора придвинула къ себъ свою арфу, пальцы ел пробъжали по струнамъ, и какіе звуки непостижимые слилсь съ ел голосомъ — звуки, какъ свистъ вихрей

нежели слабаго отца своего, не упижаемая ни слезами, ни моленіемъ, сложивъ руки надъ сердцемъ, подъ которымъ хранила залогъ любви Арминія...

въ льсахъ, какъ вопль огчаний, какъ кличъ нобъды — они были пронзительны, ядовиты, и Вильгельмъ закрылъ глаза свои, едва удерживель свои слезы....

Онъ читалъ сначала самъ роль Арминія, но вскоръ смвшался, сбился; Элеонора начала читать объ роли. И сложивъ руки на груди, устремивъ глаза на Элеонору, онъ оставался неподвиженъ, онъ слушалъ еще, когда погребальнымъ гимномъ окончила Элеонора чтеніе трагедіи, и утомленная облокотилась на дибанъ, наклонила голову, закрыла платкомъ пылающее лицо свое. Въ жару чтенія развились ея локоны и падали на бълое дезабилье; грудь ея подымалась, будто волны утихающаго моря. Лалага приклонила свою черную, какъ смоль, курчавую голову къ кольнамъ Элеоноры.

Молчаніе продолжалось минуту. — Элеонора, Веледа! — вскричалъ Вильгельмъ, вскакивал съ дивана, и останавливалсь въ изумленіи передъ Элеонорою — прости меня! Могъ ли л знать прежде Элеонору?

»Я ваше твореніе!« отвъчала Элеонора слабымъ голосомъ.

⁻ Нътъ, нътъ! Оно ничтожно - Нътъ!

оно прекрасно, прекрасно, — я чувствоваль, какъ я быль выше другихъ въ эти минуты!

Скорыми шагами ходиль онъ по комнать.

— И вы передадите свое вдохновеніе этой изумленной толіть — она услышить васъ, она нойметь васъ — да, она должна понять! Но не мою трагедію передадите вы ей — не я создаль ее — вы создаете самого меня, Элеопора! Великій Боже — сколько мыслей, сколько идей кипптъ теперь въ бъдной головъ мосй! Какая душа, Элеопора! Въ первый разъ я постигаю назначеніе поэта въ міръ... Элеопора! что въ будущемъ покажу я людямъ!

»Если только будущее существуеть для меня,« печально отвъчала Элеонора.

Вильгельмъ внимательно взглянулъ на нее, и изумился, какъ очаровательна была она въ это мгновеніе, сидя на своемъ диванъ, утомленная, тихая. Слезы видны были на ея глазахъ.

Опъ почувствоваль, что дыхание его стасняется; вся комната показалась ему въ отпъ, который свътлыми кругами катился и исчезаль вокругъ него.

— А эти хоры, Элеонора? Не уже ли ихъ

создаль вашъ капельмейстерь? Или я слышаль не то, тамъ, въ этомъ темномъ театръ?

»Думаю, что не то. Хоры, которые слышали вы здесь, была моя ничтожная импровизація.

- Какъ, Элеонора?

» Да, часы досуга, часы сердечной грусти я носвящаю музыкт, и мит казалось, что мое чтеніе будеть выразительные, если присовокупить къ нимъ итсколько аккордовь грфы.

— Напишите эти хоры, ради Бога, напишите!

» Развъ это возможно? Я ихъ не помню; они раждались подъ моею рукою и исчезли, не спращиваясь меня.

- И никто не услышить, не узнаеть ихъ! »Вы ихъ слышали.
- Да, слышаль, и если-бы могь, заплатиль бы годами жизни, чтобы еще разъ услышать, передать ихъ другимъ.

»Зачъмъ, г-нъ Рейхенбахъ? Зачъмъ дълиться съ другими прекрасными дарами неба, когда мы платимъ за нихъ всею своею жизнью, а люди такъ холодно смотрятъ на нихъ, какъ на игрушки! Игрушскъ дайте имъ, этимъ дътямъ-умникамъ, за то, что они удостоивають номъщать и поэзію въ число забавъ своихъ. Будь только одно сердце, которое слышало бы насъ — О! за одно такое сердце можно заплатить не годами, но въчностью!

— Элеопора! вы непостижимы. — Вильгельмъ остановился передъ нею. — Еще нъсколько словъ...

Она печально улыбнулась. Словъ, и въчно словъ! Ни высокое молчаніе, ни языкъ взора, ни выраженіе вздоха — ничто это непонятно людямъ...

Молча ходиль Вильгельмъ; молчала Элеонора. Онъ вдругъ подощелъ къ столику, на который облокотилась Элеонора, небрежно очеркивая что-то карандашемъ на бумажкъ. Вильгельмъ увидълъ легкій очеркъ своего лица, обведенный пъсколькими чертами. ... Элеонора смъщалась, покрасиъла, отодвинулась отъ столика.

— Извините меня, г-нъ Рейхенбахъ — сказала она — выражение вашего лица было такъ замъчательно въ эту минуту...

Вильгельмъ вдругъ измѣнился, поблѣднѣлъ. Проклятая мысль сверкиула въ головъ его, когда онъ увидълъ замѣшательство Элеоноры, и это замѣшательство такъ было естественно, что она казалась дѣвочкою 16-ти лѣтъ, кото-

рую застала мать за портретомъ ел любовника.

— Актриса, кокетка, одалиска! — Мгновенно исчезло очарование! взоръ Вильгельма погасъ.

Вдругъ Лалага вскочила съ своей скамеечки, хлопнула руками, оборотилась къ Вильгельму и спросила его: Не тебя ли зовутъ: поэтъ?

Вильгельмъ съ изумленіемъ смотрѣлъ на это полудикое изображеніе Африки — капящее жизнью, не смотря на юность, прелестное, не смотря на черный цвѣтъ лица; глаза Лалаги были огненные; зубы казались рядами жемчужинъ; ел цвѣтное платье, ея золотое ожерелье на шеъ умножали очарованіе.

— Не тебя ли зовуть: поэть? — повторила Лалага, схвативъ Вильгельма за руку.

Въ замъщательствъ отдернула къ себъ Элеонора Лалагу. »Полно, Лалага, полно! « говорила она.

— Нътъ! я хочу слышать: не онъ ли тотъ, котораго ты называла поэтъ!

»Онъ, онъ! Поди отсюда.

Лалага отскочила, и глаза ея, устремленныя на Вильгельма, засверкали.

 Онь! .Такъ это онъ сумасшедній, какъ наши феллиты? Зачъмъ же пришель онъ сюда съ своими пъсиями? — Ахъ! Ленора! убъжимъ, убъжимъ отъ него! Я боюсь его — ты сама будель безумная, какъ онъ — убъжимъ! » Лалага!

— А! я догадываюсь, когда ты говорила такъ хорошо, вотъ теперь говорила, какъ никогда еще не говаривала! Бъдпая Ленора! Знаешь ли, что съ тъхъ поръ, какъ ты узнала его, ты сама почти поэтъ! И сколько разъ каждый день плачешь ты и смъешься, сколько разъ твердинь ты во снъ: »Поэтъ, поэтъ!« Убъжимъ, прогони его! Посмотри, какъ опъ хорошъ, какъ хорошо онъ смотритъ — онъ сведетъ тебя съ ума, ты безумно полюбишь его, Лепора, ты любишь уже его, какъ никого еще не любила...

Элеонора не могла остановить Лалаги. Щеки ея вспыхнули, какъ огонь, вся она дрожала, какъ въ лихорадкъ. Въ забвени самого себя, Вильгельмъ взялъ ея руку, прелестную, бълую руку, и кръпко прижалъ ее къ губамъ своимъ.

– Элеонора! – прошепталь онъ.

Взоръ любви устремился на него, взоръ не тихой, кроткой любви, но страсти, дотолъ танмой, сумасшедшей, бъщеной.

»Рейхенбахъ!«

Онъ цъловалъ ел руку, склонивъ свою голову къ этой рукъ.

» Рейхенбахъ! А твоя вдохновительная дъва, Генріэтта!«

Генрістта! — съ ужасомъ повторилъ Вильгельмъ, и бледный отшатнулся онъ Рука Элеоноры упала изъ рукъ его на ея колени. Какъ будто пораженный внезнапнымъ свътомъ, захватилъ онъ глаза рукою, и сму представился мимолетный, укоряющій его образъ Генріэтты, во всей прелести, какою юпость, невипность, любовь облекають дъвушку...

— Ахъ! Элеонора! — сказалъ онъ унымо. Совъсть страшно терзала его душу. Онъ схватилъ свою шляпу, и, прежде нежели опомнилась Элеонора, его уже не было въ комнатъ.

Но, только всчеромъ пришелъ Вильгельмъ въ свое жилище. Мъсяцъ свътиль въ окошки его. Вильгельмъ ходилъ по комнатъ, одинъ, безмолвный, то тихо, то скоро. Тъпь его рисовалась на стъпъ, и нъсколько разъ останавливался онъ, и вглядывался въ тъпь свою, какъ будто страшась: не привидъніе ли это, наблюдающее за каждымъ его шагомъ? Налег-

ла темная почь. Вильгельмъ еще не спалъ, сидя подль своего окошка, и уже востокъ румянился зарею, когда утомленная голова его склонилась на руку, и безпокойный сонъ овладълъ имъ.

Нескладныя сновиденія мучили Вильгельма. То мелькала передъ нимъ Гепріэтта, какъ неземное что-то, и длинная полоса свъта лежала по тому направлению, въ которомъ она пролетала. То Элеонора являлась изъ какой-то бездны огня, простирала къ нему руки, умоляла спасти ее. Вильгельмъ спышилъ къ ней; но вмъсто рукъ Элеопоры объивали его два крыла дракона, ядовитаго, крыматаго, отвратительнаго; рожа барона Калькопфа прыгала вокругъ, кривлялась, надувалась, дразнила его языкомъ; и въ то же время со всъхъ сторонъ придвигались къ нему театральныя кулисы, шевелилась холстина вмъсто воды, и накрывала, дуганла его, пока безобразное смъщеніе шума репетиціи, оркестра, болговни актеровъ и актрисъ слышались отвеюду, и маленькіе бъсенки плясали и кувыркались съ сальными огарками. Все исчезало — разстилался знакомый лугь на его родимой сторопъ, и — Генріэтта была въ его объятіяхъ, не разсьянная, не невнимательная, не холодная, но со всьмъ очарованіемъ Элеоноры, со всею прелестью Генріэтты.

»Это быль сонь!« говориль самъ себъ Вильгельмъ, когда первые лучи солнца разбудили его. Онъ вспоминаль все, что было съ нимъ вчера, вспоминаль репетицію въ театръ, чтеніе у Элеоноры, очарованіе, какимъ увлекся онъ, хаосъ мыслей, въ какомъ тонулъ онъ, бъгая послъ того по окрестностямъ города, до самаго вечера. »Кокетство, поддълка чувствъ, какихъ не могь я воображать«, говориль Вильгельмъ. »И я забылъ Генріэтту съ этою женщиною, забыль, что вижу передъ собою актрису, любимицу барона Калькопфа! Теперь понимаю обольщение демона; по, нътъ, Генріэтта, я измъпяль не тебъ, не любви твоей: я видълъ передъ собою все, что только высокое Искусство человъческое произвести способно, и преклонился передъ силою Искусства человъческаго. — Но можеть ли до такой степени очаровать насъ Искусство, если источникъ его не будеть таиться во глубинъ души? Каковаже душа этой женщины? Не достойна ли она поклоненія, не достойна ли того, чтобы передъ нею все забыть? Даже и Генріэтту, тихую,

кроткую — Генріэтту, тебя, у которой жизньлюбовь и любовь-жизнь... Вильгельмъ! можещь ли ты говорить это, послъ всего, что видълъ отъ Генріэтты! Она любить? У нея любовь-жизнь?«

» Но она ангелъ, ангелъ, и — я не пойду болье къ Элеоноръ, не пойду въ это проклятое жилище, гдъ стъны самыя дышутъ нъгой и упоеніемъ чувствъ. Элеонора — да, она очаровательна, она прелестна... Если бы Генріэтта — но тогда будетъ ли она Генріеттою?

TAABA IV.

Уже давно на длиниыхъ аффинкахъ прибито было безсмертіе поэта и выставлено по всъмъ перекресткамъ и рынкамъ. Каждая торговка пирожками и селедками могла прочитать и знать, что »такого-то года, мъсяца и дня, представлена будетъ новая оригинальная тратедія, Арминій, въ 5 ти дъйствіяхъ, въ стихахъ, съ прологомъ, соч. Вильгельма Рейхенбаха. Новые костюмы г-на N. N.; новыя декораціи: храмъ Тунскона, льсъ при лунномъ сілніи, Римскій лагерь, пещера, г-на Б. Б. — Хоры Бардовъ, и Римскихъ и Германскихъ вонновъ, музыка г-на Г. Г. — Роль Веледы занимаетъ г-жа Элеопора.«

Безсмертіе и аффиціа, поэтическое созданіе

и новые костюмы, приглашеніе насладиться Изящнымъ и цъна за входъ. Что за смъсь!

» Ну, втрные товарищи! вы неръдко помогали мив въ затрудненіяхъ; скажите мив, пожалуйте, что говорять въ городъ о нашемъ предпріятіи? Мив хотвлось бы понравиться толив: она кормить насъ. Манины поставлены, театръ готовъ, публика извъщена; зрители занимають мъста, и готовы предаться обольщению, за которое напередъ заплатили. Знаю, какъ надобно овладъвать умомъ публики, по никогда не быль я въ подобномъ затруднении: весь этоть народь, не то, чтобы привыкъ къ великому, но читалъ бездиу. Гдв найдти новаго, свъжаго, чемъ можно-бъ было запять его? Говорю одно: мив надобна толпа. Хочу, чтобы она вливалась нестройными волнами въ мой театръ; чтобы за свътло еще она осаждала всъ двери, твенилась, ломала себъ ребра, дралась за билеты, какъ у дверей булочника тъснится и дерется она за хльбъ, въ дорогое, голодное время. Поэть можеть саблать все это. Постарайся, милый другь!

-- Не говори мив о толпв. При взглядв на нее, съ ужасомъ бъжить мой испуганный гепій! Удали отъ меня эти бурныя волны, да не увлекуть онь и меня въ своемъ дикомъ стремленіи! Уведи меня лучше въ тихое уединеніє: тамъ чистыя наслажденія поэта, тамъ любовь и дружба — даръ боговъ. Ахъ! здъсь, когда хочу я высказать глубокія волненія души моей, дражащія губы мон не находять словъ, и если мимолетное вдохновсніе мелькаетъ для меня — оно гибнеть въ смятсній толны, незамъченное современниками! Только испытанное ржавчиною многихъ годовъ, твореніе Генія сіяетъ полнымъ блескомъ своимъ. Что въ современномъ! И шумиха блестить; но одно чистое золото переходить въ потомство.

...Охъ! оставь въ поков наше потомство! Если мы станемъ думать объ немъ, кому - же заняться современниками? Опи требуютъ своего участка, и — справедливо. Умъй развеселить ихъ весельмъ лицомъ; толпа не боится того, кто самъ ее не пугаетъ, и чъмъ она многочислениъе, тъмъ легче расшевелить ее. Ну! полно робъть; выходи безъ хлопотъ — пусти впередъ воображеще; умъ, чувства и страсти поплетутся за нимъ — да не забудь и дурачества.

»Движенія, движенія всего болье. Ко мнь идуть смотрьть, надобно, чтобъ было на что

посмотрыть. Если глаза зрителей останутся довольны, если зрители успъють досыта наглядъться на пестрое и на чудное - плыви къ славъ на полныхъ парусахъ; каждый, выходя изъ театра, объявить себя твоимъ защитникомъ. — Вы, г-да поэты, можете поправиться публикъ только количествомъ. Всякій думаєть о себъ. Разложивъ на прилавкъ своемъ много товаровъ, ты угодишь на вкусъ каждаго, и твои покупатели пойдуть отъ тебя довольные. Воть еще забота: составлять во едино то, что надобно продавать по кускамъ! Работа, о которой говорю вамъ я, гораздо легче; для идеи, для исполненія надобна минута; публика изорветь же въ клочки вашу работу; не лучше ли и представить ее изорванную, въ клочкахъ?

— Какъ? За такое презрительное ремесло ты заставляещь приняться меня? Художникъ въ глазахъ твоихъ является ремесленникомъ? Упичтожать законы вкуса и генія для прихотей толпы!

...За что сердиться? Умный работникъ умъетъ выбирать орудіе, смотря потому, изъ чего что дълаетъ. Тебъ приходится работать изъ мягкаго дерева. Посмотри, что за народъ-твои слушатели! Одинъ приходитъ отъ скуки; дру-

той является послъ сытнаго объда; этоть еще хуже - притащился пачитавшись журналовъ; всякій изъ нихъ разсьянъ, какъ въ маскерадь; только любопытство не уснуло еще при ихъ совершенномъ безчувствіи. Дамы являются туть на показъ съ своею красотою, съ своимъ нарядомъ - онъ сами на сценъ и для самихъ себя. Что же всему этому народу дълать съ твонми высокими мечтаніями? Не уже ли думаешь, что они рады будуть слышать ихъ отъ добраго сердца? Разгляди этихъ любителей Поэзіи: они холодны и педоброжелательны; они нетерпъливо ждуть копца: одному пора за карточный столь; другому время пуститься въ разгульную бесьду. И ты призовещь чистыхъ Музъ разглагольствовать съ этими людьми? Какъ глупы всь вы, поэты! Не трудитесь по пустому; творите, мъщайте кос-какъ, и не бойтесь ошибиться. Удовольствовать народъ нелегко. Старайтесь только расшевелить его, и - что вамъ за дело какъ, печалью ли, радостью ли!

— Прочь отъ меня, ищи себь другихъ товарищей! Поэтъ не обезславить себя въ угоду тебь; онъ не посрамить благороднъйшаго изъ даровъ, какіе получиль отъ природы! Чъмъ управить онъ души? Какъ покорить стихіи? Не гармонією ли?-Гармонія! Она наполняеть его сердце; ее чернаетъ онъ въ чудссахъ созданій. Невнимательныя Парки безь разбора вертять нити на свое веретено; различныя событія. разнообразныя бытія свиваются, сталкиваются, ешибаются на ихъ моткъ. Кому разобрать это смъшеніе, одушевить мертвый безпорядокъ, покорить его закону поэтического стиха? Кто будеть умьть, по условному порядку, расположить части для дъйствія цълаго, извлечь звучные переходы изъ ръзкихъ воплей, бъщеныхъ страстей міра? Кто возвратить солицу его тихое вечернее сіяніе, весиь цвыты, щедро разсыпаемые ею любящему сердцу, и кто совьеть вънокъ изъ зеленыхъ листовъ, востаменяя героевъ къ сей высокой наградъ? Кто создалъ Олимпъ и соединилъ на немъ міръ боговъ? Геній Поэта — онъ, открывающій намъ могущество человъческого генія.

»Пусть такъ, пусть работаетъ твой геній, но создавай однакожь свои творенія, какъ создаєтся любовь въ наше время. Случайно встрвчаются; сердце пошевелилось; останавливаются; занимаются другъ другомъ; является наслажденіе; за нимъ маленькія ссоры, а за тъмъ счастье и бъдствіе, и часто мы находимся при раз-

влзкъ романа, сами этого не замъчая. Черпай какъ угодно изъ океана жизни, но дъйствуй для насъ по нашему. Всъ живутъ, но всъ ли замьчають, что они живуть? Нъть! и какъ же обрадуются эти люди, если ты растолкуешь имъ, что такое жизнь. Больше свъта на пестрыл картины, много вздору, немного истины, и изъ всего этого составь питье, которое бы понравилось всякому. Къ тебъ прибъжитъ цвътущая юность: любопытная и внимательная, она ищетъ слова загадкъ жизни. Душамъ чувствительнымъ хорошій стихъ пища въ ихъ задумчивости. Всякій находи у тебя то, что принесъ въ своемъ сердцъ, хочетъ ли онъ плакать, хочетъ ли смъяться. Они порадуются твоимъ картипамъ, удивятся твоей глубокой мысли. Говори съ юностью: только надежда благодарна; съ теми людьми нечего делать у кого неть ее.

— Отдайте же мив то время, когда я самъ надъялся! Тогда неистощимыя пъсии раждались на лиръ подъ моею рукою. Облако застилало міръ, и каждая почка объщала мив цвътокъ очаровательный; поля усъвались этими цвътами, и всъ ихъ хотъль я сорвать. Ничего не было у меня, а я быль богатъ. Потребность истипы, прелесть лжи поперемънно волновали

мою душу. Отдай мив наслажденія, полныя страданій, и мощь ненависти, и всемогущество любви. Ахъ! отдай, отдай мив мою юность!

...Твою юность? Она была бы тебъ необходима, еслибы сильный непрілтель сражался съ тобою, или любовница обвивала тебя иѣжными ручками и крѣпко прижимала къ своему сердцу; была бы тебъ необходима юность твоя, еслибъ ты хотълъ вѣнка, высоко повъшеннаго на аренъ и объщаннаго самому ловкому изъ состязателей; была бы необходима, если бы ты хотълъ кончить за шумнымъ столомъ вечеръ, начатый веселыми танцами. Но играя на лиръ, сражаясь и торжествуя пъснію, упиваясь сладкимъ мечтаніемъ Поэзіи — на что тебъ юность, добрый старикъ? Старость возвращаеть тебъ невинность дитяти, не лишая ума старческаго.

»Къ дълу, госпеда; что за разговоры! Время, которое пропадаетъ у васъ въ спорахъ, могло бъ быть употреблено полезнъе. Къ чему много толковать о томъ, что надобно дълать? Неръшительный въчно неготовъ. Смълъе, если ты поэтъ, и передъ тобой всъ пособія Искусства. Чего не сдълалъ сегодия, то дълай завтра, а

между тъмъ каждое миновение дорого. Смъльчакъ хватасть случай за клокъ волосовъ его и не выпускаетъ изъ рукъ. Вы говорили, что въ театръ всякій идетъ для себя и смотритъ по своему. Не жальйте же ни машинъ, ни декорацій; пусть являются и исчезаютъ солице и мъсяцъ; сыпьте згъзды полною рукою; передъвами вода, и огонь, и утесы, и дикіе звъри и хищныя птицы. Громоздите на театральныхъ подмосткахъ всъ чудеса твореній, и быстрымъ полетомъ пролетайте по небесамъ, аду и землъ...«

Прости, великая тыв творца Фауста и Миньоны, Вертера и Маргериты, Вильгельма Мейстера и Геца Берлихингена, прости, что въ безпорядочный разсказъ мой брошенъ литографическій списокъ съ твоей безсмертной картины! Ты бралъ краски радуги, писаль лучемъ солнечнымъ, засыпалъ пспломъ волкана Италійскаго; ты изобразилъ волненіе поэта, мелкость театральнаго управителя, безпечность весельчака и міръ зрителей стихами чудными, волшебными: въ бъдной прозъ переданы стихи твои. Но что лучше изобразитъ міръ и людей, если не твой стихъ, хотя и въ прозъ, недостойной твоего орлинаго полета?

Блъдно и невърно передали мы описаніе

Гётево, этоть разговорь поэта съ шутомь и директоромъ театра. Гёте вырваль его изъ души человъческой, и въчнымъ созвучіемъ ему будеть отзываться душа поэта, когда онъ станеть передавать людямъ свое новое созданіе.

Насталь давно желаный, страшный день представленія Арминіл. Уже дня три Вильгельмь чувствоваль лихорадочный жарь и ознобъ, не выходиль изъ компаты, не зналь за что приняться, не могь пи писать, ни читать, ии думать, и опъ содрогнулся, когда довольно рано по утру ему принесли отъ директора театра билеть на ложу и аффишку на веленевой бумагь.

»Да, развы не отмънили спектакля? « спросилъ опъ разсъянно у прислапнаго съ билетомъ.

— Какъ можно, сударь, отмънить! Да по слъ этого бъги изъ города — отвъчаль болтливый посолъ.

»Что же такое?

— Да, то, сударь, что я вотъ лътъ илть служу при театръ, а только два раза видълъ этакую давку, какая была сегодия. Одинъ разъ походило на это, когда пріъзжали сюда Индійскіе фокусники, да другой разъ, когда давали

оперу: Сорокт тертей ст половиной, и за сценой палили изъ пущекъ. Но все однакожь не то было. Тогда одному вывихнули руку, другому оторвали ухол...

»А сегодня?

— Сегодня, сударь, потъха, да и только: драка, крикъ, шумъ, точное сраженье; троихъ увезли въ гошпиталь. Такъ въдь такой, сударь, Азартъ: когда повезли одного изъ битыхъ, онъ очнулся, и первое слово кричитъ: »Билетъ на ложу во 2-мъ ярусъ!« Экой неугомонной: билетъ, хорошъ билетъ — ребра не досчитался! Да, ужъ какъ же радъ и г-нъ директоръ: такъ и прыгаетъ! Въдь и Его Свътлость изволитъ пожаловать; весь театръ убранъ стаканчиками...

»Благодарю тебя. Ты можешь итти...

— Но... кажется, сударь, вы сочинитель того, что стануть играть сегодня?

»Такъ что же?

— Да, на водку, сударь, надобио. Въдь я и самъ нграю въ вашей комедіи.

» Ты?

— Да, сударь. Мнѣ надобно будеть итти съ факеломъ, когда хоронять вашего... какъ бишь онъ... Армеръ-риттера. А прежалкая,

сударь, ваша комедія. И какъ играетъ въ ней г-жа Элеонора! Вчера на репетиціи такъ и хлопнулась объ полъ, когда услыхала о смерти своего рыцаря — словно мертвая.

» Воть тебь крейцерь.

 Виватъ, сударь! Посмотрите, какъ я отличусь.

Въ сотый разъ принялся перечитывать аффишку Вильгельмъ, сидя въ своихъ огромныхъ креслахъ; прочиталъ и задумчиво вертълъ въ рукахъ своихъ билетъ.

— Съ къмъ подълиться миъ и грустыю и радостью? — думалъ опъ.

Жизнь человъческая похожа на Природу, тъмъ, что въ ней есть весна, лъто, осень и зима.

Не весна ли это время, когда разцвътаетъ въ колыбели нъжный цвътокъ, хранимый отъ бурь свъта рукою заботливой матери?

Не льто ли это время, когда человъку, оставнвшему колыбель, для души мало цълаго свъта, а для жара страстей цълаго сердца?

Не осень ли это время, когда надежды льта созрѣють въ жатвъ труда, или опустошенныя дождемъ бъдетвій, изсохшія отъ жара скорби, нивы жизни угрожають печальною бу-

дущностью, застывающею кровью, съ инсемъ съдинъ?

Не зима ли это время костыля и погибели всъхъ мечтаній, оледенълости всъхъ страстей, называемое старостыо?

Такъ, не младенцемъ ли, улыбающимся въ колыбели на привътъ матери весны, лвляется намъ Природа? Не бъщенымъ ли юпошествомъ жизни дышетъ она потомъ, палимая львомъ зодіака? Не мужество ли, созрълое въ опытъ и страстяхъ, являетъ осенью? Не дряхлая ли старость природы зима, когда медленно влачится годный потокъ подъ корою льда, какъ будто кровь подъ съдиною, солице, какъ умъ старика, тускло свътитъ, невысоко поднявшееся на небосклопъ, сыплется съ облаковъ снътъ, будто замерзиня мечты, и сугробы его прообразують могилу?

Но въ міръ все подобно Человъку и Природъ. И твореніе художника имъ подобно.

Младенецъ-идея прекраснаго созданія, радуетъ, печалить, заставляетъ скорбъть и утъшаться мать-поэта, пока онъ носить ее въ душъ своей. То весело, безпечно играетъ она, то тревожить его бользненными ощущеніями и заставляетъ отчаяваться въ бытіи своемъ, я — часто гробъ поглощаетъ прежде рожденія надежду матери...

Но опа преобразовалась, эта идея-младенецъ, въ прелестную дъву, полную красоты, цвътуную юностью, свътлую будущимъ счастьемъ. Поэтъ, какъ отецъ, готовъ вести мысль своего созданія, одътую всьмъ блескомъ росконнаго воображенія къ брачному алтарю. Мысль и исполненіе подають другъ другу руки.

Но это осень созданія. Какъ часто семейственныя заботы, приличія свъта, несогласіе въ мелочахъ жизни убивають все счастіе супруговъ! Непримиримые враги — Жизнь и Поэзія, умыныяють на бытіе другь друга. И свътлая идея, прекрасная мысль гибнуть въ исполненіи. Совершилось оно. — Что же? Это холодная осень созданія. Какъ человъкъ при концъ жизни видитъ, что надежды юности и труды мужества были сами себъ цълью, такъ поэтъ узнаетъ, что только мечта о созданіи и трудъ созданія были цълью и наградою его.

Кто, смотря на статую, гдъ мыслиль онъ изсъчь въ мраморъ, на тетрадь, гдъ хотълъ заключить въ словахъ, на картину, гдъ думалъ изобразить красками мысль свою, кто — спрашиваю — былъ доволенъ своимъ созданіемъ?

Кто не хотълъ надписать на немъ, какъ Шекспиръ на гробницъ своей: »Ради Бога! не троньте бъдняка, здъсь заключеннаго? « Кто не сознавалъ, что дряхлымъ, увядшимъ старикомъ, брюзгливою старухою переходила безконечная мысль его въ ограниченныя условія вещественности? Безмърное солице генія едва отсвъчивается въ каплъ, своемъ созданіи... Бъдный старикъ, изувъченный временемъ и жизнью! оттолкните его въ могилу — прочь безобразный выродокъ, карло, потомокъ славнаго предка!

А! воть являются люди лечить его, судить объ немь, любоваться его немощною, почтенною старостью, выманить у него нъсколько искръ генія, тягаться съ нимь за то, чъмъ своевольно овладъль онъ у другихъ. Критикъ, типографщикъ, цензоръ, актеръ, душатъ, давятъ, лечатъ, отпъваютъ его; книгопродавецъ отводитъ ему мъстечко на кладбищъ; переплетчикъ сбиваетъ ему гробъ, смотря по прихоти другихъ — sit ei terra levis! Приходятъ люди, и никто не хочетъ почтить своею скорбью унылаго: Finis (копецъ), этого memento mori (помии смерть), которое повторяетъ каждому изъ нихъ идся, облеченная въ форму книги. Разбираютъ ес, читаютъ, судятъ, какъ разбира-

ють, читають, судять бумаги, оставшіяся пос-

Книга въ рукахъ читателя, драма передъ судомъ зрителей, статул и картина въ галерев любителя — это надгробные камин живыхъ нъ-когда идей художника и поэта, могилы, гдъ въ эпитафіяхъ можете прочитать самыя убъдительныя доказательства, какъ бъденъ и какъ глупъ человъкъ.

Блаженъ поэтъ и художникъ, если надъ гробомъ его созданія, надъ твореніемъ, которое онъ кончиль и похорониль въ книгу, есть кому пролить слезы состраданія, есть кому раздълить съ нимъ грусть оконченнаго труда и указать на потомство, какъ на жизнь за гробомъ. Даже притворныя слезы ближняго облегчаютъ нашу печаль. Отъ чего Мольеръ читалъ свои творенія кухаркъ? Оть чего Гофманъ читалъ свои созданія погребщику? Неужели вы върпте, что Мольеру падобны были, въ самомъ дълъ, совъты управительницы падъ его кухнею! Вздоръ, какъ доказанный вздоръ, будто Наполеонъ учился у Тальмы, подпимая мечемъ на свою голову желъзную коропу Карломана!

Блаженъ поэтъ, когда онъ можетъ подълиться съ къмъ-инбудь и сожалъніемъ, и радостью,

какія возбуждаеть въ немъ окончанный трудь его, подълиться съ подругою сердца, съ другомъ души....

— Съ къмъ подълиться мнъ? — Воть одно, что кружилось въ головъ Вильгельма, и онъ повторялъ мысленно стихи Гёте:

...» Уведи меня въ тъ тихія долицы, Гдъ радость чистая цвътеть поэту, Гдъ дружба и любовь, услада сердца, Отъ Бога созданы хранить его...«

— Женщины честолюбивы: я просиль мать Генріэтты вхать въ театръ. Старуха согласилась; върно и теперь не откажется; и опа должна будеть вхать. Мщеніе Генріэтть, мщеніе! Ты увидишь, какъ вознесуть поэта, Вильгельма, котораго нъкогда называла ты своилиз? Но, милый другь! если и не любовь, если только честолюбіе заставить тебя со слезами броситься въ мон объятія — всею жизнью моею искуплю я потомь минуту моего мщенія, ту минуту, когда скажу тебъ: «Ты была песправедлива, Генріэтта! Вильгельмъ въ рубищъ, нензвъстный, бъдный студенть, жиль тобою — Вильгельмъ, прославленный поэть, привътствуемый рукоплесканіями соотечественниковъ, твой,

тить мив всего твоею жизнью за свое раскаяніе? Ахъ пътъ, Гепріэтта! довольно будетъ одной минуты любви. . . «

Онъ написалъ нъсколько строкъ, запечаталъ записку, вмъстъ съ аффишкою и билетомъ, и позвалъ своего наемнаго слугу.

» Францъ! ты отпесешь это письмо по адресу, и попросишь отвъта. Одънься въ парадный фракъ свой, будь учтивъ и въжливъ.«

Ловкій слуга улыбнулся, когда взглянуль на адресь. «Не ошибка ли, г-нъ Рейхенбахь? Въ улицъ Рогатой Козы, въ домъ, въ низу въ квартиръ...

— Нътъ! — отвъчалъ сердито Вильгельмъ. — Это моя тетка. — Францъ повернулся и вы-

Вотъ что писалъ Вильгельмъ:

»Милостивая Государыня!

Имъвъ честь получить согласіе ваше, быть въ театръ на первомъ представленіи моей трагедіи, смъю надъяться, что вы не изволили перемънить вашего ръшенія. Въ слъдствіе сего, честь имъю препроводить при семъ билеть и аффишку, и просить позволенія вашего, въ

6-ть часовъ вечера, явиться съ экипажемь, и имъть честь сопутствовать вамъ.

Съ истиннымъ, глубочайшимъ почтеніемъ и совершенною преданностію, пребыть честь имъю, вашъ навсегда,

Милостивая Государыня,

покорнъйшій слуга

Вильгельм Рейхенбахъ.

- Но вскричаль Вильгельмъ если мой Арминій, вмъсто почестей и рукоплесканій, будеть осыпань хохотомъ и свистками? А! каково тогда будеть твое торжество, Вильгельмъ... Я не переживу этого! Лучше не звать Генріэтты... Францъ!... И можно ли звать ее для того, чтобы посредствомъ усиъха выманить у нея погасиее чувство любви... Какая ничтожная уловка!... Францъ!...
 - Стыдись, Вильгельмъ!... Францъ!... Но Франца давно уже не было.
- Какъ не пришло мнъ это въ голову прежде? Можно ли до того ослъпляться честомобіемъ? Впрочемъ, жребій брошенъ: пусть и

Генріэтта будеть свидьтелемь моего посрамленія... Освистанному поэту кстати быть несчастнымъ любовникомъ ... ха, ха! - Для чего надълали такъ много шуму, этотъ проклятый директоръ, этоть Жоффруа... Если бы менье ожидали, менье бы требовали... Бъдный Арминій! худо созданный, щедушный, чахлый до рожденія — и его представить тому народу, который третьягодня холодно смотрълъ Ромео и Юлію, тымь, которые поднимають носъ презрительно, говоря о созданіяхъ Шиллера? Арминію позвелили бы пройдти тихомолкомъ, еслибы онъ явился робко, тихо, скромно... Его благоволили бы удостоить снисхожденія... mention honorable! Чортъ побери! Лучше упасть и расшибиться съ размаха, нежели черепахой полоти къ славъ!

— Впрочемъ, ловкій директоръ, игра Элеопоры, богатая обстановка, неужели не поддержатъ Арминія?

Невольно покрасивль Вильгельмъ, и проворчаль: »Стыдись, поэть! Надвяться на такія средства...

Францъ возвратился.

- Отвътъ?

»Есть, сударь!« отвъчаль опъ, лукаво улы-

баясь, »и написанъ вашею хорошенькою сестрицею.«

- Кто сказалъ тебъ такой вздоръ?
- "Вы называли г-жу Шульце тетушкою.
- Но дочь ея мнъ не сестра. Подай и поди!

Францъ подаль записочку и вышелъ съ тъмъ довольнымъ видомъ, который показываютъ слуги, сдълавшись повърепнымъ господъ своихъ въ сердечныхъ тайцахъ.

- Мнъ падобно прогнать этого щеголя и негодяя говорилъ Вильгельмъ, смотря на письмо, надписанное рукою Гепріэтты. Онъ привыкъ жить у людей... которые... И съ тайнымъ наслажденіемъ разсматривалъ Вильгельмъ надпись на обверткъ записки, надпись, сдъланную съ ошибками противъ правописанія, нетвердымъ почеркомъ.
- Какъ жаль, что я не знаю искусства: по почерку узнавать свойства людей! я прочиталь бы теперь душу Генріэтты... Въ этихъ каракулькахъ, когда ты не умълъ прочитать ее ни во взоръ, ни въ словъ, глупецъ? Онъ едва не бросилъ письма не читавши.

»Маменька, будучи вамъ благодарна за ваше приглашеніе, приказала мнъ, чтобы поблагода-

рить васъ, что симъ исполияю, и она будетъ ожидать въ назначенномъ вами часу.

»Съ совершеннымъ почтеніемъ, честь имъю пребыть, ваша,

Милостивый Государь,

покорная слуга

Генріэтта Шульце.

- О милый другь, о мой ангель Гепріэтта! Какъ эта записочка, эти опинбочныя, неправильныя, простыя строки дороже мив всвхъ изысканныхъ подставокъ ума, подложной образованности, поддъльнаго воспитанія, глупаго старанья уминчать! Будь всегда тъмъ, что ты есть; тебъ ли надобны украшенія, перло души...
- Но, какъ это холодно! Не уже ли она можетъ сохранять свою досаду на меня, если бы я былъ и въ самомъ дълъ виповатъ передъ нею? Бытъ такою злопамятною, не знать наслажденія прощать, не знать прелести раскаянія? Не уже ли не могла она приписать еще одного слова... Въ присутствіи матери? Но, печатая письмо, но когда бы отвернулась

старуха — одно слово: люблю, одна буква: Л — или: »твол Генріэтта...« Все погибло безъ возврата...

До какихъ мелочей можетъ иногда упадать человъкъ! Кому изъ насъ, стариковъ, носивнихъ въ молодости недъланные галстухи, не случалось останавливаться съ досадою передъ зеркаломъ, и — будемъ откровенны — подвязывать галстухъ, и тщетно стараться подвязать его удачно, такъ, чтобы не были видны слъды старанія, и онъ казался наброшеннымъ небрежно? И въ какія-же бывало это минуты? Въ минуты, которыми дорожили мы, когда мы спъщили на счастье, по крайней мъръ, туда, гдъ мы думали найдти его...

Пробило пять часовъ. Францъ доложиль, что карета готова, спрашиваль: что прикажетъ подать одъваться г-нъ Рейхенбахъ.

А г-нъ Рейхенбахъ думалъ: какъ явиться ему — одътому ли щегольски, по всъмъ требованіямъ моды, или неряхой, въ сюртукъ, небритымъ Жанъ-Жакомъ Руссо? — Усиъхъ, или неудача? Онъ дъйствующее лицо въ этой комедіи. Если бы не спросили, не замътили его! Но, быть позорнщемъ для нъсколькихъ тысячъ глазъ — зачъмъ не ръшился я лучше

не вхать въ театръ, и потомъ равнодупно слыпать объ успъхъ, о темъ, какъ четыре тысячи рукъ хлопало и двъ тысячи ртовъ кричало: » Автора Р« Щеголеватая одежда почтена будетъ подготовкою, пебрежная — желаніемъ отличиться оригипальностью... все это глупо...

— Если бы я не даль слова Генріэттиной матери — клянусь, что не повхаль бы ... Но, теперь... Но можно послать къ нимъ карету, извиниться, что я нездоровъ... Что подумають обо миъ? Не будеть ли это нестерпимымъ ко-кетствомъ съ моей стороны...

И Вильгельмъ сдълся прекрасно, безъ требованій, щеголевато, просто; но садясь въ карету, онъ былъ въ совершенномъ отчаяніи. Какой - то поэтъ блъдивлъ, слыша свистъ соловья: върго, потому, что онъ былъ драматическій поэтъ и его пьеса была освистана.

Знаете ли, отъ чего Бетховенъ такъ мало писалъ оперъ? Сказываютъ, будто онъ говаривалъ, что оперу сочинить легче всего другаго, но пока ее дадуть на сценъ, надобно испортить три фунта крови. На постановкъ первой оперы своей опъ взбъсился, прибилъ капельмейстера, переломалъ басы и скрипки и молилъ Бога, чтобы Онъ послалъ ему глу-

хоту. Увы! безразсудная молитва тяжко исполнилась надъ творцемъ Фиделіо!

Отчалніе Вильгельма умножилось отъ того, что встрътилъ онъ въ жилищъ Генріэтты.... Карета, остановившаяся у входа въ квартиру г-жи Шульце, сама по себъ была уже такимъ явленіемъ, которое могло обратить на себя внимание всъхъ сосъдей, добрыхъ, простыхъ ремесленниковъ, честныхъ бургеровъ и почтенныхъ кухарокъ, которыхъ они называли своими женами, потому, что были съ ними обвънчаны. Вообразите же, что г-жа Шульце, почитая важнымъ событіемъ въ жизни своей поъздку въ театръ-и какъ еще притомъ? въ ложу, въ каретъразславила объ этой поъздкъ всъмъ сосъдкамъ; говорила, что она ъдетъ въ театръ, съ самимъ сочинителемъ того, что тамъ будутъ играть; что она будеть въ ложь; что г - нъ сочинитель самъ прівдеть за нею въ кареть, и что въ театрь будеть Его Свытлость, и что Его Свытлость надънеть послъ того орденъ на сочинителя, а этотъ сочинитель... хмъ! зпакомый ей, г-жъ Шульце, очень любезный и богатый молодой человъкъ.

И воть сначала взволновался весь дотоль

мирный домъ, отъ чердака до подвала; пошли говорить сосъдки; другія были смілье, явились разспрашивать г-жу Шульце, видели аффишку, билеть, записку, и страшное любопытство терзало ихъ: узнать непремънно, какая связь была между г-жею Шульце и сочинителемъ? Лукаво поглядывали въ это время на Генріэтту. И г-жа Шульце торжествовала; полуотвъты ея подтверждали догадки; остальное дополнили языки сосъдокъ. И вотъ вся улица Рогатой Козы заговорила, зашептала, засплетничала, передавала за тайну, прибавляла. Когда въсть начала переходить въ десятый домъ, Вильгельмъ былъ уже каммергерь, влюбленный въ Генріэтту, богачь безсчетный, которому вечеромъ въ театръ князь надънетъ ленту черезъ плечо. Поутру видъли Франца, и на него глядъло глазъ уже дюжины три, когда онъ, щегольски одътый, насвистывая аріи, заглядывая въ окна, приходиль къ г-жъ Шульце.

Но когда покатилась карета Вильгельма, невнятный шопоть изъ дватцати домовъ слился въ одинъ гулъ, » Вдетъ! « Изъ сорока васисдасовъ высунулись головы въ чепчикахъ и колпакахъ, разинулись рты, поднялись указывающіе пальцы, и при входъ къ г-жъ Шульце, толпа

мальчишекъ вскричала: »Женихъ, сочинитель! «Пока матери зажимали имъ рты, мужчины почтительно снимали шапки, а женщины глядъли прямо въ глаза Вильгельма, прекрасную карету его окружили, дивились его Францу, его лошадямъ, сбруъ, толковали, спорили.

Этого мало. Вильгельмъ ужаснулся, взгмянувъ на г-жу Шульце: она измъпила лицо своє; всегда добродушная, тихая, немножко больтунья, немножко сплетница, она надулась теперь, какъ индъйскій пътухъ; на головъ ея быль надътъ огромный раскрахмаленный чепчикъ на проволокъ, какихъ не надъваютъ и въ маскерадъ; надобно еще было сохраниться у нея какой-то Дамассиновой робъ, черной блондовой мантильъ, — все это она надъла, и — злые языки говорими, что старушка даже подрумянилась... Клевета! Ее разрумянили самодовольствіе, торжество, вниманіе цълой улицы Рогатой Козы.

Этого мало. Вильгельмъ пашелъ въ жилицъ Генріэтты три благословенныя семьи родныхъ и знакомыхъ г-жи Шульце, семьи, обильныя дъвами, и эти дъвы были разряжены и пестры, какъ шахматная доска, одъты какъ вывъска парикмахера. И г-жа Шульце торжественно рекомендовала Вильгельма отцамъ и матерямъ,

говорила ему, что, желая доставить удовольствіе г-жъ Б. Б., и г-жъ В. В., и г-ну Г. Г., она пригласила ихъ съ собою въ театръ, и налвется, что г-иъ Рейхенбахъ не откажетъ имъ въ этомъ удовольствін. И ему пачали рекомендоваться старики, старухи, сыновья въ желтыхъ жилетахъ, пестрыхъ галстухахъ съ бантами, въ панталонахъ съ лампасами, въ коричневыхъ и табачныхъ фракахъ, дочери въ барежевыхъ шарфахъ, лиловыхъ перчаткахъ съ полосатыми бантами на головахъ, въ мусселиновыхъ каньзу... Вопросы отцовъ о томъ: кто онъ, что онъ, гдв живетъ; дружеское впимание сыновей, которые сжимали руки Вильгельма, спышили доказать свое познаніе свъта, посмъяться надъ стариками, и любезность прелестныхъ дъвицъ, кузинъ и подругъ Генріотты... О! отъ этого можно было придти въ отчаяніе! И съ этой толпой надобно было явиться въ театръ, чтобы тамъ всъ узнали Вильгельма, всъ указывали на него...

[—] Въ ложахъ бываетъ только пять стульевъ, г-жа Шульце...

[»]Да, это ничего!« вскричалъ какой-то любезный юноша — »у капельдинера можно еще нанять стульевъ.

- Кавалеры постоять прибавиль другой.
 »Въ ложъ помъщается восъмнадцать человъкъ насъ всего двадцать.
- Мы останемся дома воскликнули два старика. Берите молодежь, г жа Шульце! »А что-жъ это? Какъ ты одълась, сударыня сказала Генріэттъ г жа Шульце, запирая шкафы, складывая ключи въ карманъ и смотря на дочь свою развъ тебъ надобно быть хуже другихъ?«

По врожденному инстинкту вкуса, Генріэтта никогда не надъвала на себя всъхъ этихъ смъшныхъ подражаній знатнымъ щеголихамъ, чъмътакъ дорожатъ мѣщанки, всего, что черезъ три года переходитъ съ баловъ большаго свъта на мѣщанскія вечеринки, съ плечъ знатной дамы на плеча дочекъ почтенныхъ бургеровъ, съ измѣненіемъ черепахи въ рогъ, золота въ семилоръ, кружевъ въ блонды, розоваго цвъта въ красный. Природный вкусъ руководствовалъ Генріэтту, всегда одътую въ простомъ бъломъ, черномъ платьицъ, съ гладкою головкою, въ нарядпомъ передничкъ. И теперь она одълась по своему.

⁻ Что это? Или ты хочешь чтобы тебя почли

служанкою? Поди, переодънься, сударыня, надънь шлянку атласную...

»Но, маменька, теперь уже изкогда...

- Какал дура! Вотъ не посмотри только я... »Позвольте миъ остаться дома, маменька.
 - Это что за выдумки?

Вильгельмъ молчаль. Адъ былъ въ душв его. У меня болить голова, и въ ложъ безъ меня будетъ много.

»Ахъ! ma cousine!« вскричала одна дъвушка — »можетъ быть, только васъ и замътятъ многіе! Она оправила свою косынку и посмотръла на Вильгельма.

 Какія прихоти! — вскричала г-жа Шульце сердито.

»Но въ самомъ дълъ, чтобы не опоздать!... Въ аффицкъ сказано: въ 6½ часовъ начало... Да всегда позже начинаютъ... Но когда же переодъваться? — раздавались со всъхъ сторонъ голоса. Начался семейный совътъ, какъ украсить Генріэтту безъ переодъванья; и черезъ нъсколько минутъ сняли съ нея передникъ, накололи ей кучу лентъ на голову, закутали ее въ платочки, шарфы; кузины ръшили, что туалетъ ся довольно сносенъ; мать ворчала, но — пора, пора!

Выступиль торжественный поводь, и быль встръчень толного любопытныхъ зрителей; пошли споры, кому състь въ карету, отговаривались, отпъкивались, насильно тащили въ карету пъсколькихъ старухъ. Вильгельмъ хотълъ бъжать, просилъ отпустить его, позволить ему итти пъшкомъ; никто не согласился; голоса дълились и не ръшали дъла.

»Да, куда это опи ъдутъ?« спрашивали вновь приходящіе любопытные.« Не уже ли свадьба!«

— Нътъ! въ театръ. Самъ сочинитель везетъ ихъ.

»А который сочинитель!

- Вонъ тотъ, что въ черномъ фракъ.

Наконецъ карету нагрузили. Бъдную Генріэтту прижали въ одномъ уголку, Вильгельма
въ другомъ; остальное запяли г-жа Шульце,
матери, дочери; иныя съли на кольни другихъ;
старухи просили поднять стекла, молодыя говорили, что онъ задохнутся отъ жара. Къ
счастью, пикто не начиналъ говорить съ Вильгельмомъ, и только молодая сосъдка его, навалясь тучною красотою, увъряя, что ей жарко,
любезничала раза три съ нимъ, и потомъ шептала подругъ, что онъ угрюмъ, какъ сочинитель.

Въ отчалніе приходилъ Вильгельмъ, наблюлан Генріэтту. Она казалась веселою, была въ восторгь отъ общества своихъ подругъ, смъялась, безпрестанно говорила съ ними, раздъляла ихъ глупыя шутки; ласково встрътила она Вильгельма, учтиво, холодно поклонилась ему, даже спросила о здоровью, и была потомъ такъ занята другими, что не сказала ему болье ни одного слова. Опа, всегда смѣшанная, молчаливая съ нимъ, такъ словоохотна была въ это время со всеми молодыми глупцами, такъ весело отвъчала на ихъ вопросы, такъ охотно слушала ихъ разсказы, даже дала слово тапцовать съ однимъ котильонъ, съ другимъ мазурку на первомъ баль. Вильгельму хотьлось прибить, выкинуть за окно этихъ болвановъ, и непостижимое очарованіе: никогда не казалась ему Генрізтта столь милою, столь чудною даже и въ странномъ нарядъ, какой составился посль поправки ел туалета ... Я самъ помню: такія минуты невыпосимы, и молю Бога, чтобы Онъ избавиль оть нихъ всякаго, кто любить!

Вильгельмъ думалъ, что по крайней мъръ не замътятъ пріъзда нуъ въ театръ, потому, что они пріъдутъ довольно поздно. Къ несчастію,

толпа народа въ корридорахъ ожидала князя; общирная галерея была наполнена мужчинами, женщинами всякихъ званій. Прекрасный экипажъ обратилъ внимание этой толпы: ожидали чего нибудь моднаго, щегольскаго; нъсколько повёсъ взялись за лорнеты, и - неумъренный смъхъ раздался, когда на подножкахъ кареты начали показываться толстыя ноги и цвътныя башмаки кузинъ Генріэттиныхъ, показался наконецъ изъ дверецъ чепчикъ г-жи Шульце, и счетомъ изъ кареты выльзло всего семь человых обоего пола и трехъ различныхъ покольній. Къ несчастію, г-жа Шульце оттолкнула какого-то щеголя, который, глазъя и смыясь, забыль посторониться. » Что вы, сударь, изволите подсмъиваться-то? Молоды еще! « сказала она. Смъхъ умножился. Но все было бы забыто и потерялось въ толив, еслибы проклятый Шпейеръ, стоя туть же и собирая матеріялы для статьи о нравахъ, не протянулъ руки и не сказаль громко: »Рейхёнбахъ!«

 Рейхенбахъ! - зашептали въ толпъ, и взоры дамъ и мужчинъ обратились на Вильгельма.

Положимъ, что онъ шелъ бы въ это время съ своею благородною, прекрасною осанкою,

вель подъ руку Генріэтту, просто одътую, и за ними слъдовала бы какая-нибудь добрая старушка — кто не позавидоваль бы счастью его, прелести Генріэтты; кто не сказаль бы: »Поэть «

— Но увидьвъ автора Арминія въ смышномъ обществъ этихъ мъщанокъ и старухъ, щеголеватое общество поразило его ужаснымъ: c'est un bourgeois! и эти слова были сказаны почти въ слухъ Вильгельму. Онъ почувствовалъ, какъ негодованіе закипъло гнъвомъ въ груди его, забылъ все смышное, вспомпиль свое собственное достоинство.

Хотите ли зажать роть наглости, если она хочеть поразить вась насмышкою? Не стыдитесь только сами за себя, станьте смыло передь ней, смыло, потому что вы не возвышаете требованій своихъ далье того, что вы есть въ самомъ дыть, обопритесь на смышное, чымъ думали испугать васъ, на то, что вы есть въ самомъ дыть, обопритесь надежно, и отдайте око за око и зубъ за зубъ.

Смъло придвинулся Вильгельмъ къ молодому щеголю, который заклеймилъ его ужаснымъ словомъ: бурэнсуа, взялъ за руку этого щеголя, кръпко стиснулъ его руку, и усмъхаясь, и глядя на него громко сказаль: »Вы не ошиблись,

м. г. — je suis vilain et très-vilain (п мпиципинг, п мпицанинг!) — Шумъ одобренія раздался въ толпъ. »Пойдемте; здъсь ожидають пріъзда Его Свътлости« — продолжаль Вильгельмъ, подавая руку г-жъ Шульце, и увелъ всю честную компанію, пока изумленный щеголь не зналь еще, сердиться, или притвориться равнодушнымъ надобно ему, а дамы увъряли, что поэтъ-мъщанинъ очень уменъ, très-spirituel...

Театръ представлялъ взорамъ великолепное зрълище. Раскъ набитъ былъ еще засвътло; мьста за креслами, кресла, ложи всъхъ ярусовъ, кромъ перваго, и нъсколькихъ втораго, были уже наполнены народомъ. Первый ярусъ и первые ряды кресель оставались почти пусты: сюда должна была явиться знать, и она еще не являлась, хотя повсюду громко хлопали въ ладони, и, какъ павильоны лопавшихся ракеть, раздались эти знаки нетеривнія зрителей отъ райка до креселъ... Весь театръ былъ унизанъ стакапчиками, убранъ свъчами, въ ложахъ; наружность княжеской ложи горъла въ огнь; смычки, басы, флейты, барабаны готовы были загремъть, задвигаться. Капельмейстерь слушался совъта директора: Движенія, двиэнсенія болье! и набиль оркестрь всякой всячиной; даже фертеніано, арфа, труба, треугольникъ, серпань были туть приготовлены, и оркестрь едва вмъщаль въ себъ толпу музыкантовъ. И все двигалось, шевелилось, ходило, говорило, ожидало; стукъ безпрестанно подъъзжавшихъ экипажей раздавался извиъ; двери хлонали; канельдинеры, въ лучшей ливреъ, бъгали, суетились.

Да, отъ этого могла повернуться голова человъка, который могь думать: »Я тоть, для котораго все это собралось и шевелится!« --Воля ваша, если бы мив падобно было выбирать себъ жребій, я выбраль бы жребій полководца. Кажется, рукой ощупываешь славу, когда передъ тобой гремитъ пальба, дрожитъ земля, движутся тысячи по мановенію одного; и этотъ одинъ, безтрепетный, хладнокровный, разложа карту передъ собою, стоить, смотрить и рвшаеть участь царства, среди громовъ, огня, пожаровъ. Какое торжество дипломата, даже и въ ту минуту, когда умъ и безсопница, и тысячи трудовъ и кипы бумагъ пріобрътаютъ ему однимъ почеркомъ пера милльонъ людей и области; какое торжество министра, если онъ слышить даже, какъ благословляють его въ хижинахъ и чертогахъ, читал мудрый законъ, имъ составленный — какъ можно все это сравнить съ упоеніемъ грома и битвы, которые, если и не отгрянутъ такъ шумно въ потомствъ, то заставляютъ дрожать современниковъ, и съ изумленіемъ смотръть на побъдителя!

Если бы надобно мнъ было ръшать между жребіемъ Шеллинга, Ньютона, Омира, Шекспира — я выбраль бы жрсбій Шекспира, именно потому, что онъ быль поэтъ и — драматическій поэть. И Шеллингь, и Ньютонь, и Омиръ безсмертны; но драма — это Ваграмъ, это Бородино, это Полтава генія, бой со славою громами, лицомъ къ лицу, грудь къ груди. И пока дожидайся Шеллингъ, чтобы въ уединеніи своемъ благословиль его философъ, дожидайся Ньютонъ, пока ученый преклонить передъ нимъ колъна въ своей лабораторіи, дожидайся Омиръ, пока растолкують величіе его комментаторы и критики - въ рукоплесканіяхъ Елисаветы и современниковъ Шекспиръ, еще живой, слышаль уже рукоплесканія потомства. Нигдъ и никогда Поэзія и Искусство не являются такъ величественно, такъ дружно одна съ другимъ! И если геній озаряеть ихъ своимъ свътомъ, то пигдъ человькъ не прекло-

илется передъ ними такъ рабски, такъ мгновенно, такъ совершенно! Тутъ не мертвыя буквы высказывають душу поэта, не взглядь на холодныя краски очаровываетъ зрителя, не чтеніе въ уголкъ какомъ нибудь оживляетъ его образы - нътъ! все, музыка, страсти въ образъ людей, гремящій стихь, собирають толпу изумляться поэту... Правда, нигдъ и паденіе не бываеть такъ внезапно, совершенно, ужасно; нигдъ такъ не опасно разбирать: изъ чего составлено обольщение, увлекающее зрителей, этотъ Deus ex machina — но признаться ли въ слабости? Я никому въ міръ не завидую; но не разъ грустиль, почему я не драматическій поэть, и охотно бы отдаль все написанное, все, что напишу, за создание одной драмы, а за славу Шеллинга охотно обмънялся бы славой Шиллера, за славу Ньютона вымънялъ бы одного Макбета, одинъ Сонч въ лътнюю ночь... Смъйтесь! Но кто безъ слабости...?

Глаза сосвдей обратились на ложу, куда ввалилась г-жа Шульце, потому, что мъсто подобныхъ явленій принадлежить райку, мъстамъ за креслами, вышнимъ ложамъ. Директоръ прислалъ Вильгельму 1-й № втораго ряда. И на этотъ разъ второй рядъ ложъ занималъ боль-

шой свътъ, потому что изъ перваго вытъснили его дворъ и придворные. Лорнеты, трубочки, просто глаза устремились на ложу Вильгельма, и всъ сосъди внимательно наблюдали, какъ входили, разсаживались, усаживались, спорили за мъста г-жа Шульце съ товарищами. Вильгельмъ стоялъ въ корридоръ, не видалъ ни губокъ, ни носиковъ большаго свъта, вздернутыхъ презрительно, ни улыбочекъ, говорившихъ: какъ попались сюда эти люди (diese Leute)? — Компанія устлась наконець; состди забыли ее, обратились на другихъ. Вильгельмъ хотълъ доставить себъ хоть одно бъдное наслаждение: смотрыть и наблюдать, какъ брдетъ чувствовать и понимать его создание Генріэтта! Онъ быль увъренъ, что опа пойметь, узнаетъ все, даже отличить тъ стихи, которые писаль онъ, думая объ ней. Пусть позволять ему проглядьть три часа на эту холодную Генріэтту, и потомъ, какъ угодно - свищутъ, хвалятъ, рукоплещутъ. Онъ задумчиво прислошился къ стънъ ложи, и съ наслажденіемъ видьть, что взглядъ на театръ и зрителей невольно увлекъ, очаровалъ дъвушку, неопытную, только любовью наученную прихотничать, скрывать, безобразить свои чувства. Съ дътскимъ добродущіємъ Генріетта

обглядывала всъ части театра, и внимательнослушала изъясненія подругь своихъ, которыя приняли роль знатоковъ. Какъ любовался сю Вильгельмъ, какой умъ находилъ онъ въ ея кроткихъ, голубыхъ глазахъ, какъ превышала она, въ своемъ странномъ нарядъ, весь этотъ модный свъть, въ токахъ, щегольскихъ шляпкахъ, беретахъ, какъ самое добродушное невъжество Генріэтты, самое мъщанское удивленіе — казались ему новою прелестью! Вильгельмъ любовался и тонкимъ лукавствомъ, какое оказывала Гепріэтта, разсматривая наряды, замічая странности, физіономіи. Если вы судите о мъщанкахъ и смъетесь надъ ними такъ немилосердо, не ужели вы думаете, что онь, въ свой чередъ, не паходять вась странными, не смыотся надъ вами? Послушайте ихъ!

Но судьба безчеловачно гнала Вильгельма. » Гда, гда? « раздавалось въ корридора, и слышень быль шумь шаговь, и пашеходное дополнение кузинъ и знакомыхъ г-жи Шульце вторглось въ ложу, не съ аристократическимъ шумомъ, которымъ люди большаго свата уманотъ обратить на себя глаза публики, но — съ мащанскою давкою и возпею. Одно походить на другое такъ, какъ изученная пебрежность

въ танцахъ походить на неумънье и неловкость. Опять обратились глаза сосъдей на ложу, которая теперь была наполнена, словно Ноевъ ковчегъ, животными всякихъ родовъ. И опять пошло усаживанье, пока молодые кавалеры утирали потъ, увърля, что почти бъжали, болсь опоздать; другіе вытаскивали изъ кармановъ запасные апельсины и яблоки, подчивали; кузины брали, жевали и чавкали подарки. Генріэтту оттъсинли въ другой рядъ; Вильгельмъ видъль физическую невозможностъ наблюдать Генріэтту: просто, не было мъста, и онъ ушель изъ ложи, проклиная г-жу Щульце и всъхъ кузиновъ, и кузинъ, и знакомыхъ ся.

Движеніе въ галереяхъ и корридорахъ разсъяло Вильгельма. Подлъ лавочки, гдъ продавали театральныя пьесы, множество людей спрашивали его Арминія, и досадовали, что онъ не напечатанъ. Далье встрътимись съ нимъ литераторы; шумъ, бъготня народа — все это давало какую-то жизнь движенію. Поспъшно идя мимо, въ расшитомъ мундиръ своемъ, директоръ встрътилъ Вильгельма, мимоходомъ пожалъ ему руку и просилъ зайдти въ директорскую ложу. »Это авторъ! « раздалось послъ того. И когда Вейссе, Шпейеръ, Шперлингъ, и вся ихъ привычная братья утащили Вильгельма къ буфету, гдъ хлопали пробки шампанскато, и кипъль шумливый разговоръ, вмъстъ съ виномъ въ бокалахъ, онъ увидълъ, что,
желая себя сдълать замътными, весь этотъ литературный народъ заводитъ съ нимъ разговоръ,
кажется дружнымъ. Это польстило самолюбно
Вильгельма, разсмъщило его; онъ не измъпялъ
своего простаго обращеня, не принималъ горделиваго взгляда, не участвовалъ въ шумъ литературномъ, и ушелъ, едба только нашелъ
возможность увернуться.

Смотря теперь на театръ, онъ изумлялся, какъ могло это мрачное, безобразное обиталище Мельпомены и Талін преобразиться во чтото обольстительное, блистающее, свътлое. Все — пыль, сплетии, подготовка, мелочи спрятались за кулисы. Вильгельмъ вошелъ въ кресла. Ему пришло въ голову испытать: не льзя ли будеть отсюда смотръть въ ложу Генріэтты? Увы! ея не видио было изъ-за чепчика г-жи Шульце и шестиадцати головъ кузинъ и кузиновъ.

Шумпые разговоры въ креслахъ обратили внимание Вильгельма. Глядя изъ ложи, въ удалени отъ всъхъ, онъ забывалъ прологъ къ

Фаусту, и думалъ про обольщение Искусства, привлекшее въ театръ толпу разнороднаго народа, заставившее этотъ народъ забыть всъ свои страсти, всъ мелочи жизни. Опъ казался самому себъ волнебникомъ, воскрешавшимъ чувство Изящнаго въ душахъ людей. Но въ креслахъ, на этомъ базаръ знатоковъ - Вильгельмъ разочаровался. Никто не думалъ объ немъ и воскресении Изящнаго. Всякий занимался своимъ, самимъ собою, другими. Туть пили, фли, спали, сплетничали, смфялись, глазъли кругомъ, смотръли въ верхъ, въ низъ, въ сторону, здоровались, виделись, бранились, ссорились, мирились - только не думали о томъ, зачемъ пришли въ театръ. Одинъ не спускаль глазъ съ ложи какой нибудь кокетки; другой съ нетерпъніемъ спрациваль: скоро ли начнуть, увъряя, что ему пора домой, пора поставить ноги въ теплую воду; третій напередъ бранилъ все, театръ и зригелей, и клялся, что его не заманять впередъ въ эту духоту, копоть, толкотию.

Наконецъ, Вильгельмъ попался на толпу знатоковъ, занимавшуюся спектаклемъ, и даже сочишителемъ.

[—] И вы на Арминія?

- »Да, всь ъдуть, и я туда же.
- Что это такое?
- »Върно, вздоръ. Но Элеонора, говорять, будеть превосходна.
 - Какой-то мальчишка, студенть?
 - »Помилуйте! Необыкновенное дарованіе.
 - Въ наше время?
- »Трагедія! Ха, ха, ха! Арминій *Герелипій* бы лучше.
- Я лично знакомъ съ авторомъ. Онъ побочный сынъ барона ***.

Вильгельмъ никогда не видывалъ этого человъка.

- » Неправда! Опъ какой-то школьникъ.
- Бъднякъ!
- » Слава все замънитъ.
- Вы его не видали? Постойте! Да, да воть, я узнаю эту забавную старуху, съ которою онъ прівхаль я самъ видьль его у подъвада воть она, въ ложь, направо.

И въ самомъ дълъ, злодъй указывалъ прямо на ложу, гдъ засъдала г-жа Шульце!

— Ха, ха, ха! Ради Бога! Что за рожи!

»Это мать поэта, ха, ха!

Множество глазъ устремились на ложу.

- Постойте: мнъ мельнуло какое-то смазливое личико. Пойдемъ подурачиться!
 - » Пойдемъ. Я люблю мъщанокъ.
- Жаль, что онъ пропахли кухнею и не жальють жасминной помады! Арминій выползъ изъ кухни ха, ха, ха!

Что оставалось делать Вильгельму? Онъ хотьль бъжать. Но внезапное движение, общій шумъ пачались повсюду. Въ первые ряды кресель, въ ложи перваго яруса толпами повалиль отборный народъ. »Князь!« раздавалось повсюду. Баронъ Калькопфъ явился въ своей ложъ, весь въ орденахъ, въ золоть, въ брилльянтахъ. Какъ за могущимъ властелиномъ, вился за нимъ блестящій рой офицеровъ, придворныхъ; звъзды, ордена, пудра наполнили ложи, кресла. Капельмейстеръ застучалъ смычкомъ. » Его Свътлость! « раздался глухой говоръ. Киязь показался въ своей ложъ, съ многочисленнымъ, великольпнымъ дворомъ, и, пока все оборотилось на княжескую ложу — загремъла музыка. Первый ударъ ея отозвался въ душъ Вильгельма, онъ опять быль поэтъ, трепетавшій за участь своего творенія, смотръвшій вокругь себя, и думавшій о томъ, какое безуміе обладало имъ, когда онъ воображалъ себъ, что все это, блестящее, свътлое, холодное, приготовленное, сбъжавшееся Богъ знаетъ для чего, всякій для себя и для другихъ, чтобы все это постигло поэта, поняло его, сочувствовало ему....

Увертюра гремъла между тъмъ, странная увертюра, сборъ всего, чъмъ восхищались въ Моцартъ, Россиии, Веберъ. Но во многихъ ложахъ захлопали, и — все захлопало; Капслъмейстеръ кланялся, съ довольнымъ видомъ. Опъ былъ счастливъ.

— Все краденое, mon général!

» Чъмъ скучать своею глупостью, лучше напомнить хорошее чужое.

— Но что за безстыдство! Всв эти преместныя вещи, elles sont prises...

»Non! il les a conguises. L'homme de génie ne vole pas; il conquiert.

Поднялась занавъсъ. Новая, великольпная декорація: Римъ, Капитолій, площадь, толпа народа. Громкія рукоплесканія.

— Глупцы! чему вы рукоплещете? — думалъ Вильгельмъ, смотря на пеструю декорацію. Его заставили придълать прологъ къ трагедіи, потому что директеру надобио было поставить балетъ и новую декорацію, видъ Рима: онъ зналъ, съ къмъ имъетъ дъло! Вильгельмъ ввелъ въ прологъ Тиверія, заставилъ его говорить великольпную чепуху. Но стиховъ не слушали; раз de deux, раз de trois, прыжки, пируэты, облоны, каррикатура Римскихъ ристалищъ возбуждали рукоплесканія, даже крики: браво!

При громкихъ рукоплесканіяхъ зрителей безпечно оборотившихся къ княжеской ложъ, упала занавъсъ, пока капельмейстеръ разсыпался мелкою дробью по барабанамъ.

- »C'est beau!
- Прелестные костюмы!
- »Князь хлопаль три раза.
- А что вы скажете о стихахъ?
- »Туть еще пичего не видно что-то глупо, кажется.
 - Изрядно сотте-ça...
 - »Прелестно, mon cher?
- Да. Отвычавний зывнуль во весь роть. Защумыма занавысы; началасы трагедія. Глубокое молчаніе. Туть вы первый разы Вильгельмы увидыль, какы то, оты чего падыялся оны дыйствія, пропадало вы невнятномы произношеніи актеровы; какы выставлялись на показы несвойственности, неловкости его творенія; увидыль и

нельпость зрителей, которые, какъ будто нехотя, изъ состраданія, слушали хорошіе стихи, и въ то же время шопотомъ одобренія хвалили пустые возгласы, ни сколько не понимал силы словъ. А что было за разнообразіе! Одинъ хвалилъ одно, другой другое; чему хлопаль одинь, тому шикали другіе. Громкія, продолжительныя рукоплесканія встрытили Элеонору. Она была вся въ брилльянтахъ. Но Вильгельмъ замътилъ, что кресла и ложи молчатъ; первый захлопаль баронь Колькопов -- ему повторили въ райкъ ... И безъ того Элеонора явилась смущенная, бльдная; такой пріемъ еще болъе смъщалъ ее. Въ 1-мъ акть было много игры Арминію. Къ несчастію, актеръ впаль въ напыщенную декламацію; нисколько не понималь роли, кричаль. И дрожь проняла Вильгельма, когда 1-й акть кончился очень холодно, последняя сцена не произвела никакого дъйствія, и зрители съ нетерпъніемъ выходили изъ креселъ въ корридоры.

Музыка играла въ междудъйствіи какую-то жалкую композицію капельмейстера. Вильгельму казалось, что онъ слышить паннихиду по своемъ Арлиніи.

Вильгельмъ дрожалъ; то обдавало его холо-Ч. II. домъ, то палило жаромъ; ему казалось, что глаза зрителей ишутъ его въ толпъ между всъми, чтобы посмъяться падъ его честолюбіемъ; что изъ рта каждаго высовывается огромный свистокъ; что даже свъчи тухнутъ отъ скуки и зъвоты (онъ въ самомъ дълъ сильно нагоръли въ это время). Кпязь спокойно запимался разговоромъ, не думая о трагедін; видя опустъвшія мъста въ ложахъ и креслахъ, потому что многіе ушли прогуляться и отдохнуть въ корридорахъ, Вильгельмъ воображалъ уже себъ, что весь этотъ народъ разътхался.

Но, опять музыка; мьста опять наполнились; со свычекь спяли; опять явилась Элеонора, уже безь брилльяптовь, и чудное измынение видпо было въ пей съ самаго перваго монолога, гдъ надобно было ей выразить ужасную безнадежность судьбы Веледы: какъ провъщательница, она видить свою погибель; ее не утышають ин побъда Арлипиіл, ни любовь его. Будто электрическая искра, эта простая, безъискусственная игра перелетьла къ зрителямъ; рукоплесканія загремьли. И Арминій ожиль: его декламація пропала. Хоръ бардовь, краденый изъ Моцарта, присовокупиль еще болье прелести; кстати была и битва па сцень;

зрители зашевелились; рукоплесканія умножались; Элеонора была превосходна. Вильгельмъ отдыхаль, слыша: »C'est charmant! C'est beau!«

Междудъйствие бымо короткое. Третій актъ быль уже върнымъ ручательствомъ успъха; въ креслахъ, въ ложахъ усердно хлопали; самъ князь и баронъ Калькопфъ начинали; публика поддерживала... »Теперь къ Гепріэттъ. Чортъ съ ними, съ этими уродами, которые окружаютъ ее!« думалъ Вильгельмъ, видя, что никто нейдетъ изъ театра, всъ ждутъ четвертаго акта. »Кажется... Но Боже! какъ хороша Элеонора «...

Въ корридоръ остановили, задержали его. Опъ спъщилъ уйти, и увидълъ Шпейера.

» Поздравляю, г-нъ Рейхенбахъ!« кричалъ журналистъ. » Хетите ли слышать, что я написалъ для завтрашняго листка, подъ вдохновеніемъ рукоплесканій?

— Какъ же писать? Еще битва некончена. «Кончена, мой любезнъйний, Явная побъда! Воть что говорю я о 5-мъ актъ и о вашемъ вызовъ... Да! слышали ль вы? Киязъ сказалъ: C'est sublime! а княгиня, C'est pathétique! Поздравляю. Слушайте-же...

— Шпейеръ! тамъ пьють здоровье Арми-

нія. Гдв авторъ? Зови его — я незнакомъ съ

»Воть онъ «... Но обернувшись назадь, Шпейеръ не видалъ уже Вильгельма, который опрометью бъжаль наверхъ. Четвертый акть начался въ это время. Тихо вошель Вильгельмъ въ ложу, такъ, что никто, всъ занятые сценою, не замътиль его, и, тъснясь впередъ, оставили ему маленькое мъстечко. Только Генріэтта не глядъла на сцену. Сидя назади всъхъ, облокотясь на руку, опустя голову, она слушала, утирала глаза платкомъ, ея щеки были въ огиъ. Элеонора превосходила сама себя; четвертый актъ быль верхъ совершенства ея игры; стъны дрожали отъ безпрерывныхъ рукоплесканій. Но слыша голось Элеоноры — Генріэтта вздрагивала. Когда Веледа, внимая призывнымъ кликамъ на битву, не отпускаетъ Арминія, когда она, въ изступленной страсти, восклицаеть:

Нътъ, нътъ? ты мой, Арминій, мой? Я не отдамъ, не отпущу тебя...

Эги слова казались воплемъ, излетавшимъ изъ души — и они произали душу. Генріэтта сложила руки, подияла глаза къ небу, думая,

что ее никто не видить, и съ отчаяніемъ закрыла себъ лицо платкомъ. Вдругъ умолкла Веледа; замътны были общее волненіе, глухой шумъ между зрителями; и все потомъ затихло, такъ, что можно было различить дыханіе. Генріэтта торопливо поднялась и смотрѣла на сцену. Послъ отчаяннаго вопля — Веледа вдругъ отталкиваеть оть себя Арминія: »Иди! тебя зоветь отечество! « говорить она, и полусумасшедшая шепчеть: »Но тебя ждеть побъда и смерть! « Лицо Элеоноры было неизобразимо, когда потомъ она осталась одна съ женщинами и старцами; нъмая пантомима продолжалась нъсколько мгновеній; безъ словъ все было сказано — въ креслахъ вскочили отъ ужаса! Тихій хоръ, молитва старцевъ и женъ вдругь рызкій звукъ трубы, и съ кликомъ: » Нать Арминія! Платьте старцы, дати! Платьте объ Арминіи и о свободю Германіи! « Веледа падаетъ безъ чувствъ; смятение на сцень, и рукоплесканіе зрителей слилось съ крикомъ, топаньемъ ногами, стукомъ палками. Генріэтта отворотилась отъ сцены, и взоръ ея встрътился со взоромъ Вильгельма. Онъ стоялъ туть, сложа руки, пожираль глазами каждое движеніе Генріэтты; въ восторгь воображаль

онъ, что видитъ, какъ все исчезло для нея, кромъ любви къ нему, кромъ вдохновенія поэзіи... Неожиданно увидя Вильгельма, какъ будто испугалась Генріэтта, и взглядь на Вильгельма, какъ взглядъ на голову Медузы, вдругъ окаменилъ ее. Холодная улыбка заморозила оживленное лицо дъвушки. Вильгельмъ, готорый за минуту упасть передъ нею, передъ дъвою вдохновительницею, опомнился, увидель — Генріэтту Шульце, свалился съ третьяго неба на землю, и сжавъ кулаки, скрежеща зубами, поспъшно и тихо ушелъ онъ изъ ложи, толкалъ встръчавшихся съ нимъ въ корридоръ, опомнился только отъ холоднаго вътра, дунувшаго на него изъ съней. Самъ не замьчая какъ, Вильгельмъ дошелъ почти до подъъзда.

Корридоры и галереи были пусты; даже капельдинеры ушли смотрьть на сцену, кто откуда могь. Туть на свободь ходиль Вильгельмь. Онь слышаль, какъ вдали градомъ сыпались рукоплесканія, почти безпрерывно, и глухой шумъ сливался съ ними. » Что мив въ васъ, клики безсмысленные, что мив въ васъ! Генріэтта, Генріэтта! Любовь и счастье! Моя погибилая любовь! и такъ ничто не воротить тебя? Генріэтта! Прости же на всегда! Не посстигаю, какой злой демонь отвратиль мое счастье? Я всматривался въ лицо твое — оно все тоже пебесное; я гидъль, какъ въ душу твою проникали пламенные стихи мон, ты плакала... о чемъ плакала ты, Генріэтта?

Нъсколько человъкъ, явившихся въ корридоръ, и общій шумъ, показывали, что четвертое дъйствіе кончено. Спасаясь отъ встръчъ, Вильгельмъ ушелъ въ кресла, сълъ въ самомъ дальномъ ряду; тутъ съ восторгомъ говорила о новой трагедіи мелкал публика. Не смотря на грусть, на тоску, Вильгельмъ едва удерживался отъ смъха, подслушивая сужденія добрыхъ бургеровь, увърявнихъ, что Арминій едва ли не лучие Желпзной Маски, и Ненависти къ людями и раскаянія. Нетерпыніе зрителей было доведено до высочайшей степени. Самъ Князь захлопаль, чтобы скорье начинали, и трагедія началась опять. Вильгельмъ забылся, смотря на Элеонору; въ пятомъ акть она была ужасна, величественна! Дарованіе не могло внушить такой игры: видно было стращное чувство, которое навсегда овладъло Элеонорою; это была не актриса, но женщина, пожираемая любовью, отчанніемъ; казалось, что ядовитая одежда Деяниры жжеть ее. Вильгельмъ трепелаль, и — темная мысль: »Не уже ли любовь одущевила эту женщину, дотоль холодную безчувственную! « — мелькнула въ головъ Вильгельма. »Не уже ли до такой степени можетъ достигнуть Искусство? Не уже ли люе твореите могло выкликать ел душу, если прежде она такъ холодна, искусственна бывала въ твореніяхъ Шекспира и Шиллера?« Я ваше твореніе!« говорила она! Меня любить она! — Меня? — Какое безуміе! — Онъ старался прогнать эту нельпую мысль, но должень быль невольно согласиться, что юность, красота, дарованія Элеоноры заставляли забыть въ ней Элеонору, видъть въ ней что-то странное, таинственное, очаровательное, демонское, въ этой колдуньъ, въ этомъ привидъніи женщины! Безъ всякихъ чувственныхъ помышленій, Вильгельмъ готовъ былъ стать на кольни передъ нею, какъ передъ геніемъ Искусства.

Кончилась трагедія, занавъсъ защумъла; вообще въ 5-мъ актъ хлопали мало: всъ такъ были увлечены быстрыми переходами дъйствій, страстей, сцень, что боялись пропустить даже и одно слово, одинъ стихъ. Но все вознаградилось потопомъ рукоплесканій и крикомъ: Автора, автора! — Вильгельмъ испугался этихъ словъ, какъ будто неожиданности. Крикъ умножался; шумъ, стукъ соединялись съ нимъ. Вильгельмъ видълъ, что его ищутъ, спрашиваютъ, и спъшилъ въ ложу директорскую.

Вотъ настала она, эта минута, о которой было столько мечтаній, минута, купленная столькими страдапіями. Вотъ онъ, поэтъ, низко кланяется, и вст тъснятся, наклоняются, стараются, видъть его, гремятъ, шумятъ, кричатъ. Вильгельмъ хочетъ удалиться, публика хочетъ еще смотръть на него; новые поклоны. Видъла ли его та, которою онъ желалъ быть видъннымъ, одною изъ тысячъ?

Между тъмъ, какъ кресла и ложи рукоплескали Элеоноръ, вызванной на сцену, толпа знатоковъ, придворныхъ, чиновинковъ, литераторовъ тъспилась въ ложу директорскую; всъ старались увидъть, обиять Вильгельма, скромнаго, оробъвшаго, ослъпленнаго, изумченнаго столькими переходями чувствъ. Статный адъютантъ пробивался сквозъ толпу. »Его Свътлость требуетъ сочинителя, « говорилъ онъ громко; и Вильгельма новели торжественно сквозъ тъсноту зрителей. Вокругъ него толкалисъ, шумъли; дамы, мужчины, всъ старались взглянуть на поэта. Вильгельмъ передъ княземъ, въ блестящей княжеской ложь, въ виду всей восхищенной публики. Баронъ Калькопфъ взяль его за руку и подвелъ къ князю.

»Представляю Вашей Свътлости плохаго чиновника моей канцелярін и хорошаго поэта, « сказаль онь, смьясь. Киязь улыбнулся, прицурился, посмотрыль на Вильгельма. »Мы постараемся прінскать наказаніе вашему плохому канцеляристу, а теперь — благодарю поэта отълица Германіи. « Вильгельмъ поцъловаль его руку. »Мы еще увидимся; приготовьте намъеще что нибудь. « Молча покловился Вильгельмъ; князь оборотился къ сцень; публика хлопала, кричала: « Виватъ! »Ез lebe hoch! « Вильгельмъ вышель изъ ложи. Тутъ снова толпа окружила его, передавала съ рукъ на руки. Восторгъ быль общій.

Увъряю васъ, что толпа можетъ предлваться восторгу, и предается ему вполпъ, потому что она не любить и не умьетъ пи разсуждать, ии останавливаться на дорогъ сильныхъ впечатльній, и бъжить по этой дорогъ, пока не ударится лбомъ объ стъпу, потому что она не смотритъ куда бъжитъ. Не говорю — какъ и что увлекаеть се къ восторгу: толпа бъгала искогда по Москвъ за слономъ; это событіс

перенью къ потомству въ знаменитомъ Польскомъ:

Что въ Москвъ за удивленье? Что за новое явленье? Что дивится такъ она? — Привели въ нее слона!

Въ Парижъ толпа приходила въ восторгъ отъ жирафа. Но точно такъ можетъ она придти въ восторгъ отъ чего угодно — даже и отъ Поэзін: увъряю васъ въ этомъ, совсъмъ не шучу, и, въ доказательство — ссылаюсь на Хеминцерова Зеленаго осла...

Въ такихъ случалхъ кажется непонятно: куда дъвается это всегданнее честолюбіе человъка, столь дорогое для него во всякое другое время? И странно видъть, что предметъ, на который прежде и глядъть не хотъли, заставляетъ каждаго разъвать роть отъ изумленія! Вы хотите усиъха? Старайтесь только завладъть винманіемъ толны, и владъйте ею самовластно: вы не найдете невольника послушнъе этого прихотливаго, неукротимаго творенія, которое называютъ толною, и — если угодно, публикою! На долго ли? Совсъмъ другой вонросъ. Опредълите: долго ли продолжается любовь кокетки? Но пока она продолжается — васъ любятъ искренно, безотчетно, любятъ всею головою и безъ всякаго расчета: души и сердца не ищите ни у толпы, ни у кокетки; та и другая безпрестанно берутъ въ займы то и другое, у кого попало.

Каково бываетъ въ эти минуты тому, кого любитъ толна? Его состояніе... счастье, наслажденье?... Нътъ! оно похоже на состояніе человъка, съ которымъ вальсируютъ на кровль высокой башни: ему весело, ему страшно, и тъмъ сильнъе вертится онъ, чъмъ страшнъе ему становится.

Осыпанный привътомъ, обремененный новыми знакомствами, приглашеніями, Вильгельмъ былъ увлеченъ въ ту залу, гдв собирались обыкновенно послѣ окончанія спектаклей актеры, актрисы, знатоки, дилеттанты. Туть среди шума, споровъ, разговора, хохота, когда Арминій говориль о своей роль, Шпейеръ громко читаль свою статью, (въ которой, безъ дальнихъ околичностей, увъряль, будто Вильгельмъ выше Шекспира, а Элеонора выше г-жи Жоржъ), явился директоръ. Онъ обняль Вильгельма, увъряль, клялия въ восторгъ, въ дружбъ, «Не уходите — мы ъдемъ вмъстъ« — говориль онъ —

»ни слова отговорокъ! Мы празднуемъ торжество *Арминія*. Слышите! дивертисманъ кончился; начинають разъъзжаться; я бъгу провожать Его Свътлость! « Онъ исчезъ.

Между тымь стукь экипажей, шумь выходящаго народа напомнилъ Вильгельму, что у него были товарищи въ театръ. Но, кромъ того, что ему невозможно было и подумать пробраться въ ложу 2-го яруса и застать тамъ г-жу Шульце, въ тесноте и суматохе — онъ думаль еще: »Не хочу отравить для себя этой минуты — если и не радостной (онъ вздохнулъ глубоко), по крайней мъръ, упоительной... Гдъ искать радостей? Прочь мечты, прочь несбыточныя желанія счастья на земль? День мой въкъ мой! Къ Элеоноръ, къ Элеоноръ иду я не въ женщинъ, но въ генію Искусства... Генріэтта! я умираю для тебя, и для любви — а безъ тебя существуетъ ли для меня г-жа Шульце, и то, что окружаеть тебя?...

Г-нъ директоръ проситъ васъ къ себъ,
 г-нъ Рейхенбахъ.

»Гдъ онъ?

— Дожидается въ аванъ-залъ.

Среди разрушенія всего, что составляло очарованіе эрълища, отправился Вильгельмъ къ ди-

ректору. Только немногіе, дожидавшіеся экинажей, стояли еще въ гелерев; стукъ экинажей исчезаль въ разныхъ улицахъ; пъшеходовъ не было уже ни одного; по корридорамъ бъгали служители и тушили свъчки и лампы; буфетчикъ убиралъ свои припасы, въ театръ было темно; двери въ ложи были растворены, какъ будто ложи зъвали, утом сниыя шумомъ.

»Повдемъ те, г-нъ Рейхенбахъ!« говорилъ директоръ, завертиваясь въ плащъ свой. И черезъ минуту карета директора быстро несласъ по опустълымъ улицамъ засыпавшаго города.

Конецъ II-й части.

H-2.88











LIBRARY OF CONGRESS



00025259002